

177

ГРАНИ

GRANI

Г
Р
А
Н
И

177

1995

Verlagsort: Frankfurt | M., Juli-September

1995

“ГРАНИ”

Ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической жизни. Проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества; почти полвека журнал способствовал публикации произведений, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в “Гранях” были опубликованы произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского,
В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
А. Платонова, Г. Подъяпольского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина

и многих др. отечественных и эмигрантских авторов.

* * *

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь способствуя публикации произведений, помогающих освобождению от остатков тоталитаризма в душах людей и восстановлению прерванных им традиций российской культуры.



**Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов
Редактировали:**

**1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов
1947 – 1952 Е. Р. Романов
1952 – 1955 Л. Д. Ржевский
1955 – 1961 Е. Р. Романов
1962 – 1982 Н. Б. Тарасова
1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч
1984 – 1986 Г. Н. Владимов**

**Главный редактор
Е. А. Самсонова-Брейтбарт**

СОДЕРЖАНИЕ**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

Василь СТУС Страсти по Отчизне. (<i>Стихи. Перевод с украинского и предисловие Александра ЗАКУРЕНКО</i>)	5
Дмитрий БАК Слово в лирике Василя Стуса	19
Татьяна УСПЕНСКАЯ Слепая (<i>Рассказ</i>)	27
Мария СОЛОВЬЕВА Голубые кони (<i>Стихи</i>)	49
Игорь ГЕРГЕНРЕДЕР Комбинации против Хода Истории (<i>Повесть</i>)	56

**ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ**

Алексей АНТОНОВ Внуяз	125
Юрий ЛИННИК Сольвейг (<i>Наброски к портрету Лариссы Андерсен</i>)	149

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Р. М. ХИН-ГОЛЬДОВСКАЯ Очарование старых дневников: 1902–1905 (<i>Публ. и предисл. Майи СИТКОВЕЦКОЙ</i>)	167
---	-----

ОЧЕРКИ

Игорь МИРОШНИЧЕНКО Конвой	211
Е. Н-ва Лиенц 1945. Лагерь Пеггек	228

ПУБЛИЦИСТИКА

Андрей САМОХИН Швейцария. США. Россия – кто на кого похож?	235
--	-----

ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Владимир МАХНАЧ Культурология расколов	271
Юрий СОХРЯКОВ И. А. Ильин как литературный критик	282

КНИГИ И ЖУРНАЛЫ

Виталий ПУХАНОВ История взаимоотношений с романом "Роман" Владимира Сорокина	303
В. ОБУХОВ О стихах Георгия Недгара	309
Елена БАЖИНА И снова этот ад (о кн. пастора Р. Вурмбранда)	312
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ	317

Обложка художника Н. Мишаткина

1995 Possev-Verlag, V. Gorachek KG
Flurscheideweg 15, D-65936, Frankfurt/M.
West Germany.
Филиал "Посева" в Москве. ISBN 5-85824-003-X

Василь СТУС

СТРАСТИ ПО ОТЧИЗНЕ*

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Поэтическая судьба складывается из двух друг другу, возможно, противоречащих зданий-созиданий: 1) хронологического, то есть объективного стройматериала, того, что мы можем называть, что можем высказывать, не боясь быть непонятыми, и 2) лого-хронологического, то есть по сути формируемого самим высказыванием и вне высказывания не существующего, то есть не описываемого объективными параметрами, как то: а) текст (совокупность значимых единиц), б) подтекст (включенность в текст смысловых подмножеств, в) контекст (среда обитания текста, г) определенность (=закономерность) художественных приемов, то есть авторский стиль.

И если первое здание-созидание есть нечто нам внеположное, рельефно обозначенное цифрами (=датами), знаками (=буквами, корпусом текстов, библиографией), имеющее возможность быть подвергнутым ощупыванию-описанию, то есть распределению по (=во) времени (=временной оси) выговариваемого (хронология=время-словие), то второе есть совокупность актов личной встречи, откровения (=того, что открывается всякому в меру его self-соответствия), актов, располагаемых нашим говорением, но не по временной оси, а соответственно возможностям каждого из нас сказать нечто, что оказывается подтверждением говоримого поэтом (=тем, что платит как бы по нашим векселям своей судьбой), тем, что говорит, чтобы заговорили мы...

Бродский свидетельствует, что язык говорит через поэта,

* К 10-летию трагической гибели в лагере замечательного украинского поэта Василя Стуса (1938-1985). Перевод с украинского **Александра ЗАКУРЕНКО**.

Стус – что поэт говорит через язык: подчинение языка говорящему есть судьба, поскольку свобода воли и проявляется в возможности сказать нечто, чего не существует помимо и вне определенных фактов жизни и что подтверждается именно фактами жизни говорящего, хотя может и не иметь возможности присутствовать в акте говорения...

* * *

Василь Стус родился в 1938 году на Украине, в Винницкой области. Закончил филологический факультет Донецкого пединститута. В 1963 году поступил в аспирантуру Института литературы им. Т. Г. Шевченко в Киеве. Писал. Занимался переводами. Среди тех, кого он перевел на украинский: Гёте, Рильке, Блейк, Киплинг, Лорка, Цветаева.

В 1965 году идиллия закончилась – Стуса исключили из аспирантуры. Он был нормально порядочным человеком – и выступил с публичным протестом против политических арестов, прокатившихся по Украине в середине того же года.

В 1972 году его арестовали и судили после девятимесячного следствия. На суде стихи и статьи Стуса фигурировали как вещественное доказательство его "антисоветской деятельности". Советский суд был предельно точен в оценках: стихи оценены в пять лет строгого режима в мордовских концлагерях. Следует отметить, что суд оказался более чуток к искусству, чем диссидентствующая интеллигенция. Стуса судили за поэзию, а братья-борцы присудили ему титул политического протестанта. На Украине он едва ли не более известен как политический деятель. С таким же успехом Флоренция может поставить на своей центральной площади бюст Данте со звездочкой слева.

Стус любил Украину, но, слава Богу, это не стало его профессией.

После лагеря была ссылка – три года на Колыме. В 1979 году Стус вернулся в Киев и тут же вступил в украинскую Хельсинкскую группу. Через девять месяцев после выхода на свободу он был повторно арестован. В 1980 году – второй срок: десять лет лагеря особого режима. К этому времени Стус уже был тяжело больным человеком – в первом заключении он перенес операцию на желудке. Второй срок, по сути, был растянутым во времени смертным приговором.

Стус и в лагере продолжал писать. Но творчество требовало вновь и вновь подтверждения от биографии: герой поэтом быть не обязан, но поэт, хочет он того или нет, актом выбора предопределяет героичность своей судьбы, ее жертвенное основание. Стуса часто сажали в карцер – последнее

пристанище для свободного человека. 4 сентября 1985 года там же, в карцере, лишенный не только элементарной врачебной помощи, но и таблетки нитроглицерина, от сердечного приступа Василь Стус скончался.

После смерти из камеры Стуса были изъяты все бумаги: переводы европейских поэтов (Рильке, Гёте, Блейка, Лорки), собственные стихи, статьи. Сын Стуса показывал мне переписку с меняющимися, как настроение у кокотки, министрами внутренних дел тогдашнего СССР. Ответы также не отличались постоянством: то говорили, что ничего не было, то сообщали, что всё хранится в архивах КГБ, а напоследок объявили, что все бумаги у н и ч т о ж е н ы (по разным подсчетам, от трехсот до восьмисот единиц текста).

Все вошедшие в публикуемую подборку стихи входят в книгу "Палимпсесты" (1972-1979). Книга написана в лагере и ссылке. Переводы выполнены по рукописям, но не самого Стуса, а его сына Дмитрия. Сын заносил от руки в черную записную книжку все новые стихи отца. Работать над архивами Стуса переводчик не имел возможности, так как письма Стуса из лагеря и ссылки хранились по разным конспиративным адресам - во избежание изъятия при возможных обысках.

* * *

И до жнив не дожил, зелень-жита не жал.
Даже не долюбил. И не жил. И не жаль.

ТРЕНЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

I

Народу моему. Когда простится
Тебе предсмертный крик и тяжесть слез
расстрелянных, замученных, убитых
по соловкам, сибирям, магаданам?
Держава полусолнца, полутьмы,
ты в чад и тленье ввинчена, откуда
тебя покаянный трусит грех
и размягчает дух укор сомнений.

Сходи с ума, над бездной балансируй,
загромождай в саму себя дороги,
всемирный грешник – ты его узнала –
свет за глаза тебя не убежит.

Безумие порывов, ритмов рвань,
всё перелет – из пекла прямо в рай;
и надвисанье в смерть, и эта жажда
растлителя весь свет растлить
и всё – толочь, толочь избиту жертву,
чтобы прощенье вырвать за свои
нечеловечьи зверства – это слишком
означено на душах и хребтах.

Но слезы те испепелят тебя,
и лютый всхлип завихрится стожало
по всей земле. И ты тогда поймешь,
как вновь цветет уничтожимость рода!
Своей кончины собственник! Судьба –
всё чувствует, всё знает – ничего
не позабудет, не простит ни горсти.

II

Пустеют недра: по углам земным,
по диким гнездам, тайникам и норам
распотрошен твой суходол родимый.
Уста немых вовеки безымянны,
закрыты мглою очи, застудились
сердца, узоры жизни затерялись
на ссохшихся ладонях.

Это всё –
души твоей полуживой останки.
О, боли, боли, боли, – боль моя!
Куда сокриться, чтобы только не
трудить разъятых ран, не раздражать
безумным криком сердца своего!
Стою, как столб на вечной мерзлоте,
где в сто медвежьих троп – полны распадки
постылой мглы – и на морозе мерзнут

скупые слезы. Край родимый мой!
Ты – в пятнах крови! Займище из пекла!
Куда ни брось тревожным оком: сквозь
окоченевшую кору, сквозь край
родимый – отовсюду рвется:
"Я здесь, (на голос Йорика), я здесь!

III

Четыре ветра – полощут душу
в кувшине синем – стеблина яра
в воронке гнева – свет-завирюха
чернит безумье шатай-воды
хвост помела – прильнул к колчану
и небокрай вороноконный
прихорошился – дурман сирени –
во тьму и крики, слова и кровь.
Новгородцы, новгородцы!
Загородило дорогу плетью
в кувшине синем – стеблина яра
как белый бисер – холодный пот.
О белый свет сточёртоглавый
Опричь опричнин – куда податься?
Расхристан гривою вороною
путь небокрая к рыдай-реке.

IV

Боже, не младость мне – лютость, и,
Боже, не ласку – месть!
Вырваться дай из пут – пусти
Цепи разнести!
Дай нам сердца нищие,
пульсирующий стогнев
душ, расцветших кострищами
среди чужих огней!
Взяли во –, взяли во –, взяли во
разом рванувших – полет.
Видишь – пылает зарево,

хоть и на смерть, а – вперед!
Благословенна пусть станет та
пуля тугая, что в кровь
плоть разит – не устанет так
ждушая крах веков!
Боже, мести сжигающей,
расплаты да люлости
нам – всепостигающей –
на всякий час отпусти!

V

Оболганной – Отчизна в нас взрастает,
Солгавшая – нас мучает. В бреду
О ней горевшие – испейте стыд и дух,
И пусть вас Бог, и пусть вас Бог спасает!
Простоволоса на ветру душа,
Как факел оперяющейся боли,
В неволе для себя глотнули воли,
За смертный страх определяя шаг.
И вот – пришел бессмертья щедрый вечер
в Отчизну новую – усилиями толпы.
Так не ропщите, что на ваши лбы
Господь кладет пресветлый перст разящий.

* * *

Вся звуком комната полна
и хрустом – ей присниться б.
Так мягко устлана она,
да жестко спать ложиться.
Шесть с половиною – в один,
в другой – четыре шага.
Как конь без сбруи, вражий сын,
по ней брожу, бродяга.
Как славно думается в ней –
тесно и осторожно.
Сальцо слетает в пару дней,

а кормят – лопнуть можно.
Машины шастают вокруг,
как будто на параде,
пергамент, мой зловерный друг,
к столу зовет, предатель.
Подвал мой брошен – пуст и сер,
забыт майдан Богдана,
где гетьман скакуна в карьер
с утра пускает рьяно.
Я там давненько не слышал
об эмпиреях славы,
а здесь Господь пообещал
мне гетьманское право.
(Ну и в халупу же, галдя,
тюремный чёрт на третий
этаж определил меня
за буки и мыслети.)
Вся песней комната полна
и хрустом – ей присниться б!
Скрипит как скрипочка она,
да не с кем в пляс пуститься.

* * *

Ты где-то здесь – на призабытых склонах
мелеющего прошлого. Блукаешь
пустыней моего молодосчастья,
суровой скорби мертвенная тень.
Так часто Бог нам встречи посылает
в сей келии. Так часто я тебя
зову сквозь сон, чтоб душу натрудить
вовек несбытным молодым грехом...
К стене меня приперли (здесь четыре
угла, и пятогс – никак не отыскать).
Во всякий день на исповедь встаю,
но даже епитимьи не наложат.
Всё образ твой сквозь gratы проступает,

скорбь возвращая. Сёстры-близнецы
(твои ночные лики) в сотню глаз
глядят в меня, немые, словно ищут
и не найдут никак былой души.
Ты есть во мне. И так пребудешь вечно,
свет опаляющей свечи! В беде
наполовину мертвый, лишь в тебе
уверенность, что жив еще – черпаю,
что жил и буду жить, чтоб наизусть
запомнить пиршество утрат, несчастье счастья,
как сгинувшую молодость свою,
моя загубленная часть! В тебе
разлуку я признал, но срок ее
нам доля не простила. Для тебя
остановил я время. Каждый день
к истокам припадаю. Слишком тяжело
ступать необратимую дорогой,
лишившейся начала и конца.
Надуманно живу, не соберусь
натешиться свободой и ночным
беспамятством. Как будто столб огня
меня ты из себя зовешь, и манишь
утерянным, забытым, дальним, карим
и золотым. Куда меня зовешь,
пчела-смуглянка? Дай же мне пребыть
в сем времени страдающем. Позволь
остаться с этим горем глаз-на-глаз
и – или сгинуть, или победить.
Напрасно. Ты опять приходишь в сон,
распахиваешь царственно все двери –
и золотые карие зрачки
смуглея – кружат вокруг меня. Теснят
в свой плен и в молодость уносят,
хоть головою – в пропасть...

* * *

Уже тогда, когда на дне древесном
ты жадно пил из прикарпатской туги,
в последний раз из леса причащаясь
правековой чужбины – застекленной,
чтоб вглубь не пропустить – уже тогда,
когда коснувшись кручи торопливой,
цеплялся онемевшими руками
за ветви скользкие – уже тогда
шаги сбивались в хаосе корней
и дрожь колючая пронзала икры,
и сердце медлило.

Уже тогда, как вечер
виденья одиночества лелеял
среди видений фееричных бестий
(убрала мгла тягучие огни
и в желтых колбах памяти сокрыла)
беда в твой след за следом вслед ступала,
и впереди маячила молва.

Когда разъятый ликами воров,
шлюх, пьяниц, блудников – всех земляков
с дрожащими и мокрыми губами,
грешащий без греха, забытый город
потел и трясся не в пример трясине,
под перешепот бездушных трепачей,
желавших угодить и всем и вся –
каким дохнуло холодом мне в душу!
здесь, в чуждедальней вотчине, в краю,
где раньше всё звучало сердцем сердца,
а слезы крови – горизонт рядили!

Уже тогда, когда родные с детства,
простые, грешные, честнее правды лица
вдруг двинулись, заголосили разом
над головой твоей, уже тогда,
когда в дремоте дорогих околиц
ты чуял неподвижность, а вода

в твердеющих артериях бежала,
и на тебя табун катил (смотрите – вот он!
кричала пораженная толпа
и пальцы желтые в твой бок тянула),
писало будущее наугад свое
пропавшее "сейчас".

Уже тогда,
когда последние выстраивались святки
(свят-вечер был, и коляда, и гомон
многоголосой детской коляды) –
ты всё предвидел.

И тогда по Львову
неузнанным спешил судьбу приблизить
(ах! вот он! вот он! вот он! – ближе встречи –
миг расставания),

уже тогда,
когда, заждавшись сладких обещаний,
тебя выглядывали сонмы лиц из клиник,
а векопамятный напев плотиной
вставал торжественно на голоса трамваев
и пешеходов, я прозрел: всё это –
одно неизреченное прощанье
с Отчизною, землю, жизнью всей.

* * *

Ты тут. Ты тут. Прозрачней, чем свеча.
Так тонко, так пронзительно мерцаешь,
Оборванною щедростью пронзаешь,
Рыданьем из-за хрупкого плеча.
Ты тут. Ты тут. Как в долгожданном сне,
Платок, касаясь пальцами, тревожишь,
И взглядом, и движением – пригожей
И пылкой гостьей входишь в мир ко мне!
И вмиг – река! Стремительно, как бы
Из глубины правековой разлуки,
Поток ревет, ломая волнам руки,

Вдоль берегов, встающих на дыбы!
Пусть память вспыхнет ливнем иль грозой!
Пречистая, святошинского взора
Не отводи! Не устремляйся в город
Унылых улиц, площадей... Постой!
Ты ж вырвалась! Ты двинулась! То ль дождь,
То ль горный сель. Медлительно движенье
Материка, внезапный сдвиг и – дленье,
И вечный страх, и рук немая дрожь.
Идешь – тоннелем долгим – дальше – вил
Ночной – порошу – снеговертъ – метели.
Набухли губы. Солью побелели.
Прощай! Не возвращайся! Хлынул вниз
Зеленый свет. Звезда благовествует
О встречах неземных. В ночи дрожит
И плачет яр. Сыночек мой, скажи, –
Пусть без меня родная довекует.
Прощай! Не возвращайся! Возвернись!

* * *

Тот образ, что мерцает и дрожит,
Вновь зеркалами чередит зеркала.
Твоя душа лишь начинает жить,
А вся – в осколках, словно смерть познала.
Как будто скифов золотой песок,
Она ссыпает в тонкие курганы
Оброненные облики и раны –
Чтобы не смыл их времени поток.
В лазурных витражах томленья блеск
Уже пылает золотым подобьем;
И щепоть белая протянута к надлобью,
И сердце укрепляет благовест.
О, милосердный Господи!

Опять
Душа встает из тленья, чтоб дышать!

* * *

Кривокрылый взмах! Глубокий,
долгий, близкий – всё чужбина!
Ну-ка – убеги мороки!
За край неба – Украина.
Солнце кличу (бесполезно!)
кровоглазое. Летим мы
в ночь-беспутицу – железной
колеей. О, край родимый!
Где ж ты? Тенью, тени, тени –
где-то на краю окраин
векопамятные стены,
дом, тепло да верви рая.
И дорога вседорога,
всепрощанье – всепогоня.
За созвездьем Козерога
наблюдай из ээквагона.
Лишь бы – быть-пребыть – на свете.
Окрест оглянись – обвыкну.
Тьма труда – на тьму столетий.
Кривокрылый ворон, хрипну.

* * *

Зажмуренных двое очей,
кривые весы рамен,
гербарий ладоней – звон
из ночи.
А где же та звезда горит,
которую зрит мой сын?
Словно о нить, о восход –
режься.
Какие-то всплески, блеск –
схватки рассвета.
И вот поплыла-плыла
вечность.

Ведь сердце свое приручать,
до памяти добежать,
будто бы на свиданье –
будет.

* * *

Земля шатается под нами,
а небо – тьмы бессвязный ад,
рожденный сумрачными снами
без повода и наугад.

Нагие души – стóбит долу
иль гору бросить горький взор –
ввергает круто птица доли
то к терниям, то – между зорь.

Что, человек, твои стремленья,
веками полные следы,
всё это мерное течение
прозрений, счастья и беды?

И что нам кривокрылье жизни,
надежд и срывов краткий ряд,
когда лишь страсти по Отчизне,
как раны на челе – горят!

* * *

Сегодня на рассвете мне звезда
свой свет внесла в окно, и благодать
такая легкая легла на душу
смиренную, и наконец я понял:
что та звезда – лишь сколок общей боли,
пронзенный вечностью, как некогда огнем.
Что именно она – пророчица пути,
креста и доли. Материнства знак,
до неба вознесенный (от Земли

на меру справедливости) – прощает
тебе мгновенья гнева и дает
блаженство веры – что в конце вселенной
твой зов тускнеющий услышан и отмечен
сочувствия желаньем затаенным:
поскольку жить – не приручать границы,
а приучаться быть самим собой
исполненным. Лишь мать умеет жить
и свет распространять вокруг как звезды.

* * *

Осоловел от песен сад,
от соловьев и от насад.
От неприкаянной свечи
И от дрожащих звезд в ночи.
На небе горняя луна,
как пульс, вибрирует она.
Мерцают вишни и черешни
в саду. Тому мгновенье лил
высокий дождь. И безутешных
воспоминаний ряд будил.
Я распахнул веранды двери,
где хаотичный вертоград,
в самом себе не чуя лад,
мне спящей розы не доверил.
Свеча вздохнула, отпустила,
как голубя, свой пламень в лёт,
и стих твой вырвался без титла,
и дух рванулся из тенет.
Здесь небо слишком кругло с краю,
и сада лень кругла, в зенит
моя святая мать глядит.
Я в ней – смеркаюсь и светаю.

* * *

На Лысой горе догоранье ночного огня,
осенние листья на Лысой горе догорают.
А я позабыл, где гора та, и больше не знаю,
узнает гора ли меня?
Пора вечеренья и тонкогортанных разлук!
Я больше не знаю, не знаю, не знаю,
я жив или умер, а может, живьем умираю,
но всё отгремело, угасло, замолкло вокруг.
А ты, словно ласточка, над безголовьем летишь,
над нашим, над общим, над горьким земным

безголовьем.

Прости, я случайно... прорвалась растерянность
с кровью...

Когда бы ты знала, о как до сих пор ты болишь...
Как пахнут по-прежнему скорбью ладони твои
и всё еще пахнут соленые горькие губы,
и тень твоя, тень, словно ласточка, вьется
над срубом,
и глухо, как влага в аортах, грохочут вокруг
соловьи!

* * *

Дмитрий БАК

СЛОВО В ЛИРИКЕ ВАСИЛЯ СТУСА

Вероятно, каждый помнит однажды наступающее нас в детстве удивление перед неисчерпаемостью слова. Вот смотришь, допустим, на оконный переплет изнутри комнаты, и вдруг оказывается, что в одном этом взгляде умещаются тысячи возможных слов: дерево, рама, стекло, подоконник, замазка, гвоздик... А еще: краска, задвижка, пыль, пятно... С какого-то момента такая игра обяза-

тельно принимает пугающе бесконечный характер. Рядом с вполне обычными "детальками" оконного переплета (ну, гвоздик, скажем, может быть вбит, кроме рамы, еще в разные другие места), так вот, помимо таких простых, "отдельных" вещей мы готовы разглядеть еще и те, которые существуют только здесь и сейчас, в неразрывной связи с окном в нашей детской спальне. Как, например, назвать те изгибы (??) отслоившейся краски на подоконнике, которые придают столь знакомую неровность? А потом, когда оттопырившаяся буграми краска отшелушится и отпадет – как подобрать название для тех полосочек другого цвета (цвета предпоследней покраски), которые проступят в прорезах? Бороздки? Вмятины? Нет, всё не то...

В русской поэзии примеры такого пристального вглядыванья в неназванные частности бытия нередки. Так, "всесильный бог деталей" властвовал в стихах "раннего" Пастернака. За окном он, например, видел и слышал присутствие чего-то живого, непомерного, не имеющего названия – того, что только условно может быть обозначено стертым словечком "сад":

...Ужасный! – Капнет и вслушается,
Всё он ли один на свете...

К гениальным стихам Василя Стуса сказанное применимо лишь относительно, с учетом множества оговорок. Разумеется, у Стуса встречаются десятки слов, которых не найти в словаре. Но они воспринимаются не как авторские неологизмы, не как изощренные вариации на заданные темы, эти слова присутствуют в тексте в качестве впервые произносимых имен и названий для вещей и состояний, прежде никем и никак не нареченных. Потребность в самовитом слове возникает у Стуса не от переизбытка чувств, не от привычки к отточенной наблюдательности, наконец – не в благие моменты

духовного слияния с миром. Первооснова возникновения нестандартного слова – отчаяние, печаль, крах надежд – в этом вся соль.

Художественный мир Стуса существенным образом редуцирован, пространство сужено до пределов тесного, темного, неуютного помещения; иногда прямо именуемого тюрьмой, камерой*. Можно с большой долей достоверности описать некий инвариант самоощущения стусовского лирического персонажа. Он отчужден от окружающих, отделен тысячами верст от родины, от близких; ему холодно и страшно, отчаяние переполняет сердце. В такие-то моменты как раз и рождается необходимость воссоздать отсутствующую (нарушенную) многокрасочность мира, возместить потери, заполнить зияющую вокруг пустоту:

... Вот тут и просыпается уменье
накликать музу, что отгонит прочь
все сны наисладчайшие, прошепчет:
смотри, смотри на вещий оком,
где радость меркнет, где мертва надежда.
Таков твой край. И ты – навеки в нем**.

* Ср. первые строки стихотворений из лагерного сборника "Палімпсесты" (здесь и во многих местах далее цитаты приводятся по-украински в надежде на их понятность русскому читателю без перевода): "У порожій кімнаті", "Весь обшир мій – чотири на чотири", "Вже цілий місяць обживаю хату" и др.

Кстати, название главной книги Стуса весьма многозначительно: полимпсест – пергамент, на котором (один поверх другого) нанесены два или несколько текстов. Реконструировать ранее нанесенный, а затем соскобленный текст – особо трудоемкая для палеографа задача. Стус, подобно древнему книжнику, пишет свои стихи не один вслед другому, а каждый новый вместо прежнего. Так складывается книга удивительно монолитная по тематике и разнообразная по степени вариативности магистральных сюжетов.

** Перевод мой. – Д. Б.

В снах, в полубреду, в горячечных молитвах
приходят спасительные мысли о гордом несмирении,
возникают картины прошлого, оживают лица
жены, сына:

Приснилось, померещилось в разлуке,
застыло горем, холодом трещит.
Над Припятью рассвет розоворукий –
и сын бежит, как горлом кровь бежит... *

Слово, не укладывающееся в канонические словарные рамки, не детализует обыденность, как это бывает в детстве. Слово Стуса онтологично. Оно нарицает то, чего нет, служит средством для инициации акта творения из ничего, ex nihilo. Если попытаться подыскать аналогии в европейской поэзии нашего столетия, то на память непременно придут два имени, не раз уже друг с другом сближавшиеся: Осип Мандельштам и Пауль Целан. Общность судеб безусловна. Все трое – изгой-узники, погибшие страшной, неестественной смертью (Мандельштам и Стус замучены в советских концлагерях, Целан бежал из лагеря нацистского, чтобы через двадцать с лишним лет, в 1970-ом, покончить с собой, бросившись в Сену с одного из парижских мостов). Сопоставительных анализов поэтики Целана и Мандельштама можно насчитать уже не один десяток, причем у них есть прямая фактическая основа: Целан блестяще перевел на немецкий немало классических текстов Мандельштама **. Много

* Перевод мой. – Д. Б.

** См.: Марков В. Ф. Пауль Целан и его переводы русских поэтов. "Грани" № 44, 1959.

написано, в частности, и о том, что у Целана и Мандельштама мир зачастую сведен к слову, им оживлен и создан*.

Подобным образом дело обстоит и в лирике Стуса. Его "несловарное слово" не служит средством размышления о готовых, прежде стихотворения существовавших событиях. Жизнь только еще создается словом и на каком-то этапе тождественна ему. Особенно характерны для Стуса почти навязчивые повторы одинаковых корней, целых слов и фраз:

... на схід, на схід,
на схід, на схід, на схід...

(речь идет о поезде, везущем ссыльного на восток).

О Боже, тиші дай! О Боже, тиші!..
...нема мені вітчизни - ні-ні-ні...

Именно в таких сосредоточенных молитвенных повторах мы можем усмотреть кульминационные пункты претворения слов в жизненные реалии и события. Особенно показательны повторения словоформ, рождающие своего рода метапонятия: "ніч ночі, темінь тьми" и др. Самое удивительное, что и соположения р а з н ы х слов нередко выглядят как тавтология, плеоназм либо - как фольклорные эпитетные обозначения: "грім-Колима", "світ-завірюха", "хитай-вода", "ридай-ріка" и т. д. Так же образуются многочисленные сложносоставные слова, почти непередаваемые в переводе: "сторчоголовий", "стожало", "стогнів"... Слова аукаются друг

* "При чтении стихов обоих поэтов /.../ обнаруживается удивительное сходство тем и подходов. Оно обусловлено их особым отношением к языку и к той роли, которую язык играет в самоопределении индивида в его отношениях с миром". См.: Gogol J. M. Celan and Osip Mandelstam: Poetic Language as ontological Essence//Revue des Langues Vivantes (Tijdschrift voor Levende talen, 1974, v. 40. - p. 341).

с другом, смысл рождается как бы на грани их сцеплений, а не в силовом поле, соединяющем слово с реальностью. Как видим, механизм онтологического усиления-углубления слова един и в тех случаях, когда имеет место повтор *о д и н а к о - в ы х* слов, и когда рядом оказываются *н е с х о д - н ы е* слова и понятия. Иногда различие между ними достигает степени противоположности, возникает оксюморон ("безсоромность цноти", т. е. "бесстыдство добродетели" – Д. Б.), либо рождается словосочетание, вообще на первый взгляд не несущее определенного смысла. Среди последних одно из наиболее важных для Стуса: "молодая боль":

...Мертвый син,
скоцюрблений (скрюченный. – Д. Б.) од болю
молодого...

...смолоскипы (факелы. – Д. Б.) молодого болю...

Данное "составное понятие" весьма показатель-но. Стус создает мир, не просто зависящий от слов, но порожденный ими. Дело в том, что и сами слова, вступая друг с другом в смыслопорождающие от-ношения, часто утрачивают первоначальную, оче-видную семантику. Мир *м о л о д о й* боли – это мир, в котором уже нет как таковой безмятежной молодости. В свою очередь боль не вызывается ка-кими-то время от времени возникающими скоро-преходящими причинами, но существует автоном-но, беспредпосылочно, как некий метафизический принцип бытия.

Онтологизм Стуса рождается помимо каких бы то ни было специальных философских рассуждений и терминов, основан не на глубокомысленных умо-заклечениях, но обусловлен настойчивыми попыт-ками компенсировать зияющие лакуны в повсе-дневности.

Нельзя не почувствовать в стихах Стуса глу-

бокой погруженности в европейскую и национальную поэтическую традицию. Нет-нет, да прорвется словцо, отсылающее нас не к непосредственным движениям души, но к фактам литературного ряда.

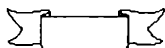
Название цикла стихотворений о Чернышевском – из числа подобных слов. Трены – надгробные песни (от древнегреческого: петь погребальную песнь, плач по покойнику)*. Любопытно, что данный жанр принято связывать не только с античной эпохой, но и с некоторыми фактами новой словесности, в частности – украинской**. В публикуемой подборке цикл "Трени Н. Г. Чернышевского" не случайно занимает центральное место. Здесь Стус выходит за пределы своей извечной темы угнетенной родины. Речь идет о "державі напівсонця, напівтьми" – об империи, столетиями обрекавшей своих сыновей на муки изгнанников. Ключевая двусмысленность содержится уже в названии цикла. Кто кого здесь оплакивает – автор Чернышевского или Чернышевский – собственную державу? Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, можно только осторожно к нему приблизиться, приняв во внимание весь комплекс непростых отношений Стуса к империи.

Изложенные отрывочные соображения о природе слова в стихах Василя Стуса намеренно неполны – фундаментальная научная работа по изучению поэтики и текстологии великого украинского поэта

* См.: Гаспаров М. Л. Три типа русской элегии// Контекст: Литературно-теоретические исследования. 1988 – М.: Наука, 1989, с. 61.

** См.: Перетц В. Н. Украинский диалог и трены на Успение Богородицы// Изв. Отд. Русского языка и словесности Имп. Акад. Наук. – СПб, 1913. Т. XVII, кн. 2.

еще впереди. Мы же хотели лишь в минимальной степени оттенить непомерную сложность задачи, которую неминуемо взваливает на собственные плечи переводчик, пытающийся воспроизвести поэзию Стуса на ином языке. Александр Закуренок эту задачу вполне осознает, результат серьезнейшего отношения переводчика к своему труду – перед читателем. Кстати – как раз через десять лет после гибели поэта.



Татьяна УСПЕНСКАЯ

СЛЕПАЯ

Рассказ

Ей исполнилось сорок. В этот день соседка бросила ей в суп таракана.

Мадлена долго стояла над кастрюлей, держась за холодные ее ручки, смотрела на рыжее плоское брюшко. Подарок ко дню рождения.

Хорошее начало праздника – идти на работу без завтрака.

С детства, голодного, военного, привычка: есть суп утром.

Мадлена понесла суп в уборную. Наклонила уже – вылить и – не вылила.

С войны – страх вылить, выбросить еду. Перелила в жестянку из-под селедки, в комнатную "помойку".

В их дворе жила Стёпка. Рыжая, тощая сука. Кормили ее всем двором, а она никак не отъедалась.

"Покая у нее на душе нету", – объясняет этот факт дворничиха – тетка Дора.

Тетка Дора осталась от прошлого века. Без возраста, в потертой телогрейке, в валенках, она была жалостлива и трудолюбива. Потомственный дворник. Дед – дворник, отец – дворник, и она... Широкая деревянная лопата к ней перешла от отца, к тому – от деда.

Ни окурка, ни спичечного коробка, ни клочка газеты – на двух ее участках! Ни одного хулигана!

Тетка Дора всегда во дворе. Мальчишки дерутся за право поскрести снег знаменитой лопатой, поорудовать метлой. А в садике снегу собрано густо – выше головы. Под деревьями. Чтобы деревья лучше укрыты были. И валиками по четырем сторонам садика снег – в снежки играть двум командам, для "баб" и "медведей" – лепить, для горки – на санках малышам кататься. Тетка Дора за одним следит, чтобы никто никому голову не проломил, чтобы по порядку велся бой, по порядку с горы катались.

Это тетка Дора прячет Стёпку от облавы. Взяла бы, наверняка, она Стёпку к себе, да у нее, на ее семи метрах, распоряжается не она, а коты и кошки, которых она подобрала в подъездах и подворотнях. Стёпке не сдобровать бы!

У Стёпки уши складываются шалашиком, острие к острию, и морда с тремя черными точками смотрит на человека по-человечьи: здравствуй! Стёпка любит разговаривать.

– Стё-па: – позвала Мадлена. – Стё-па!

Стёпкой ее назвала тетка Дора.

"Забывают хорошие старые имена, – объясняет тетка Дора любопытным. – Степанида. Разве хуже «Ирочки» или «Светочки»? Хоть собаку назвать!"

Мальчишки сократили до "Стёпки", ничуть не смущаясь, что сука ходит с мужским именем.

Стёпка на зов не откликнулась.

Ждать было некогда. Мадлена поставила жестянку на обычное место, к подъезду тетки Доры, в последний раз с сожалением глянула на аккуратные кусочки картошки и грибов.

Соседка досталась Мадлене в наследство. У матерей были свои счета. Соседкина мать сорвала с их жилья замок, распродала в войну их скромные вещи, пустила жильцов в их комнату. Война – лотерея: вернутся не вернутся – всё спишет! На горе

соседкиной матери они вернулись. У соседкиной матери муж умер задолго до войны. Она с войной страха не связала, бессонных ночей не накопила. Зато накопила ковров, колец, серебряных ложек... — чёрт ее знает, чего накопила, только две своих комнаты наглухо заперала.

Мадлена ни одной минуты не помнит такой, чтобы их комната стояла нараспашку. Задвижки, крючки, железные замки — тремя видами замков от них с матерью отгородилась.

Только не всесильны сережки и сервизы — умерла мать соседки от рака. Мадленина мать говорила: не от рака, от "желчи". Кто знает, от рака или от желчи. Умерла. Оставила в наследство дочери задвижки да злые стуки кастрюль со сковородками на кухне.

Мадленина мать тоже умерла от рака. Мадлена про себя считала: не от рака — от тоски.

А может, от всей своей тяжелой жизни. На войне погиб муж, работала мать по десять-двенадцать часов, чтобы заработать побольше, растила Мадлену, да еще ухаживала за своим слепым отцом.

У дедушки была белая трость, он мог худо-бедно передвигаться по городу, но мать старалась его одного не отпускать: гулять водила вечерами, провожала в больницу. Сильно жалела. Часто повторяла: "Нам с тобой, Маля, сетовать на жизнь нечего, мы с тобой зрячие, наши беды — не беды. А вот бедный папа сколько лет в темноте!"

Несмотря на слепоту, для Мадлены дедушка был главным в доме. Он помогал ей решать задачки, пересказывал книжки, пел старинные революционные песни и боевые песни пел, вырезал из дерева ей игрушки, они получались пузатые, рукастые — смешные. Был всегда веселый и довольный. Очень любил плясать. Отодвинет своими ручищами стол со стульями, поставит модное танго, расто-

пырит руки, словно даму держит в объятиях, и передвигается по комнате. Но чаще отплясывал русского. Так отстукивал каблучищами своих сапог, что снизу прибежал сердитый сосед.

Когда дедушка умер, они с мамой спрятали за шкаф его трость, а в шкатулку положили черные очки — словно дедушка не сегодня-завтра возьмет да и вернется к ним.

Тосковала мать по мужу, тосковала по отцу — умерла от рака. От рака — от тоски.

Остались они с соседкой вдвоем. Соседке — пятьдесят пять, Мадлене сегодня исполнилось сорок.

Квартира точно заколдованная: мужчины здесь не бывают, ни у соседки, ни у нее. Ребятишек нету. Тихо. Особенно ночами. В водопроводе вода прошумит, успокоится, еще резче тишина, как ознобом, обхватит. Дверь откроешь в коридор, хоть счетчик послушать, а он в темноте редко движется, лишь когда холодильник проснется. Холодильник вскинется, простучит и снова уснет. За грохотом холодильника разве услышишь тихий счетчик? Только тараканов ночью слышать — не шорохи, не шуршание, легкий ветерок движется по кухне.

Сильно хотелось есть. Пока варила яйца, пока обливала их холодной водой, пока ела, пока одевалась, время перескочило за восемь. А ехать до работы — час! Опоздала!

Работу свою она терпеть не может. Целый день неподвижно сиди на месте, с бумагами. Разве это профессия?

Целый день смотри на проплешину на макушке Сидора Сидорыча. Сидор Сидорович — начальник их отдела. Слова доброго не найдет. В глаза не посмотрит, когда она поднесет ему бумаги на подпись. Подмахнет скупую закорючку вместо полной фамилии и как бы отмахнется — давай дуй на ме-

сто, берись за следующий отчет. Ни разговоров в их комнате никаких не ведется, ни шутки не прозвучит. Тишина. Да шелест скучных бумаг. Позади нее, за столом, сидит, под стать Сидору Сидорычу, Анпавловна, как зовет ее Аллочка.

Аллочка – фигура в жизни Мадлены, наверное, самая значительная. Она не входит, а влетает.

– Здравствуйте! – звонко рассыпает тишину. – Слышали, сегодня обещают прокрутить "С легким паром". Мой любимый фильм. Сколько ни смотрю, а всё, как в первый раз, – хохочу и всё тут! Домой шлепайте осторожно, только что предупредили, к вечеру будет гололед! Анпавловна, вы особенно любите поскользываться.

– Бумаги давай! – строго говорит Сидор Сидорыч. Лишних слов он не любит. И Аллочку, по всей вероятности, терпеть не может.

Но это единственная минута, когда можно увидеть лицо Сидор Сидорыча. Скулы – острые, подбородок – острый, щеки блеклые. А глаз всё равно не увидишь – за толстыми близорукими стеклами. Каждый раз заново удивишься детским полным губам, совсем не гармонирующим с общим обликом.

– Спасибо, что предупредила, а я-то удивляюсь, чего у меня коленка ноет. Не к добру, значит, – говорит тихая, всегда грустная Анпавловна.

– Вы улыбнитесь, – смеется Аллочка, – и сразу веселее станет. Я бы тут у вас давно от тоски загнулась, такие постные вы все!

Сидор Сидорыч не отвечает ей. Да и что ответить, когда аллочкины слова – истинная правда? Очень даже легко можно задохнуться в таком безвоздушьи.

Аллочке жить весело, она – курьер: летает из комнаты в комнату.

А после работы ее ждет Юрош.

Таких молодых людей изготавливают, наверное, в специальных инкубаторах. Высокий, краснощекий, глазастый, широкоплечий. Баритоном бархатным обглаживает даже случайных встречаемых-поперечных. А Аллочку он – обнимает и уводит от дверей быстрым скоком на глазах сослуживцев: так и кажется, сейчас оба взлетят, так стремительно они уносятся прочь от работы.

После ухода Аллочки из комнаты еще долго воздух – живой (пахнет сладкими духами, чистотой, шампунем, кремами, не поймешь чем, только чем-то очень вкусным и свежим) и – звенит от Аллочкиного голоса. Это мгновение надежды – а вдруг это вот... неподвижное, скучное, тягучее... может в самом деле измениться? Что для этого нужно сделать? Сейчас и она... как Аллочка...

Но проходит мгновение, и шорох бумаг сзади и спереди, склоненные покорные головы двух немолдых людей, мутное окно, дающее так мало света, что приходится целый день жечь электричество... возвращают ее обратно в вязкую жижу неподвижности, где лишь цифры сбегаятся в опасные колонки – одна неточность и – не дай Бог, сорвет она план всего их строительного учреждения. "Ну же, – уговаривает она себя, – осторожнее, внимание!", а голова после ухода Аллочки совсем пустеет, а всё, что было в ней вещественного, плотского собирается в жесткий ком поперек горла.

Решение приходит неожиданно. Не таракан – подарок. Подарок – то, что она не пойдет сегодня на работу.

Решила и растерялась. День – длинный, бесконечный, будет тянуться.

Подошла к зеркалу. Зеркало они с мамой купили незадолго до маминой смерти. Мама, протирая его, смеялась: "Когда нужно было позарез, не было;

наводила красоту перед лужей, а теперь видеть только желтую кожу да блеклые губы. Может, хоть тебе будет от него радость”!

Ей – радость! Она нехороша. Плоское лицо, с плоским широким носом, бесформенный рот.

Из-за внешности не посмела пойти в артистки.

А ведь с пятого класса играла в школьном драмкружке. Квакина играла в ”Тимуре и его команде”, сына полка, Любку Шевцову, Тома Сойера... Так играла, что их классная каждый раз в школьной газете статьей разражалась, восхваляла!

Пришел к ним однажды режиссер, родитель из параллельного седьмого.

– Плохо вам без мальчиков учиться, – посетовал он перед началом вечера. – Поплясать не с кем, хорошего спектакля не поставить. Да и как парня сыграть? – После же спектакля подскочил к ней – донельзя удивленный, спросил. – Ты парень или девка? Откуда ты взялась? Движения, голос, мимика... – ни одного прокола.

Мадлена стояла перед ним, засунув руки в карманы сойеровских штанов, из-под кепки растерянно моргала.

И, хотя режиссер после спектакля исчез навсегда, Мадлена запомнила его охи и ахи и, когда кончила школу, решила идти в актрисы. Прижав к груди аттестат, радостная, шла из школы домой – за паспортом. Желание одно: в театр на любую роль.

Чёрт дернул подойти к зеркалу.

Как-то сразу, четко увидела тощую серую прядь через лоб, редкие брови, сонные невыразительные глаза, бесконечное пространство рыхлых щек.

Стояла, смотрела на себя, и помирало будущее в холодном стекле.

Так и вышла из дома с аттестатом, прижатым к груди: устраиваться на работу.

Целый день сиди сверяй строительные отчеты со сметой, копейку с копеейкой, цифирку с цифиркой. Государственные деньги!

Закусив губу, походила по комнате, по кругу, вокруг стола. И полезла в нижний ящик комода. Вынула мамину шкатулку. За тяжелой ее дверцей – дедушкины очки. Поддержала их. Круглые, пыльные – щиты слепоты, дедушкиной отторженности от жизни и людей. Снова положила в шкатулку.

Под шкатулкой семейный альбом.

Фотографий мало. Война. Голод. Отец погиб. Она, Мадлена, – маленькая. На коленях у отца. За ними – сзади – стоит мама.

А вот Мадлена на коленях у дедушки. Большие, застывшие, ничего не видящие дедушкины глаза.

Выпала толстая старинная фотография: дедушка в косоворотке, лохматый, а лицо – напряженное, глаза застывшие, какие потом у слепого были, раньше фотографироваться не умели, таращили глаза. Только в самой их глубине – смех, жизнь. Еще одна фотография, с молодой женой. Между ними сидит малыш с толстыми щеками. Волосы у дедушки ничуть не изменились к старости, такие же лохматые, мальчишеские. И глаза – в мелких светлых точках радости.

В день рождения встретила со своими.

Захлопнула альбом. Одна есть одна. Чего ворошить прошлое? Ни мама, ни дедушка не заговорят, не погладят по голове.

Разобрала шкаф, отложила старые рубашки со штанами на тряпки. Разобрала посуду. На всю ее жизнь посуды хватит – хоть бы чашка какая разбилась на счастье! Постирала свой любимый свитер. Подшила юбку – мода требует.

Все дела, которые откладывала с воскресенья на

воскресенье, переделала. Села к столу и уложила тяжелые руки на колени.

Она хотела есть. Идти в магазин, варить суп – в свой день рождения – не хотела. Сидела, сидела. И точно тянуло ее зеркало. Как в день получения аттестата, подошла к нему с прижатыми к груди руками. Только в глазах надежды нету.

Да она уже старая!

Пальцами опустила губы вниз, сморщила кожу, чтобы от носа к углам губ потянулись морщины, завязала волосы в тощий старушечий узел, платок не на плечи положила, по-старушечьи надела. Пальто достала мамино, серое. Бесформенная она получилась в том пальто – мама покрупнее была, чем она. Из-за шкафа достала дедушкину трость.

С каждым новым своим движением, действием Мадлена ощущала в себе изменения. Ноги налились чугунной немощью, руки потяжелели, голова выдвинулась вперед, спина стала горбатой.

Отъединилась от мира. Сама в себе – в своей старости, слабости, болезнях. Никому не нужна. И никого вокруг, с кем можно слово молвить.

Снова предстала перед зеркалом – с тростью в руке, с пригнутыми к трости плечами, с остановившимися прозрачными глазами. Достала и надела черные очки, крепко смежила глаза. Она слепа, как дедушка. Сегодня она узнает, что это значит: не видеть света!

Потянула трость к двери, ощупывая путь, застучала по полу, мелкими шажками пошла.

Со второго этажа спускалась долго, неуверенно обстукивала ступеньки.

– Ходят тут... – знакомый голос, – того и гляди палкой зашибут в своей парадной.

Мадлена остановилась, прижалась к перилам, затрясла головой – ждала, когда соседка пройдет.

Привычной боли от одного присутствия соседки, обиды не было, равнодушная жалость к одинокой женщине – и только. "Царствуй! – вяло пожелала ей Мадлена. – Супа сегодня нету. Некуда пускать тараканов".

Соседка пахла нафталином. Она боялась моли и нафталин, видно, посыпала везде, куда ни попало.

Мадлена передернула плечом и, когда нафталинный хвост развеялся, продолжала спускаться.

Граница подъезда и улицы резка. В подъезде – тепло, на улице – холодно. Протянула в холод трость, перешагнула порог, и сразу обожгло щеки.

Идти. Быстро идти, в движении греться! Но "быстро идти" не получалось. С непривычки трость всё время упиралась в стену дома. Мадлена резко шагнула влево. Трость скользила с кромки тротуара на мостовую.

– Напилась, сердешная! – тут же определил ее состояние сочувствующий голос. Мимо прошлепала неаккуратная старушка. Запах мочи и пота в чистом морозном воздухе защекотал ноздри.

Мадлена постояла, стараясь понять, как же лучше идти. С равновесием у нее всегда было плохо. В детстве на уроках физкультуры по бревну пройти не могла. А сейчас – всё равно что по бревну.

Дедушка никогда не жаловался. Всю юность воевал, был порублен шашками: раны на голове и плечах, ребра перебиты. Строил город в вечной мерзлоте. Вернулся в Москву, на работе пропадал сутками. Правда, у всех тогда была нелегкая жизнь. Далеко не все в ней смогли отыскать радость. Дед же не умел жить без праздника. Громкие песни любил. Застолья. Загородные прогулки любил. Всё ему казалось: он только начинает жить. Радовался каждому дню, каждому часу. А в тридцать седьмом году, когда ему было пятьдесят че-

тыре, а его дочери – двадцать два, он – полюбил. Черноглазую, звонкую девчонку – подругу дочери. От людей не прятался. Жене сразу, без подготовки и без жалости, бухнул: "Полюбил я, отпусти меня", позабыв, как жена в ледяной воде отстирывала его белье, как из ледяной земли негнушимися руками выковыривала мерзлые картофелины, как рядом тряслась в грузовике при переездах с места на место. Гордясь – перед соседями, женой, дочерью – вел под руку по улице, прижимая острый девчоночий локоть к себе.

Свадьбу закатил на сто человек! Пир по поводу рождения сына – на сто человек!

И сразу – одним ударом обрушилась кара. Умерла старая жена. Из-за него умерла. Он виноват. Обидел. Выкинул из жизни верного человека. Метался в безвыходной муке – вымолить прощение. Не у кого прощение просить. Несколько ночей не спал. Да сказались старые раны. Перенапрягся и – отслоилась сетчатка. Наступила полная слепота. Молодуха подхватила сына и ушла в будущее, с сыном на руках. А он сразу из молодого – в старики.

Дед не жаловался. Нянчил внучку, чистил ощупью картошку, мёл пол. А вот ходить по улице не мог научиться долго, несколько лет. Сзади, впереди, сбоку – люди. Попробуй влейся в поток, поймай его ритм. Если черно кругом.

Мадлена прислушалась. Мимо пронеслись две девочки, одна за другой, обошли ее слева, запыхались. Навстречу идет неторопкий мужчина. Осторожно Мадлена двинулась вперед, туда, куда пробежали девочки. За углом – остановка. Обычно до нее – две минуты, а сейчас тащится пятнадцать!.

Она – не она. Руки – чужие, ноги – чужие, не гнутся. Спина согнута, грудь сжата, болит. Вялые воспоминания из далекого прошлого, почти небы-

тия: на стенке дома был выступ, на него ставила когда-то, тысячу лет назад, портфель, когда играла с девчонками в "классики". Сейчас выступа нет, гладкая стена. Не тот, наверное, дом.

Так идти удобнее – держась за стенку. Трость в левой руке царапает асфальт. Какого цвета дома? Какого цвета занавески в окнах? Есть цветы или нет? В войну самая сильная радость – цветы за морозными окошками. Сколько трещин на асфальте? Урны есть в их переулке? Ямки есть?

Почему она ничего не знает? Она прожила здесь, не считая эвакуации, сорок лет. Были глаза, не видела ничего. Никого не видела, не замечала. Кто сейчас шуршит, обгоняя? Эти люди каждый день идут по этому переулку, как и она. Может быть, с кем-нибудь из них она могла бы подружиться?

Бедный дедушка! Двадцать лет ощупью. А никогда не жаловался. Смеялся громко, как молодой и здоровый. Она – дедушка. Мадлена заставила себя чуть вскинуть голову, улыбнулась: ноги целы, руки целы – жить можно. Но старушечьи плечи распрямляться не хотели, всё так же тянули вниз, к жесткой застывшей земле.

Шаг, еще шаг. Оперлась о стенку. Холодит. Даже через перчатку. Тростью зашарила впереди. Сразу повело влево, поперек движения. Она это поняла, потому что напористым плечом ее задел мужчина, чертыхнулся, проскочил. Мадлена дернулась в сторону. Трость соскользнула с тротуара на мостовую и застряла. В растерянности стояла Мадлена. Что случилось? Не сразу поняла: трость попала в решетку стока. Потянула осторожно, та не подалась. Ступила к трости, не рассчитала шага, подвернулась нога, Мадлена неловко осела.

– Господи, да что же это за люди?! Никто не поможет! – к ней подошла женщина. По голосу – молодая. – Конечно, все спешат. Жизнь такая. Вы,

бабушка, за меня держитесь. – Женщина подвела мадленины руки к своему плечу.

Мадлена с трудом встала. Прижала к себе вы-свобожденную трость. Женщина давно убежала, а Мадлена всё "смотрела" в ту сторону, куда она убежала, – какая, интересно, она? Беленькая, черненькая? Красивая, некрасивая? Есть у нее дети?

Эта тема – запретная. Несколько лет назад Мадлена, устав от пустых ночей, решила завести ребенка. Ни от кого ей ничего не нужно – только пусть будет ребенок. Сейчас не старое время, камнем в нее не кинут, наоборот декрет оплатят. А ей – в радость. Кричи, дочка, ночью, кричи днем, только кричи, извещай, что ты есть! Кашу тебе мать сварит. Супу. Платье сошьет. Разве много ребенку надо?

Два года Мадлена копила деньги на отпуск. Всё как полагается она сделает: поедет в дом отдыха. Никогда нигде не отдыхала. У моря познакомится. Ей безразлично, женатый – не женатый, она ловить мужика на ребенка не желает.

Ехала в поезде к Чёрному морю, дрожала, как всё получится?

Поселили ее третьей в комнату – к пожилым подружкам. Подружки всюду ходили вдвоем, говорили безостановочно – видно, давно не виделись. А Мадлену не замечали, точно ее вообще нету.

Мужчин в доме отдыха оказалось мало. Несколько женатых. Трое – глубоких стариков. И совсем молодые парнишки. Ее возраста – пять человек, но все они как-то мгновенно обросли девушками. Остальные... Мадлена не знала, к какому разряду отнести остальных. Без возраста. Играли в домино, в карты, вечерами пили.

Десять дней прошли бесцельно: она лежала до

обеда и после обеда на пляже, вечером прижималась к стенке танцплощадки. Она была пустым местом для всех. Ее не видели. Иногда она ощущала себя: может, и правда, ее нет?

Между десятым и одиннадцатым днем она не спала. К кому подойти? К старикам – не хочется. Остаются безвозрастные, безразрядные. Пьяницы и доминошники. Мадлену лихорадило. Из книг, от школьных подруг она знала: болезни, пороки передаются по наследству. Кто из них, из этих безвозрастных, – здоровый, кто – больной? Кто – закоренелый выпивоха, а кто пьет за компанию?

Выбор пал на тихого мужичка с ясными голубыми глазами. Среднего роста, худощавый, он всё время, пока играл в домино, трогал пальцем широкую бровь.

Мадлена первая пришла в это утро на пляж. Задолго до зарядки. Полотенце с платьем положила на топчан рядом с его топчаном. Заняв место, успокоилась, прилегла и даже задремала.

– Новости какие! Обнаглела! Я тут, можно сказать, целый срок, и вдруг – су-урприз. А ну, сматывайся, откуда пришла!

Женщина была "пышная". Грудь до живота, живот до колен, вместо купальника синие широкие штаны и черный лифчик.

Мадлена послушно встала, взяла свои тряпочки. Постояла. Идти некуда. Между топчанами опустилась прямо на песок. Села, обхватила колени, подставила макушку солнцу.

Он появился после завтрака. Плавки вполне современные. И плывет нормально, по-молодому. Про снежного человека рассказал приятелям. Смеется он тихо, точно боится кого-то своим смехом обидеть или спугнуть. Со всеми приветлив. Только ее не замечает, хотя она вот тут, рядом с ним, слышит его голос, его покашливание, его дыхание.

Дождавшись, когда он снова пошел в море, она решилась – двинулась за ним. Лавируя между топчанами, подошла к берегу. Стояла, смотрела, как он, широко взмахивая руками, плывет. До буйка доплыл. А потом поплыл от буйка к буйку. Она терпеливо ждала, ни на секунду не выпуская из поля зрения его голову.

Наконец он вышел из воды. Блестел на солнце. К углу рта прижалась неуверенная улыбка.

– Здравствуйте! – хрипло сказала Мадлена. Она хотела сказать: "Я хочу научиться плавать, поучите меня", а сказала: "Я хочу от вас ребенка. Вы ничего не должны мне. Даже имени говорить не надо. Я не хочу знать, ни где вы живете, ни где работаете".

Лишь выпалив всё это разом, Мадлена увидела его лицо. Оно перекошилось в сторону.

– Зачем? – пролепетал он.

Мадлене было очень страшно. Гусиная кожа, дрожь... – точно мороз трескучий.

– Я совсем одна. Если будет ребенок... не одна. Я ему нужна. Он мне нужен.

– А я? – буквально взвизгнул мужчина. – А обо мне вы подумали? Как мне после этого жить? Совесть моя... вы о совести что-нибудь слышали? Чувство ответственности... я ведь должен за него отвечать! Я же буду отец. Или вы думаете, что я – такой! – он округлил глаза. – Думаете, я могу бросить человека? А я женат! У меня их уже двое. И мне приходится... на двух работах вкалывать. Дочь – невеста. Каково мне, вы подумали? А что жена скажет? Она убьет меня! Вы думаете, я тут... один... это потому, что я – после болезни, мне нужно прийти в себя. У меня сын сейчас сдает в институт... – сказал зачем-то. – Так-то.

Он смотрел на нее. Ощущение было незнакомое. Мужчина смотрит на нее. Именно на нее. С любопытством. Она плохо слушала, что он говорил. Он

смотрит на нее. И она закрыла рукой голый пупок. Ей казалось, ему не нравится ее фигура. Пусть. Если он захочет, она может не раздеваться.

Он повернулся и пошел. Он уходит!

Медленно вернулось лето – с солнцем и восторженными воплями купающихся.

Три дня подряд она не появлялась на пляже, уходила на дикий, ела после всех.

Столкнулись в парке, около бассейна: в мертвый час она шла гулять в поселок.

– Ну? – спросил он строго. – Одумались?

– Простите, – сказала она и хотела пройти мимо.

Он преградил путь.

– Почему вы выбрали меня?

Она вжала голову в плечи, ногой ворошила мелкий ракушечник.

– Приходите на танцы, – строго сказал он. – В обязательном порядке. – Он пошел к главному корпусу, а она с удивлением провожала его взглядом. Он неузнаваемо изменился: стал выше ростом, развернул плечи, голову держал по-новому, легко и гордо.

Все девять месяцев – сырой осени, долгой зимы, затяжной весны – Мадлена была самым счастливым человеком: в ней зародился, в ней живет, растет человек.

Сын умер в роддоме. Какому-то умнику пришла в голову благая идея – к Первому мая вымыть окна. Холодная весна просквозила сына.

...Медленно Мадлена придвигалась к углу.

В старости главное чувство – беспомощность. Зато с удивлением она ощутила, что у нее обострился слух. Вдохнула рядом женщина, процокал мимо "подкованный" мальчишка, за двухстекольным окном – музыка, жестко проехала машина, – звуки со всех сторон легко входили в нее и,

соприкоснувшись друг с другом, приобщали ее к улице, которую до сих пор она не знала и не понимала.

Главное, что поразило ее в улице, – порядок. Всё совершалось точно по правилам. Тормозили машины, снова ехали. Люди шли по свои колеям. Черный мир вокруг был предельно прост: люди шли, машины ехали, магазины торговали. Трость, как лока-тор, принимала сигналы: вправо, влево, вперед. Мадлена наконец почувствовала свою колею.

За угол свернула благополучно. Подошла к остановке.

– Сюда, бабушка, – скучный голосок девочки. – Вам ехать?

Как в старости тяжело войти в автобус! Пусть даже с передней площадки. Ей помогли. По хватке – мужчина.

Села, перевела дух.

Сколько сейчас может быть времени? Судя по толкучке, час пик. Судя по тому, как сосет в голодном брюхе, тоже час пик.

Куда она едет?

Не она сегодня распоряжается днем, день – ею.

Обычно она придумывала каждому пассажиру свою судьбу. И словно приобщалась к чужой жизни. Люди входили и выходили, с одними ей жалко было расставаться, других она никогда больше не хотела бы увидеть. Сегодня она полна самой собой. Ее сегодня много. Она стара, слепа, немощна – во-брала в себя страдания всех одиноких и больных. В ней сегодня слепой дедушка, выцветший отец с ней на коленях, молодая мама с бесконечной косой, и Он. Запретить себе думать о Нем она может. Но только в будни. Не в день рождения. Сегодня пусть он обнимет ее. Пусть поцелует. Как целовал тогда. Руки у него добрые, всю ее согрели. Губы у него добрые, всю ее обожгли. Ровно десять дней она была

женщиной. И женой. Десять дней и еще девять месяцев, пока он оставался в ней.

От тепла, разом обрушившегося на нее, задремала. Притупился голод, распались беспомощность и страх слепого пути.

– Гражданочка, конечная! Дальше автобус не пойдет. Бабушка! – теребила ее девушка. – Вам помочь?

Трость крепко зажата в руке. Мадлена поднялась, тяжело навалившись на трость. Только сейчас она поняла, что приехала на свою работу.

– Давайте, бабушка, я вам помогу.

Их заведение стоит на шумном проспекте. Машины несутся ошалелые, люди бегут. Автобус давно укатил, а Мадлена всё стояла на том месте, куда ее поставила девушка.

Что ей тут делать?

Прежде всего, поесть. Столовая – на противоположной стороне. Подземный переход – далеко, нужно как-то перебраться через проспект. Сколько отсюда шагов до перехода, она не знала, никогда не считала. Она от автобуса шла на работу. Значит, и сейчас надо сначала подойти к работе.

Трость вильнула в сторону. Мадлена притянула ее к себе. Снова выставила защитой вперед. Медленно пошла. До работы – пятьдесят семь шагов, широких, бегущих. От работы до перехода тоже пятьдесят семь. А сколько ей нужно сделать сейчас? Шажки ее мелки, осторожны. Не задеть бы палкой людей!

– Юрош! – Аллочкин счастливый голос рядом. И запах ее духов. И сигаретный дым Юры.

Работа кончилась? Мадлена метнулась к мостовой. Резкий скрежет тормозов. И горькое жаркое дыхание машины у лица.

– Дура старая, лезет под колеса! Для таких подземных переходов понаделали! Вставай! Не

задел. Жива? Ну и привет. Я поплыл! – голос уже из кабины. И – поспешное оправдание. – Я не виноватый, сама выскочила! – Машина газанула и проскочила.

– Идем, что ли! – торопливый голос Юры. И сразу торопливый топот шагов: скорее сбежать, прочь – от нее? Мимо. Мимо.

И вдруг голос над ней:

– Встать можете?

Так это Сидор Сидорыч! Голос едва знакомый. А запах – его. Сидор Сидорыч пахнет одеколоном. И почему-то бензином.

– Асфальт – холодный. Вставайте. Ездить не умеют. Я бы отобрал у него права, будь моя воля. Это милиция не видела. Вам куда? Я могу вас проводить.

Опершись на его руку, встала. Он руку не отнял. Так и пошла, опираясь на него. Без него, казалось, не сделала бы и шагу.

– Хотела поесть... не ела, – сказала дребезжащим голосом.

– Я вам помогу. Я знаю одно кафе. После работы люблю там посидеть. Там делают пельмени и чебуреки. – Сидор Сидорыч не спешил, шел приноравливаясь к ее неуверенному семенящему шагу. – Жена померла, семь лет, поди, будет. Сын в Сибири заведует комбинатом. Машина, четырехкомнатная квартира, трое детей. Я там не нужен. Вот сюда заходите! Можно раздеться, тогда пройдем в зал, посидим за столиком. А можно одетым поесть, тогда здесь. Здесь тоже хорошо, тепло. Только стоя.

– Стоя! – сказала она. – Только стоя. Я целый день сижу. Устала сидеть. – Голос ее дребезжал, рвался благодарностью к Сидору Сидорычу.

– Вы не бойтесь, я вас до дома довезу. Помогу. Я не спешу. Мне спешить некуда. Знаете, я терпеть не могу свою работу. Всю жизнь хотел быть фотографом. Купил себе аппарат, когда родился мой

первый внук, думал, каждый день его отмечу фотографией, а не успели молодые родить его, как подались в Сибирь... Квартира у меня хорошая, двухкомнатная. Ходишь по ней один, ходишь. И завоюешь. Телевизор я не люблю. Покойница всё просила: посиди со мной, посмотри. А я читать люблю. А померла жена, не могу читать. И всё тут. Мне надо, чтобы она... в соседней комнате. Телевизор у меня теперь гремит целый вечер... Вам что взять, чебуреки или пельмени? Вы встаньте сюда, вас здесь никто не заденет.

Сидор Сидорыч ушел. Непрошенные, горячие, вырвались из глаз слезы. Мадлена раскрыла глаза, сорвала очки. Чернота стремительно разряжалась. Вот проявились высокие чистые круглые столики. У женщин платки сброшены с голов, шапки мужчин лежат на полочках под столиками. Голубая длинная стойка с дымящимися чебуреками и пельменями. Очередь. Сидор Сидорыч – в самом ее конце. Никак не умея задержать этого процесса, из слепой и старой Мадлена стремительно превращалась в зрячую и полную сил.

Слезы жгли глаза, щеки. Вытертый воротник увидела на стареньком пальто Сидора Сидорыча, узкую проплешину на макушке, розовое от мороза ухо.

Как ей теперь быть? Никакими силами не вернуть слепоты и дребезжащего голоса, старческих болезней, неуверенных ног. Она согрелась. В горле стоит комок. Плакать, плакать – больше ничего она не хочет. Впервые за долгие годы без мамы. Даже смерть сына не выжала из нее слез. Даже память о голубоглазом "муже" на десять дней и отце ее ребенка на девять месяцев – не выжала.

Что случилось сейчас? Она не знает.

Сидор Сидорыч приближался к раздаче. Она из всех сил сжимала тонкую негнущуюся трость.

Убежать? Обидеть человека? Открыться ему? А

как она объяснит ему, почему маскарад? Она сама этого не знает.

Из всего города – один Сидор Сидорыч не побрезговал старушкой!

– Весь ассортимент! – аккуратно, любовно Сидор Сидорыч снимал тарелки с подноса и подставлял ей. – Чебуреки вот, пельмени вот. Салат из капусты. Жена пельмени делала – ум отъешь. – Внезапно поднял глаза, встретился с ее взглядом.

Неловкость, страх, растерянность, скукота смеялись друг друга.

– Зачем? – он задал такой же вопрос, что тот – подаривший ребенка.

Она плакала без стеснения, точно наконец добралась до родного отца. Как она может выразить то, что в ней набралось? Соседка, таракан, счетчик ночью... – это не слова. Словами так просто: таракан. Бессонными ночами, соседкиным громким перестуком кастрюль на кухне съедена ее жизнь, вся, целиком. Сегодня, в день ее сорокалетия, она поняла: она была слепая все сорок лет. Ее – нет. Она никому не нужна.

– Ешь, – приказал Сидор Сидорыч. – Остынет. Ты не бойся, я всё равно провожу тебя.

В их дворе около дворницкой – "скорая". Толпа. Больше всего – мальчишек. Горько плачет Соня Ипатьевна – "стойкий оловянный солдатик", как называет ее Мадлена, – двадцать лет проведенная по тюрьмам и лагерям.

Мадлена и Сидор Сидорыч подошли в тот момент, когда выносили тетку Дору. Тетка Дора увидела людей, шевельнула рукой, чтобы подождали засовывать ее в машину.

– Я вернусь, – сказала она мальчишкам. – Стёпку за ноги, головой в мешок! Я кричу – "моя"! А голоса нет. Стёпка визжит. Я подбежала. Отпихну-

ли. И уехали. – Тетка Дора говорила с трудом. – Поехала на улицу Юннатов. Деньги дала, двадцать пять. Меня пустили. А там... – превозмогая боль, слабость, сказала: – Избитые, голодные... щенки, большие... стон, вой... Стёпки там нет. На опыты Стёпку. Звери...

Тетку Дору вдвинули в машину. Машина уехала. А люди остались стоять.

– Куда могли определить Стёпку? – спросил кто-то. – Где эти "опыты"?

Ему не ответили.

– Звери, – повторил кто-то слова тетки Доры.

– Жить будет?

– Она бы взяла Стёпку к себе, да – коты...

– Чего уж, никто не взял, у всех квартиры! Столько-то лет! Знают же, Дора взять не может.

– Жить будет? – повторил другой голос.

И снова ему никто не ответил.

Возле дома стояла еда для Стёпки: сквозь лед просвечивали кусочки картошки и грибов.

...Когда Мадлена с Сидор Сидорычем открыли дверь, появилась в коридоре соседка, точно дожидалась их.

– Я милицию вызову! – сказала она. – Без прописки водить не позволю. Не разрешу.

Сидор Сидорыч подошел вплотную к ней. Узкой грудью наступал. И соседка – попятилась к своей двери. Выставив зад.

Уже в комнате, увидев жидкий семейный альбом, Мадлена сказала:

– Имя у меня неудачное. Человек начинается с имени.

Сидор Сидорыч снял шапку, положил на стол, рядом с альбомом. Стоял и смотрел на Мадлену.

1983, гор. Мичуринец

Мария СОЛОВЬЕВА

ГОЛУБЫЕ КОНИ

Голубые кони – не миф. Они были на Руси до начала 16-го века.

* * *

Голубые кони
С серебром звезд в гривах
По синему льду
Как ладьи
По синему морю плывут.
Как полет их бесшумный прекрасен,
Как державен их бег!
Но чернеет от дыма пожараищ
Сверкающий синий снег.
Вымерли голубые кони...

* * *

Здесь водят хороводы
Царственные старухи,
И песен прежних
Лад величавый,
Как плач поминальный,
Плывет над Печорой,
Над избами черными
И тает в лесистых далях,
В небе низком и светлом...
Творю заклинанье:
Да пребудут вовек хороводы,

И песенный лад величавый,
И дали лесные,
И темные воды Печоры.

* * *

Павлу Васильевичу Флоренскому

Там океаном
Город взят в кольцо,
Девятый вал
В подножье сопок серых.
Там, на вершинах гор,
Трамваев трели,
Там небеса в огне горели
И цвел жасмин.
А дикий виноград
Там стлался по камням оград.
Там кули, чуть присевши отдохнуть,
С поклажей тяжелой пролагали путь
к Тигровой, Голубиной пади.
Здесь, на краю России,
с ней прощались
Отсюда начинался крестный путь
для тех, кого уж больше не вернуть.
Младенчество мое –
дрожащие огни
на зеркале аквамариновой воды.
Старинный дом,
Времен минувших жалкие приметы,
В овальных рамах кто-то в эполетах
Густых, сиявших теплым блеском золотым.
Отечества благословенный дым,
Побед и поражений скорбный свиток.
О, Родина, тебя ли не любить
За честь твою, за страшную судьбу
И то, что ты у Океана встала
И то, что всякий раз виток беды
проходишь от конца и до начала.

* * *

Никишиха река,
Никишиха-река,
В чаще синего багульника вода
То скачет по камням
Вдоль берегов отлогих,
То вдруг ныряет в омут, в глубину,
чтоб отразились в ней макушки сосен.
И легкий ветерок едва доносит
грядущих водопадов слитный гул.
А на тропе, которой я иду,
жужжанье пчел, шуршанье трав
И наших голосов прекрасные речитативы.
И мы все вместе, всей семьей родимой.
В лукошечке душистая малина,
А скоро город, дом и чай,
и сладостный покой.
Беда еще не грянула над нами.

НА КАРТИНУ КЛОДА ФРЕЖЕРА "ОТЪЕЗД"

Печальный неуют
оставленного дома
Еще вдвоем, но миг – и ты одна
И за спиной сложились два крыла
крестообразно.
Разделены судьбой
бедой,
дорогой,
грузом лет.
Уж стынет за окном
печальнейший рассвет
И горек поцелуй прощанья...

* * *

Проходят дни в отчаяньи глухом,

Но кажется, что миг –
и отпадут досадные заботы
И будут по-небесному безгрешны и легки,
И по-земному тяжки и греховны
Стихи, исполненные скорби и любви.

* * *

Застыли в недвижимой воде
отражения ив пышнокронных.
На зеркале вод
Исполнены смысла узоры.
То, будто шатра шемаханской царицы,
увенчанный месяцем свод,
То синяя птица возникнет
на ветке
И легких стрекоз хоровод.
Прольется серебряный свет
И зардеют зарницы
на глади
таинственных вод.

* * *

Грядут
стихи,
Являются как-будто ниоткуда.
Я знаю это приближенье,
Когда из плоскости реальных,
Что лепят жизнь
в одном лишь измерении,
Всем правилам
житейским вопреки,
Наперекор
законам
мироздания
Возникнет мир

пространств воспоминаний.
Грядут стихи.

* * *

Памяти Марии Петровых

Блажен, кто молча был поэт,
Пред кем пути тяжелые лежали,
Кто в краткий миг земного бытия
Мог видеть вечности непостижимой дали.
В чей власти китежанкой быть,
И колокола слышать звук зовущий,
И слов святое таинство постичь,
И завещать живущим.

БАГУЛЫ

Стихотворение в прозе

Ах, как тяжело идти по снегу, как неверен шаг, как неровен он и как труден на этом нескончаемом поле.

Да и лыжи поизносились, и надо бы подошву поновить, да где ее взять, если нет на дворе у нее никакой животины, да и что делать с ней, если косить некому, и позарастали все малюги, которые с таким тщанием и заботой расчищал еще ее свёкор.

Вот уже несколько лет, как последние ее односельчане съехали из Багулов вниз, к устью Кай-ручья, в Вёкши, где бригада, школа, магазин, и осталась она здесь одна жить-доживать.

Куда же ехать ей от двухжирного дома своего, от погоста своего, где и детки ее повалёны, и хозяин ее, и батюшка с матушкой, и свёкор, и все те, кто доводился ей родней и чьи имена уж и не вспомнит. Куда же ехать от этого поля, на котором ломила она, которое и в колхозе побывало, и в совхозе, и единолично засевалось, а теперь на

котором, как ни тужи, всё равно брошенном, вырастают травы, да в рост человека колючий тарник.

В сенокос приедут из векшинской бригады доярки, уработаются здесь, нашумятся. Наслушается она всего, чего и не упомнит и что далеко от нее, как за тридевять земель. Посмеются бабы, порасспрашивают, как она здесь одна управляется и не прячет ли у себя на повети зека-сугревушку? Да что ей обижаться на них, она еще с их бабками хороходы водила, да заборы забирала для их рубках, когда они приданое себе ладили.

Давно это было. И уж не вспомнить, как она к венцу шла, как на две войны хозяина своего провожала, а на третью-то и сынов своих, да без воротнища. Под самой Охтой столб стоит каменный, и все мужики из Багул, и сыны ее, там записаны.

Короток зимний день. Поскрипывают тоненько лыжи, и всё лиловеет, лиловеет снежное поле, упираясь концом недалним в темную околицу Багул.

Деревня Денин Угол, 1969

* * *

Улица – оборотень.

То взорвется набатным колоколом

И звоном давно отъездившей конки,

То голосом робким:

– Подайте на Храм Божий, –

Это идут калики перехожие.

И плывет улица сквозь туманы мороза,

И солнце выкатывает в алом пламени грозно.

Но еще впереди "наш последний",

И еще впереди сорок первый.

Плывет улица в тумане морозном

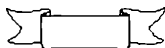
И враги гряхнут,

И восходят на место лобное,
И целуют плаху
То ли герои, то ли разбойники.

А улица – оборотень
Зовет, гудит
Набатным колоколом.

* * *

Казнили дерево.
Сразили наповал.
И в памяти стремительных прохожих
Сотрется образ кущи золотой
И снежной шапки, прислоненной к кроне.
Забудут дерево,
Как позабыли тех,
Кто дерево взлелеял и растил,
И, может быть, ему поверил тайны.
О, дерево, о, мой безмолвный друг,
Прости мне, что не ведала, не знала,
Не отвела казнящих рук...



Игорь ГЕРГЕНРЕДЕР

КОМБИНАЦИИ ПРОТИВ ХОДА ИСТОРИИ

Повесть

Апрельским утром 1918 в Кузнецк вошла вооруженная часть. Человек сто двадцать ехали верхом, примерно триста – на подводах. На передней – кумачовое знамя, белым по красному надпись: "Отряд Коммунистической Красной гвардии «Гроза»". А пониже: "Командующий Митрофан Пудовочкин".

В голове отряда ехал на бурой лошади богатырь. Фуражка набекрень; буйные белокурые кудри, светлая борода. Казакин перехвачен узким изукрашенным пояском, на нем кобура с пистолетом. За спиной – американская винтовка стволом вниз.

Всадник попридержал лошадь у колбасной Кумоваева, оглядывая витрину цельнолитого стекла. Спрыгнул на мостовую. Огромный бородач с добродушным приятным лицом; ему можно дать и тридцать пять, и за сорок; светлые глаза глядят с веселым любопытством.

Перед тем как войти в колбасную, он с улыбкой потрогал начищенные до сиянья медные дверные ручки. Распахнул двухстворчатые двери – в магазине мелодично прозвенело: за прилавком появился Григорий Архипович Кумоваев, надевающий белый фартук.

– Сделай пробы для меня! – сказал пришелец негромко, но властно.

Кумоваев не понял, а бородач не стал объяснять. Его люди с винтовками за плечом прошли в задние

комнаты лавки, принесли стул. Он сел посреди колбасной, широко расставив ноги. Люди сказали Кумоваеву, что он должен подать командиру лучшие колбасы.

– Подать? Но у меня не ресторан... – возразил Григорий Архипович.

– Во, во, сделай лучше ресторана!

И вот уже бородатый, действуя громадными ручищами и ножом, поедает колбасу с подноса.

– Арестованные враги в городе есть? – вдруг спросил он, не глядя на Кумоваева.

Тот сказал: – Вы мне? – не дождался ответа и сообщил, что врагов в городе нет. Арестован солдат Гужонков, пьющий горемыка. На фронте его контузило да еще и повредило в известном отношении, вернулся домой, а жена не захотела с ним жить, ушла. Он и спился. Когда советская власть подписала с Германией мир, стал кричать: "Обос...ли мое страданье! Серуны"! Вот и на днях орал публично: "Моя жена – б... И ваша советская власть – тоже б..." Председатель совдепа Юсин распорядился его арестовать.

Бородатый слушал с удовольствием, ел колбасу, улыбался. Сказал:

– Сунцов! Ну-ка – ко мне человека.

Парень с помятым лицом, черный чуб из-под фуражки, на груди – алый бант, кивнул двоим: – Со мной! – ушли. А бородач достал из кобуры пистолет, положил на табуретку рядом, шелкнул пальцами. Нашлась косынка, ею накрыли пистолет.

* * *

Тем временем отряд растекался по улицам, люди с красными бантами на груди, с кумачовыми повязками на рукавах входили в дома, располагались на постой.

Среди телег выделялась рессорная пролетка с откинутым верхом. В ней ехал немолодой человек в драповом полупальто с шалевым воротником, в каракулевом "пирожке". Увидев двухэтажный бревенчатый дом доктора Зверьянского, сказал красногвардейцу, что правил парой лошадей:

- Здесь!

На крыльцо вышел доктор. Человек в "пирожке" с усталым скучным видом поднимался по ступенькам: - Вы хозяин?

- Зверьянский Александр Романович! - произнес доктор. Чем обязан?

- Костарев, - назвалсЯ приезжий, - Валерий Геннадьевич.

Темные усики, бородка, пенсне без оправы. Крупный, с горбинкой, нос. Лицо пожилого, некогда красивого барина. Доктор смотрел хмурясь, что-то вспоминая: - Под Инзой было именье помещиков Костаревых... из о-очень небедных...

- Я комиссар красного отряда, - сухо прервал приезжий, - и выполняю поставленную нам задачу. Примем в Кузнецке пополнение, сколько позволит время, поучим молодежь. Затем, очевидно, будем направлены в Оренбургскую губернию против банд Дутова. Вы меня очень обяжете, Александр Романович, если поселите у себя.

И прошел в дом. Он выбрал комнату на втором этаже, которую доктор называл "бильярдной". Здесь было канапе и стояли стулья. Комиссар попросил вынести бильярд и вместо него поставить столик. Потом пожаловался на недомогание, попросил доктора осмотреть его.

Разделся. Среднего роста, сухощавый, хорошо сложен; видно, фигура в молодости была крепкой. Закончив осмотр, доктор произнес:

- Вы больны - сердце! Легкие, печень тоже неважные, но сердце - серьезнее. Надо устраниться

от всякой деятельности и – в уединенное спокойное место. Отдых! А через год посмотрим.

Комиссар застегнул рубашку, надел жилет. – Спасибо за рекомендацию, Александр Романович.

Доктор стоял перед ним – кряжистый, здоровый. Бритое тугощекое лицо, складка под мясистым подбородком, русые волосы зачесаны назад.

– Не поедете? Худо! Живем-то один раз. Боитесь, без вас новую жизнь не построят? Строителей, политических вождей нынче – как семечек...

– А если я, Валерий Костырев, – единственно необходимый?

Доктор хмыкнул, взырился на Костарева. Тот вдруг воодушевленно заговорил:

– Ход Истории! Оба слова – с большой буквы. Только я один могу его перенаправить! Для меня это так же очевидно, как то, что этот ореховый столик стоит на четырех ножках.

– Столик – дубовый, – заметил Зверянский.

– Вероятно! Вопрос в другом. Вы увидели, что я – душевнобольной? Это в ваших глазах написано! Так зачем же мне, сумасшедшему, лечить сердце? Надо радоваться, что конец близок, надо приветствовать...

– Дружочек! – доктор схватил Костарева за дрожащие руки. – Вы абсолютно здоровы! Выкиньте всё из головы, верьте мне – слово чести!

Костарев вдруг расхохотался. – Ах, доктор, вы же честный человек! И ради меня – а?... Попрошу – и ведь поклянетесь, а? Махровый вы добряк. Отъявленно мягкосердечный!.. А теперь, позвольте, прилягу. – Он лег на канапе.

Доктор вышел из комнаты. В кабинете его ждали жена, сын Юрий, гимназист. Они сообщили, что в доме поселились еще семь красногвардейцев. Зверянский кивнул. Нервно запустил пятерню в густые волосы, прошептал:

– А наш постоялец – трагедию, дантов ад носит в себе...

Контуженного солдата Гужонкова привели в колбасную. Одну ногу он приволакивает, голова, несколько пригнутая к правому плечу, вздрагивает. На нем засаленный зипун с ключьями на локтях. Обут в лапти.

— Колбаской подкормить желаете? — крикнул куражливо. Увидел огромного бородача. Стул, на котором тот сидел, казался детским, шевельнись гигант — рассыплется.

— Какое богатейство! — воскликнул Гужонков. — Моей бы жене такого... — визгливо хохотнул.

Пудовочкин рассмеялся заразительно, как смеются счастливые дети. На табуретке рядом — пистолет, накрытый косынкой. На подносе впереди — нарезанная кусками колбаса.

— На — ешь! — он протянул Гужонкову большой кусок.

Солдат глядел, соображая. Понял: с ним играют. Взял колбасу — тут же уронил на пол. Вскрикнул, привычно ломаясь: — О-ох! Рученьки не держат!

— А мы повторим, — благодушно сказал Пудовочкин.

И вновь колбасный обрезок на полу. Гужонков причитает плаксиво:

— Беда мне с моим калечеством! Кто уплотит за меня?

— Ешь, — Пудовочкин как ни в чем не бывало протягивает третий кусок.

Солдат поднес колбасу к носу: видимо, хотел еще поломаться, но не вытерпел — уж больно соблазнительный дух бьет в ноздри! Голод сказался. Стал жадно есть. Лавка полна красногвардейцев; молчат, с любопытством смотрят.

— Бери, бери — закусывай, — улыбочиво говорит Пудовочкин.

Гужонков хватает с подноса куски колбасы, торопливо жует, с усилием глотает непрожеванное.

Пригнутая к плечу голова вздрагивает, весь он трясется.

- Советскую власть лаешь? - спросил Пудовочкин.

Контуженный с неохотой прервал еду. Буркнул:

- Ругаю.

- За чего?

- За германский мир. За посрамление России!

Красногвардеец Сунцов хихикнул: - Артист!

Пудовочкин с удовольствием глядел на калеку.

- А чего тебе Россия? Ей до тебя, чай, и дела нет.

Гужонков всмотрелся в него, глаза вдруг налились кровью, он затрясся еще сильнее, притопнул здоровой ногой.

- Как это - дела нет? Я за нее принял мое страдание и желаю принять и мою долю славы! Победы Россия германца - у нее слава! И я могу всякому сказать, что не бросовый я человек, а я человек от славы России.

- Ты погляди! - восхищенно воскликнул Сунцов. Кругом смеялись.

- А ты нахал, - мягко высказал Пудовочкин калеке. - Так и надо. Мы все нахальные. Ешь досыта!

Стоял хохот, но без злобы. Солдат потоптался и опять за колбасу. Вдруг увидел направленный на него пистолет. Десятизарядный "манлихер" в ручище гиганта представлялся дамским оружием.

- Убьешь? - спросил Гужонков с набитым ртом.

- Необязательно. Я нахальных уважаю. Назови кого-любого врага заместо себя, вон хоть колбасника, мы ему - аминь, а тебя возьму в мой штаб.

Стоявший солдат подергивался, а лапища богатыря с пистолетом была недвижна, глаза веселы.

- В штаб?

- Ага! Ты человек военный. Нахальный. Будешь не бросовый, а от нашей славы человек, от ба-а-льшой славы...

Солдат подался к сидящему: - Серун! - выбро-

сил руку ему в лицо. Кулак слегка коснулся его носа. Пудовочкин неожиданно тонко взвизгнул, прыжком взлетел на ноги, отпрыгнул назад, крича:

А-ааа! – стреляя в Гужонкова.

Солдата бросило навзничь, пули опять и опять пронзали его бьющееся тело. Бородатый, пятясь, разряжал в него "манлихер".

– Он меня докоснулся!

Пудовочкин на цыпочках обходил лежащего. Огромная фигура двигалась с поразительной легкостью. То, что такая громадина переступает на носках, пригибается – словно крадется – выглядело бы смешным, если бы не подплывающий кровью человек на полу. Косясь на него, бородач боком вышел из колбасной, озираясь, двинулся по улице...

* * *

На Ивановской площади увидел ресторан "Поречье", указал пальцем на его окна.

– Если сию минуту кто там пьет – в распыл! Хозяина на беседу!

Вскочил на лошадь, велел узнать, где совдеп.

В ресторане обедали два хорошо одетых господина. Хозяин шорной мастерской Адамишин и председатель кооператива кожевников Ламзутов. Обмывали какую-то сделку. Продажа водки с начала германской войны была запрещена, но перед ними стоял графинчик "самодельненькой".

Люди с кумачовыми повязками на рукавах подошли к столику. Сунцов схватил графинчик за горлышко, поднес к ноздрям, со значительным видом понюхал, кашлянул. Запрокинув голову, влил в разинутый рот немалую порцию.

– Не из болотца, не из колодца! На месте взяты, артисты!

Ламзутов привстал со стула: – А кем вы уполномочены, товарищ?

- Мы при цирке, а вы - артисты, - ответил Сунцов. Айда на выход!

- Присядьте с нами, товарищ, - попросил Адамишин, - договоримся как мужчины.

Сунцов теребил свисающий из-под фуражки чуб, присунул помятую физиономию к Адамишину: - Деньги и что еще при себе - покажь!

Тот вынул бумажник. Через миг два приятеля лишились бумажников, карманных часов, обручальных колец и носовых платков.

- А теперь - ножками! - сказал Сунцов. - Арена ждет!

- И пойду! - рассердился Ламзутов. - Веди к начальнику. Я сам участник советской власти, сколько я помогал... Я с пятнадцатого года - в отношениях с большевиками...

Вышли из ресторана. Приятелей подтолкнули к стенке. Красногвардейцы подняли винтовки.

- Да вы что-о-оо? - зрачки у Ламзутова расширились, руки он почему-то отбросил назад. - Кто велел? Ка-ак?

Адамишин кинулся вдоль стены, низко пригнувшись, прикрывая голову руками. Хлестнули выстрелы. Он ударился плечом о стенку, упал ничком. Тело сотрясилось толчками - трое били в него из винтовок почти в упор.

Ламзутов ойкнул, зажал руками глаза, стал поворачиваться спиной к винтовкам - и они загрохотали.

На Ивановскую площадь сбегался народ. Сунцов поднялся на крыльцо ресторана, помахал фуражкой.

- Вот эти, - показал на убитых, - нарушали и занимались разложением! Так же и вы - кто про кого знает, прошу мне шептать! Ответно не обидим.

Совдеп находился около городского сада в двухэтажном каменном доме. Раньше здесь помещались земский клуб и казино. Председатель совдепа Михаил Юсин, бывший бухгалтер городской больницы, побывал на германском фронте, имел чин прапорщика. Вернулся в Кузнецк большевиком.

В первые месяцы после Октябрьского переворота большевиков в Кузнецке было не больше десятка. Их власть не слишком замечалась. Обложили состоятельных граждан умеренной контрибуцией, за счет нее открыли бесплатную столовую для неимущих: полста обедов в день. По требованию ВЦИК, реквизировали на сахарном заводе вагон сахару для нужд Москвы. Но со станции вагон не ушел: проезжавшие с фронта солдаты разграбили сахар дочиста. То же случилось и с подсолнечным маслом. Юсин телеграфировал в Москву о невозможности обеспечивать грузоотправку. Вооруженной силы у него было шесть милиционеров. ЧК в Кузнецке еще не создали.

Смекнув, что для отряда красногвардейцев с него потребуют продовольствие, фураж, Юсин стал сетовать Пудовочкину на трудности: – Отовсюду сопротивление, товарищ, а чем я располагаю? От меня многого не жди.

– Я спасу тебя, Миша, – сказал Пудовочкин так, словно Юсин был его другом детства. – Мой отряд собран из бедноты деревень. Идем под пули казачьих дивизий и знаем, что возврата нам нет. Значит, я и трачу каждый мимоходный час на спасенье революции. Нас не станет, а у тебя, у местного народа память про наше доброе будет жить.

В кабинет вбежал член совдепа Лосицкий, шепнул Юсину, что публично убиты Ламзутов и Адамишин. Побледнев, Юсин объяснил Пудовочкину,

что, кроме пользы, совдеп от Ламзутова ничего не видел.

– Тем более, товарищ, – сказал Пудовочкин, – мы должны перекрыть эту недостачу. Подведем под аминь более широкий масштаб! – И потребовал дать ему список всех богатых и зажиточных кузнечан.

– Эх, снимаете вы мне голову... – тяжело вздохнул Юсин. – Кто отвечать будет?

Глаза бородатого просияли весельем.

– Не смеши, Миша. Ты – мной спасенный! Раскрой ширинку и в тряпочку... э-э, помалкивай!

* * *

Перед воротами купца Васкова волновалась толпа. Из дома донесся выстрел, теперь долетали женские крики. Дюжина красногвардейцев с винтовками в руках топталась у приоткрытых ворот. Здесь же стояла бурая лошадь Пудовочкина.

Он вышел из дома на крыльцо; фуражка набекрень, из-под нее буйно выбиваются белокурые кудри. Застегнул казакин на крючки, подтянул пояс, поправил винтовку за спиной. Легко пробежал к воротам, вскочил в седло. Помахал толпе рукой, весело крикнул:

– Поздравляю с громом "Грозы"! – рассмеялся. – "Гроза" – мой отряд! – И ускакал.

Красногвардейцы пошли в дом купца грабить. А люди узнали, что Пудовочкин изнасиловал дочку Ваксова, гиназистку пятнадцати лет, а защищавшего ее отца застрелил.

По городу начались реквизиции. Красные входили в дома, разбивали сундуки, забирали всё, что понравится. У купеческой вдовы Балычевой обнаружили полный сундук шелковых головных платков. Расхватали их, стали повязывать шею. Сунцов ходил с алым бантом на желтом полушубке, с самодельной красной звездой на фуражке и с ярко-

зеленым платком на шее. В доме девятистолетнего парализованного генерала Ледынцева увидел турецкое шомпольное ружье времен покорения Кавказа и расстрелял генеральского зятя – за хранение оружия. Зять сам был старик – учитель гимназии на покое.

* * *

Доктор Зверьянский громко постучал в дверь "бильярдной", услышал: "Войдите". Костарев, одетый, но накрывшийся пледом, приподнялся на канapé. Он спал – его разбудил стук.

– Уважаемый госпо... пардон! Гр-гражданин комиссар! Вы знаете, что творят в-в-ваши? – от голоса доктора зазвенели бокалы в шкафчике.

Костарев надел пенсне, спустил с канapé ноги, всунул в домашние туфли.

– Расстреливают? Мародерствуют? – сказал рассеянно.

Доктор судорожно сглотнул и почему-то зашел к сидящему сбоку, наклоняясь и рассматривая его в профиль.

– Знаете... и спите?

– И неплохо, между прочим, поспал.

Несколько секунд длилась тишина.

– У-уу! – доктор вдруг взревел, отшатнувшись, выбросив вперед руки – будто отталкиваясь от Костарева. – Ка-а-акой цинизм!

Он силился говорить, но горло перехватил спазм; доктор лишь беспорядочно двигал руками, сжимал и разжимал мощные кулаки. Полное лицо багрово, губы дергаются. Он выбежал и быстро вернулся; карман сюртука был оттопырен.

– Цини-и-изм... – выдохнул Зверьянский и запустил пятерню в зачесанные назад волосы.

Костарев сидел сгорбившись; уперев локти в колени, поддерживая голову ладонями, смотрел в

пол, словно занятый чем-то своим, не имеющим отношения к доктору.

– Потерявшие человеческий облик... мерзавцы... – говорил тот задыхаясь, – льют невинную кровь... а цинизм их начальника неопровержимо доказывает, что они з-звер-рствуют с его ведома и... поощряемы им... Прошу возражать! – прервал сам себя доктор.

Костарев не шелохнулся.

– Ах, неудобно? В таком случае... в отмщение за безвинные жертвы... я казню!.. – Зверьянский выхватил из кармана револьвер.

Сидящий взглянул сквозь пенсне.

– Вы – трус!

– Ка-ак? – доктор прицеливался ему в грудь.

– Трус!

– Я... – доктор помахивал револьвером, словно собираясь не стрелять, а ударить.

– Вы, Александр Романович.

– Но позвольте... за вашу смерть меня убьют, мою семью истребят...

– Правильно! Вы этим рисуетесь, вы себе интересны. Извольте не перебивать! Вы же знаете, кто действительно командует убийцами, вам наверняка сказали...

– Чудовище саженого роста, Голиаф...

– Вот видите! – Костарев прислонился к спинке канапе, вытянул ноги. – Но вместо того, чтобы проникнуть к виновнику и пустить пулю в него, вы выбираете самое легкое. Кидаетесь на того, кто сам отдался в ваши руки.

– И тем не менее... – проговорил взвинченно, – вы тоже виновник проливаемой крови!

– Это мы исправим! – Костарев встал с канапе. – Александр Романович, будьте добры... там, внизу, мой ординарец Голев. Передайте ему, что я велю запрягать.

Когда пролетка с комиссаром отъехала от дома, доктор вбежал в комнату к жене, сыну и двум дочерям.

— О! Этот человек сейчас примет свои меры... Он знает, как поступить со сволочью! Самым сур-ровейшим образом!

* * *

Костарев возвратился через два часа, поднялся к себе наверх. Зверьянский, вытерпев пять минут, постучался к нему.

— Валерий Геннадьевич, я извиняюсь... положен конец? Как вы наказали?

Костарев полулежал на канаве.

— Я ездил за город, — сказал он. Мы ехали проселком, пока не попали на водяную мельницу. Повернули в лес. Потом — назад. Дороги, доложу я вам, не для прогулок.

— Прогу...? — доктор, казалось, почувствовал, что из его рта выходит яйцо. Растерянность, оцепенение, ужас; рот не может закрыться. Он вглядывался в говорившего, наклоняясь к нему. Присел на корточки, сдавил руками виски.

— Ничего более чудовищного... я отродясь... ни в каком кошмарном сне...

— Я, кажется, уведомил вас, — неожиданно зло произнес Костарев, — что я — сумасшедший? Не перебивать! У меня, как вам должно быть известно, тоже имеется револьвер. Сейчас я на ваших глазах выстрелю себе в рот! Не верите?

Он вскочил с канаве, ринулся к креслу, рванул из-под него саквояж.

— Остановитесь! — прохрипел доктор. — Вы с ума сош... пardon...

Костарев раскрыл саквояж — Зверьянский устремился к нему. Костарев повелительно поднял руку: — Прочь!

- Придите в себя, Валерий Геннадьевич... - умоляюще прошептал Зверянский.

Костарев значительно глядел на него сквозь пенсне. Затем вынул из саквояжа бутылку, взял из шкафчика бокал, налил.

- Вам нельзя пить ни капли, - пробормотал доктор.

- Вы находите? - его собеседник усмехнулся. - Даже если через три минуты меня не будет? - Он выпил.

- Это дом умалиш... пардон, это какой-то публичный дом! - вырвалось у Зверянского. - Идиотство... Наплевать! Я знаю, что делать. - Он пошел к двери.

- Вернитесь! - приказал Костарев, беря стул и садясь за столик. - Спешите пальнуть в Пудовочкина? Наивно! Он осторожный, опытный зверь, добраться до него трудненько. В случае же неудачи он убьет не только вас и вашу семью. Прикончит сто невинных. Я его знаю.

- Сто человек? - на багровом лице блестел пот, доктор изнемог от потрясений.

- Возьмите себе стакан и садитесь! - не терпящим возражения тоном сказал Костарев. - Это разбавленный спирт.

* * *

Доктор стоял вполоборота к Костареву, заложив руки за спину.

- Я хочу вам объяснить вероятные комбинации, - произнес Костарев мягче, - присядьте, пожалуйста, Александр Романович.

Тот сел за столик. Сухощавый человек в пенсне стал говорить... Между тем, уже была ночь. Доктор зажег свечу в подсвечнике. Тихий голос собеседника не умолкал. Зверянский внимательно слушал...

Красные отряды, говорил человек с темной не-

густой бородкой, создаются повсеместно, и все они творят то, что сегодня было в Кузнецке. Их действия поощряет большевистская верхушка. Почему? Потому что большевистские вожди владеют историческим диагнозом. В России создалось критическое напряжение кровяных жил, нервов, и коммунистический ЦК вызывает у страны припадок падучей с обильным кровотечением. Перебесятся, ослабнут, утихнут. А там еще разок – судорогу пострашнее. И так далее.

– Спасибо, утешили, – сказал Зверьянский.

– Давайте выпьем, доктор.

Они отхлебнули из бокалов.

– Вопрос в том, – сказал Костарев, – как вырвать больного из рук красных и исцелить его!

– Пардон, а вы сами разве не красный?

– Я – черный, – заявил Костарев. – Ход Истории – я поднялся настолько, чтобы играть против него. И потому я – сумасшедший. С большой буквы. И когда вы сообщили мне об убийствах, я поехал на прогулку. настолько я поднялся. Иначе играть нельзя. Вы понимаете смысл?

* * *

Глубокая ночь. Доктор вставил в подсвечник очередную свечу. Бутылка на столике почти пуста.

– Отряд "Гроза", – рассказывает Костарев, – формировался в Рузаевке, в Саранске. Я там был. Это родные места Пудовочкина. Я получил о нем все нужные сведения...

Пудовочкин Митрофан Савватеевич происходит из семьи крестьян-старообрядцев. Отец был крепким середняком. В сорок лет вдруг принялся разбойничать, убивать; умер на каторге. Митрофану в это время было семнадцать. Вскоре он примкнул к шайке грабителей. Два его брата, три сестры, мать остались очень религиозными трудолюбивыми крестьянами.

Двадцати пяти лет Пудовочкин стал главарем шайки. Прежнего главара застрелил при дележе добычи. Шайка оперировала в Саранске, Пензе, в Симбирске, проявляя изощренную жестокость. Грабили как-то помещичье имение близ села Сенгилей. Большинство бандитов заспорили с главарем из-за добычи. А что главарь? Предложил отвлечься – убить всех живущих в имении, – а затем вернуться к спору. Несчастных оказалось девять, включая троих детей. Всех поочередно уводили в кухню и там убивали топором... То ли бандиты устали от этого, то ли Пудовочкин произвел на них такое впечатление, зверски орудуя топором, но почти все претензии отпали.

Шайка громила, жгла усадьбы, грабила городских толстосумов, не зная удержа. Пудовочкин был изворотлив, но попадался дважды. После первой поимки бежал из тюрьмы, после второй – его выпустила Февральская революция. Летом семнадцатого на воровской малине в Рузаевке он перестрелял шестерых членов своей старой шайки: вероятно, свел счеты за давний спор. Объявил себя коммунистом, создал "группу идейных экспроприаторов". Они продолжали терроризировать помещиков, но уже – служа идее. После Октябрьского переворота новая власть назначила Пудовочкина начальником красной саранской милиции, а затем поручила сформировать красногвардейский отряд.

– Такова карьера этого экземпляра, – подытожил Костарев. – Рассмотрим его подробнее. Он далеко не туп. У попа-старообрядца выучился грамоте, пишет почти без ошибок. Иногда любит почитывать...

– Слушайте, – прорычал доктор, – зачем мне нужно что-то еще знать об этой скверной бешеной скотине?!

– Затем, что он – проходная фигура в комбинации!

- В какой комбинации?
- Против Хода Истории.

* * *

Пудовочкин выбрал для себя дом владельца сахарного завода Ерисанова. Одноэтажное каменное длинное здание фасадом на рынок. За домом – большой двор с каретным сараем, с баней.

От рынка – пять минут ходьбы до ресторана "Поречье". Его хозяину Гусельникову было приказано "сервировать закуску с ягненком". Если "не удовлетворишь", сказали Гусельникову, то тебя ждет приговор за торговлю самогонкой...

Утром Пудовочкин с тремя подручными направлялся в ресторан; прохожие жались к заборам, взирали на светлобородого кудрявого гиганта, идущего с легким наклоном вперед, невесомо, как кошка. Некоторые сдергивали шапки.

Он насыщался больше часа, остался доволен. Когда возвращался в дом Ерисанова – стегнул выстрел: возле головы просвистела пуля. Он молниеносно оглянулся на звук выстрела: шагах в двухстах, за невысоким забором отбегал в глубь двора подросток. Охрана бросилась ловить, но тот успел скрыться.

Во дворе, откуда стреляли, стояла лачуга, в которой обычно ночевали крестьяне победнее, пригонявшие на рынок скот. В это утро здесь никого не было. Не с кого спросить...

По раскатистому хлопку выстрела Пудовочкин определил берданку. Это подтвердила и найденная пуля: она глубоко увязла в саманной стене сарая.

Пудовочкин навестил в совдепе Юсина: – Кто у тебя есть из большевиков – заядлый охотник? – Юсин позвал начальника почты Шемышеева. Пудовочкин спросил: ходил ли тот с кузнечанами на волков? Ходил и много раз. А на медведей? Быва-

ло! Их уже не осталось в уезде. Больше всего, мол, ходим на зайцев.

– И у кого есть берданки?

– Берданки? – Шемышеев перечислил. А теперь, попросил Пудовочкин, назови, у кого из этих берданочников имеются сыновья эдак от тринадцати до двадцати? Охотник стал называть фамилии, загибая пальцы: нет, нет, нет...

– Семенов, пчеловод. Тоже нет сына, одни дочери... Внук есть.

– Внук? Сколько лет?

– Примерно пятнадцати – Мишка. В реальном училище учился, бросил. Известный драчун.

Пудовочкин взглянул на Синцова: – Этого Мишу ко мне!

Миша Семенов увидал в окно пятерых конных, подъезжавших к воротам, – всё понял. Выпрыгнул в окошко на задний двор, там полно кур – подняли переполох. Сунцов услышал, поскакал вокруг дома, увидел, как Миша перемахнул через плетень. Заулюлюкал, хлестнул лошадь. Она взяла барьер. Семенов убежал огородами к Песчаному ручью. Сунцов настиг:

– Стопчу зайца!

У ручья высокие обрывистые берега. Миша перебежал через него по бревну. Конник не стал искать брод – убил Семенова из винтовки в спину, со второго выстрела.

* * *

Утром Костарев уговорил доктора проехаться; правил лошадьё сам. Выехали за город. Валерий Геннадьевич остановил пролетку на проселочной дороге. Слева – овраг, в нем еще белеет снег. Справа – пастбище, на нем только-только зазеленела трава; за пастбищем – лес. Десятка два коров щиплют траву, из леса несутся птичьи голоса. Стоит облачный теплый день.

– Посмотрите, какая гармония в природе! – сказал Костарев. – И видите быка? Косится на нас. Наверняка хотел бы побаловать, но видит – мы не по нему. А бреди здесь старушка? Проходи семилетний мальчик? Каким чудовищем предстал бы этот спокойный бык! Заласкай он жертву рогами до смерти – думаете, хозяин зарезал бы его? Конечно, нет. Племенной бык для него – целое состояние. Может, он один на всю деревню.

– Но старушка, мальчик – это же люди! – доктор сделал ударение на последнем слове.

– И однако же прав хозяин быка, – проговорил Костарев. – С этим согласится вся деревня. Вся крестьянская Россия! Жертву не оживишь, а бык нужен, чтобы рождались телята, чтобы коровы давали молоко: чтобы поддерживалась жизнь деревни. Таким же образом и бык Пудовочкин нужен, чтобы жизнь России вернулась к гармонии. Вы возрадите, что Пудовочкин наделен сознанием и ответствен за свои поступки. На это я вам скажу: убейте его – но всё равно без быков, имеющих обыкновение беситься, мы не обойдемся! Когда я слышу, что народный вождь должен быть честен, что им должен быть порядочный интеллигент, на меня нападает неудержимое чиханье. Все, кто поднимутся спасти Россию от красных, не будучи сами чудовищами в достаточной мере, – обречены!

– Но почему? – вскричал Зверянский.

– Потому что ряд несообразностей повлиял на Ход Истории, и он завел Россию в кровавое болото. Чем дальше, тем больше и больше крови, неслыханных бедствий, разврата, смертной тоски. Туда ведет большевистская идея. Свернуть вправо, влево – тоже кровь и химеры. Но скоро можно будет выбраться на сухое место. И тогда – всё исправлено; гармония – когда душа радуется, а глаз наслаждается красотой! Однако заворотить Россию сможет лишь редкого бешенства бык.

– Откуда в вас столько ужасного, Валерий Геннадьевич? – не вынес доктор. – Такой цинизм? Такая рассудочная кровавость?

– О себе я расскажу в другой раз. А сейчас я хочу, чтобы вы поняли смысл, – с нажимом продолжил Костарев. – Я произнес слово "несообразности". И вот вам главная. Испанцы, англичане, французы имели периоды исторического возбуждения, когда они устремлялись за моря, захватывали и осваивали огромные пространства, не соизмеримые с величиной их собственных стран. Грандиозные силы возбуждения избывались.

Русский народ таит в себе подобных сил поболее, чем указанные народы. Русские с кремневыми ружьями прошли Аляску, поставили свои форты там, где теперь находится Сан-Франциско. Но дальше подстерегала несообразность. За титанами России не потянулся народ, как потянулись испанцы за своими Писарро и Кортесом. Крепостничество, сонное состояние властей, сам косный, замкнутый характер чиновничьей империи не дали развиваться движению. Гигантские силы стали копиться под спудом. С ними копилась и особенная непобедимая ненависть народа к господам, к царящему порядку – ненависть, чувство мести, мука – от того неосознанного факта, что великому народу не дали пойти достойным его величайшим путем.

Между прочим, это смутно чувствует и российская интеллигенция, которая так любит говорить о великом пути России – не понимая, что смотреть надо не вперед, а назад: в эпоху, когда возможность такого пути упустили правители...

Пётр Столыпин был умницей наипервейшим, он лучше всех понимал всё то, о чем я веду речь. Его хлопоты о переселении крестьян в Сибирь – это попытка исполнить, пусть в крайне малом масштабе, но всё-таки исполнить те задачи, на которые

предназначалась титаническая энергия России. Попытка дать выход накопленным силам возбуждения... Но Столыпина не стало. А большевики – для выпуска энергии – указали народу другой, в известном смысле тоже грандиозный путь...

* * *

Пудовочкин сидел в кресле в гостиной сахарозаводчика, ел из ушата моченые яблоки. Вошел Сунцов, доложил, что стрелявший наказан, обрисовал происшедшее.

– А это... – Пудовочкин откусил поляблока, – родичи?

– Отпеты! – Сунцов махнул ладонями вниз. Пояснил: все, кто был в доме Семеновых – старик-пчеловод, обе его дочери, зять и работник – расстреляны.

– Надо вот чего, – сказал Пудовочкин, выплевывая сердцевину, – объяви на публику, что парнишка был не один, а было их двое. Второй – одинаковый с ним по росту. Сыми с парнишки обувку, пинжачок и дуй по домам: всем парням примеряй. Кому будет подходяще, собирай их на рынок. Если кто из родных хоть слово вякнет – аминь на месте!

Скоро в городе стали раздаваться выстрелы. Пудовочкин вскочил на лошадь и возбужденно гонял ее по Москательной улице на Ивановскую площадь и обратно – на рыночную. Его ярило предстоящее. Бил лошадь плеткой – пускал вскачь, подымал на дыбы. Она храпела, роняла пену, глаза налились кровью.

Но вот Сунцов и группа конных пригнали десятых подростков. Пудовочкин подскакал к ним, наклонился с седла, заглядывал в лица, смеялся: – Павлинами надо быть, хвосты кверху, а вы вон чего – печальные!

– За что нас? – спросил Коля Студеникин, сын путевого обходчика.

– А чего ваш бздун в меня целил? – обиженно вскричал Пудовочкин. – А то вы с ним не одних мыслей!

– А если нет? – сказал Коля.

– Ну, знать, мне еще извиняться перед тобой! – бросил без злобы Пудовочкин. – Дурак ты, что ли?

Он указал плеткой на площадку, обнесенную изгородью; там обычно держали пригнанный на рынок скот; сейчас площадка пустовала. Приведенных загнали в нее.

Прибывал народ. Пудовочкин скакал взад-вперед по площади, беспокожно похаживал, повторял: "Ну, попали в меня, а?", "А вот я целенький!" и "Кому охота еще попробовать?". Люди молчали.

Он спрыгнул с лошади, неуловимым движением достал из-за спины винтовку. Огромный, в фуражке набекрень на белокурых кудрях, пошел к площадке, чуть клонясь вперед. Ноги несли богатырское туловище, точно воздушное. Десятизарядный "винчестер" выглядел детским ружьишкой в громадных ручищах.

Легко перемахнул через изгородь, что была по плечо человеку среднего роста. Ребята пятились от него, жались к городье. Пудовочкин встал к ним спиной. Перед площадкой сидел на лошади Сунцов. Поймал взгляд командира. Приподнялся на стремянах, повернулся к толпе:

– Все видят, товарищи и граждане? Вот так всегда будет делаться за разное нехорошее, да-а! – помахал рукой. – В пор-рядке рабоче-крестьянского наказания... алле-гоп – р-р-раз! – рубанул воздух ладонью. – Алле гоп – два!

Когда крикнул: "Три!" – Пудовочкин подпрыгнул, в прыжке развернулся к подросткам, упирая приклад в сгиб локтя, выстрелил. Колю Студени-

кина сорвало с ног, швырнуло оземь – будто ударило дубиной.

А ладонь Сунцова рубила воздух: – Алле-гоп – раз! – При выкрике "три!" – пленники упали на землю, но Пудовочкин не подпрыгнул. Он хохотал... Подпрыгнул при счете "шесть!". Выстрел убил Власа Новоуспенского, сына протодьякона. После этого прыжок и выстрел вновь последовали при счете "три!". Затем – при выкрике "пять!".

Расстреляны десять патронов; трое ребят еще вздрагивают на земле, крутятся, силятся вскочить. Кровь, стоны. Сунцов и его напарник с тупой физиономией, не слезая с седел, стали издали добивать раненых из винтовок. Смертельных попаданий нет, мученья длятся.

В это время пригнали еще группу: человек пятнадцать. Пудовочкин воздел громадные руки, винтовка в правой была, словно тростинка.

– Даю помиловку! – и брюзгливо добавил: – Спасибо не жду, поскольку люди суть скоты неблагодарные!

– Везуха, козлики! – заорал Сунцов, направляя лошадь на кучку ребят, те бросились бежать. А Пудовочкин вдруг подошел к плохо одетой старушке; опустив ручищу на ее сгорбленную спину, сказал:

– Как вижу – хватит с них, я им со всей душой – живите!

Наклонился, чмокнул старушку в губы, погладил по спине и пошел по площади, поправляя франтовато надетую фуражку; винтовка болталась за спиной.

* * *

Пролетка въехала на взгорок; с него хорошо виден Кузнецк. Блестят золоченые купола церквей, высится элеватор. Среди россыпи домиков выделяются здание вокзала, десятка полтора других двух- и трехэтажных зданий. Различим мост через

речку, что извилисто перерезает город, видны кладбище и темнеющий лесочек, под которым бежит Песчаный ручей.

- Какая во всем этом бесхитростность и мирная невзрачность, - проговорил Костарев, - а меж тем от земли исходят токи некоего взвинчивающего нетерпенья. Так и тянет хлестать стаканами спирт и ласкать вороненую машинку под названием "револьвер" Разве вы не чувствовали такого, Александр Романович?

"Он серьезно болен", - подумал доктор, не отвечая.

- А множество простого народа, - сказал Костырев, - давно уже чувствует это темное нетерпеливое напряжение. Поэтому в России столь болезненно-жадно пьют водку. Я нигде за границей не видел, чтобы так горячечно пили. А вам как врачу должно быть известно: спивается или стреляется человек, отлученный от единственно достойного его дела.

Русский народ был отлучен от свободного заселения просторов. Расширься Русь в свое время до глубин Нового Света, освой Аляску, пол-Канады, Запад Соединенных Штатов - сколько народу переместилось бы туда, сколько интеллигенции! Там, вдали от России старой, сколько было бы произведено революций и прочих социальных опытов, сколько титанической энергии избылось бы в них! И не трясли бы добрую старую Рассеюшку-мать лихорадка и истерика умов, не вызрело бы того неосознанного отчаянья обделенных, того бешенства, той алчности к земному, к небывало жирному и сладкому, что так умело эксплуатировали большевики.

- Вы на карту давно смотрели? - прервал Звянский. - Вернемся домой - взглянете. Эдаких-то просторов мало России?

— А вы что, — сдерживая ярость, сдавленно произнес Костарев, — измерили силу русских и приобрели право решать, чего с них достаточно? Почему Англия, уже имея Индию и Австралию, захватила еще и Новую Зеландию, не сказав "хватит"? Почему отняла Мальвинские острова у Аргентины? Почему, проглотив треть Африки, сцепилась с Францией из-за крохотного форта Фашода и, не спасуй французы, была готова вести с ними долгую кровопролитную войну? Почему сожрала и обе бургские республики?

Я могу привести десятки примеров, когда английское правительство, казалось бы, не могло уже не сказать "хватит", но не сказало. В свое время не говорило подобного и испанское правительство. И ряд других — тоже!..

"Я никогда не соглашусь с его рассуждениями, — думал доктор. — Однако же до чего он трогателен в своих заблуждениях! Какая любовь к России снедает его!"

— В детстве, в юности, — говорил Костарев, — меня изводила невзрачность российской провинции, ее душащая мертвой тоской недвижность, невозможность в ней каких-либо открытий, приключений, подвигов. Как манили меня Кордильеры, Соломоновы острова, горы и равнины Тибета! Как хотелось мне быть до мозга костей мексиканцем или не знающим страха сикхом. Не исключительно ли это русская черта, доктор: находить любимые национальные типы и отождествлять себя с ними?

* * *

— Помните, доктор, в момент нашего знакомства вы заговорили о "небедных", как вы выразились, помещиках Костаревых? Именье под Инзой, о котором вы упомянули, принадлежало моему дяде. Я вырос в другом — победнее. Позднее унаследовал и его, и дядино.

В юности я уехал за границу, путешествовал, поездил по Мексике, побывал в Аризоне, в Клондайке. Двадцати трех лет уплыл в Южную Африку и воевал волонтером на стороне буров против англичан. Когда армии бурских республик были разбиты, я еще два года участвовал в партизанских действиях буров. Казалось бы, лишений натерпелся вдоволь, головой рисковал достаточно. Однако же, как только возвратился в Россию, я почувствовал – переполнявшая меня энергия далеко не истрачена. Исходящие от этой земли токи нетерпения продолжали взвинчивать меня. Но теперь я устремился не за моря, а в революцию.

Я вступил в боевую организацию анархистов, участвовал в экспроприациях, в актах террора. И лишь в девятьсот седьмом году с меня оказалось довольно. Я понял: отнюдь не великая революция надобна народу... Продав унаследованные имения, я купил в глубине Финляндии полтораста десятин леса с прекрасным озером, занялся разведением коров и рыбной ловлей. Женился на простой финской девушке, она родила мне четверых детей. Выучил финский язык. Я был бы совсем счастлив, доктор, если бы не думал о том, куда Ход Истории влечет Россию...

Ход Истории еще не поздно обмануть, направив колоссальную, не истраченную вовремя энергию не на самое себя, а на Восток.

– Далась же вам география! – в сердцах воскликнул Зверянский.

– Ах, Александр Романович, – усмехнулся Костарев, – будь по-моему, Пудовочкин и тьмы ему подобных разбойничали бы сейчас в пустыне Такла-Макан, а в вашем тихом Кузнецке некому было бы бесчинствовать. Но и теперь еще можно всё исправить. Именно для этого я год назад приехал из Финляндии, вступил в партию большевиков, сделался комиссаром красного отряда.

Если мой план удастся, мы бросим против большевистской идеи земного рая в будущем идею рая близкого: до которого лишь несколько недель пути. Наши листовки, газеты, брошюры станут лгать о невиданном изобилии в Корее, в Монголии, на Тибете. Мы мобилизуем всех художников, и они будут малевать картинки мужицкого счастья в тех краях. Мы сделаем упряжной лошадкой давнюю мечту русских мужиков о волшебной стране Беловодье. Не зря ее искали на Алтае. А мы направим народ дальше: в Непал, в Лхасу, в Сикким!

Неверящих станем принуждать к движению жесткой революционной властью. Тех, кто агитирует против, будем расстреливать как шпионов, пособников государств, которые сами хотят заглотнуть райские просторы...

"Что значит - болезнь, - думал доктор, - куда занесло! Но сколько красноречия, какое чувство!"

- Управитесь ли с расстрелами? - обронил он. Поди, всех неглупых придется... того...

- Это уж, - ответил Костарев, - заботы Пудовочкина.

* * *

В пяти верстах от Кузнецка, в имение помещика Осокина, собралось человек двадцать кузнечан. На крыше помещичьего дома и в перелеске неподалеку засели наблюдатели, чтобы предупредить о приближении опасности.

Вечерело. Гости сидели в гостиной. Говорил начальник станции Бесперстов:

- На станции Кротовка, господа, безобразничала кучка красных. Тех, кто имел огороды, связывали, били, заставляли говорить, где спрятаны деньги. Нескольких замордовали до смерти. Кассира, понимаете, расстреляли, за ним - буфетчика. Нако-

нец, население сговорилося: четверых заводил прикончили, остальных тридцать человек – под замок, в пустой пакгауз.

Послали делегатов в Самару, в совдеп: так, мол, и так, нет наших сил терпеть бандитизм... Явилась в Кротовку проверка. Арестованных выпустили, но из Кротовки удалили. Убитых красных признали "provokatorami". Кары никто не понес.

– Это пока не понес, – заметил помещик Осокин. – А в недалеком будущем? Желательно бы поглядеть.

– Говорю, что есть, – возразил Бесперстов, – о будущем не гадаю. Возле станции Липяги было, в селе того же названия. Пришел красный отряд – убили хозяина постоянного двора со всем семейством. И давай баб, девок бесчестить. Ежедневно и ежедневно, понимаете. До недорослей добрались. Ну, население – ходоков в Самару. Прибыл комиссар интеллигентного вида, с ним дюжины две солдат. Требуем у отряда выдать наиболее отъявленных, а отряд – ни в какую! В нем семьдесят с лишком штыков. Тогда комиссар мобилизовал население, и общими силами рассеяли негодяев, несколько попавших в руки были показательно расстреляны. Затем, правда, в Липяги пришла красная рабочая дружина. Священника расстреляли. Грабят. Но не насилуют!

– Облегчение... – вздохнул Осокин.

– Я не разбираю вопрос о сомнительности облегчения, – заявил Бесперстов, – я говорю мое мнение! Оно состоит в том, что, если мы истребим банду Пудовочкина, есть твердая надежда избежать многочисленных казней. Сам я, как зачинщик, готов ответить своей головой!

– Я и мой Олег объявляем о себе то же самое! – хозяин колбасной Кумоваев обнял сидящего рядом сына, поручика. – С первого часа, как у меня в магазине эта сволочь убила Гужонкова, меня всего

бьет. Кусок не идет в горло! Ведь это я бедолагу под смерть подвел! Назвал его палачу. Не понимал, что бедному угрожает...

— Очень хорошо, Григорий Архипович, — сказал Бесперстов, — что вы за самую решительную меру! Это многим будет в пример.

Слова начальника станции подхватили купец Атарщиков, бывший пристав Бутуйсов, приказчик галантерейного магазина Василий Уваровский — неперменный участник всех домашних спектаклей в городе, любимец дам. Затем заговорил капитан Толубинов, потерявший на германском фронте правую руку, она отнята по самое плечо; в теле сидят две пули. Капитан сообщил, что имел доверительную беседу с председателем совдепа Юсиним.

— Одно время на фронте мы с ним друзьями были. Он как большевик, господа, вы понимаете, о теперешних делах ничего определенного не сказал. Но дал понять... Если мы уничтожим отряд Пудовочкина, не тронув никого из наших местных большевиков, и тотчас заявим в Москву о нашей горячей преданности советской власти и тому подобное, он, Юсин, со своей стороны, подтвердит нашу правоту. И наверняка можно будет сказать, что карательных мер против города не последует. Комиссары — люди практические. Поймут — отряда не воскресить. Так зачем им раздувать, делать врагом целый город?

— Вполне справедливо! — поддержал бухгалтер хлеботорговой компании Билетов. — Юсин, господа, — большевик, но я ему, знаете, верю. Теперь, когда нам стала известна его позиция, думаю, все точки расставлены.

С ним, в общем, согласились.

— Следовательно, — предложил капитан Толубинов, — перейдем к военной стороне дела...

Зверянский со своим постояльцем вернулся домой. Доктор узнал от домашних о новых злодеяниях Пудовочкина: об убийстве на рыночной площади десятерых подростков. Застрелены их родные, посмеявшие требовать разъяснений, куда и зачем уводят ребят.

Доктор бегом поднялся в комнату постояльца:

– Валерий Геннадьевич, дорогой... за эти часы бесед мы как будто пришли к взаимопониманию, у нас одинаковые взгляды на некоторые святы вещи... Вы, скажу вам прямо, мне симпатичны! Я умоляю вас: немедленно употребите ваше влияние, приложите ваши недюжинные силы и остановите кровавую оргию!

Костарев прохаживался по комнате, с интересом поглядывал на Зверянского сквозь пенсне. Тот протягивал к нему крупные жилистые руки.

– Поеду-ка я к моему Пудовочкину, – помолчав, сказал Валерий Геннадьевич.

– Поезжайте, дружочек, скорее! Сделайте святое дело!

Доктор не лег спать, ждал возвращения постояльца. Тот приехал далеко за полночь. Тотчас Зверянский поспешил к нему, комнату озаряла свеча.

– Валерий Геннадьевич, умоляю, не терзайте! Варфоломеевская ночь остановлена?

Человек с бородкой утвердительно кивнул:

– Можете не волноваться. – Прилег на канapé. – Ну и полюбовался же я, Александр Романович, на это творение природы! Угодил к ужину. Товарищ Пудовочкин прибрал сковороду свиных отбивных, съел столько же жареной рыбы, горку пирожков с ливером, расстегаев с сомятиной, обильно сдабривая всё это настойками и винами из погребов сахарозаводчика. Напоследок съел дюжину пирожных, фунт конфет, выпил графин сладкой наливки.

- Чудесно, - проговорил Зверянский, - что вы сумели воздействовать на это прозорливое кровожадное чудовище!

- Вот вы как о нем! А он вас, между прочим, вспоминал, меня расспрашивал. Уважает врачей! Любит, чтобы его осматривали.

- Да я ему стрихнину дам! - сказал доктор.

- Ф-фу, что я слышу и от кого? - нервное породистое лицо Костарева исказила гримаса. - Вы же - отъявленный добряк, и вдруг эдакие заявления. А товарищ, между тем, прислал вам подарок. - Он встал с канапе, достал из саквояжа бутылку: - Ром, настоянный на рябине. Большая редкость нынче! И это не всё... - вышел на лестницу, кликнул ординарца.

Через несколько минут на столе появились жареные цыплята, белая булка, изюм, шоколад.

- От него - ни в коем случае! - замахал руками Зверянский. - И вы забыли, что сейчас пост же!

- О, как вы умиляете, доктор! Ваша душа заматерела в добродетели. Из таких прелестно-бесхитростных рыцарей получают отменные портильщики великих дел. Вас просто необходимо расстрелять! Если я не сделаю этого, вы можете погубить исключительную возможность сыграть против Хода Истории. С меня надо будет тогда содрать кожу с живого, вытягивать из меня жилы...

"Я усугубил его болезненное состояние, - подумал, злясь на себя, доктор. - До чего же он мучается! А ведь он только что постарался для людей". Зверянский попросил прощения у постояльца.

- Я вас не обижу, Валерий Геннадьевич, предложив чаю?

Позвал горничную. Приземистая большерукая Анфиса лет под тридцать внесла самовар, мрачно взглянула на постояльца, вышла, быстро и сильно

ступая. Доктор наполнил чашки чаем. Костарев молча налил рюмку рома, выпил.

– Не могу смотреть, как вы убиваете себя, – сказал Зверянский.

– Перестаньте раздражать! – желчно, грубо бросил Костарев. – Что такое: ваша заботливость обо мне? Чушь! Ее никак не должно быть. Если б вы вправду могли сочувствовать мне, то заботились бы о том, ради чего я в любой момент готов отдать и свою, и миллионы чужих жизней. Ничего дороже этого явления нет и не может быть, ибо это явление есть Россия!

* * *

”Понесла молодца лихая! – подумал доктор. – Но ведь искренен! Дай-ка подсажу болезного на его любимого конька...”

– Вот вы рассуждаете, – сказал он, – Сан-Франциско надо было в свое время колонизовать...

– Продолжать с него колонизацию, – поправил Костарев, – двигаться по материку дальше на восток: по просторам, где в те времена еще не было белых колонистов. Граница между русской и англоговорящей Северной Америкой пролегла бы с севера на юг через нынешний Денвер!

”Милый вы мой Александр Македонский”, – мысленно произнес доктор, у него щемило сердце.

– Дружочек, Аттила вы мой, – пробормотал он. – Откуда же сил было взять? Мы Кавказ полвека порожали...

– А вот Кавказ, Крым следовало оставить на сегодня! И без Польши, Литвы, Финляндии надо было обойтись. Не лезла же Англия присоединять Данию. Энергию нужно забрасывать подальше и туда, где свободнее. Нам бы не грызться с Турцией, а еще при Петре Первом – все силы в Северную Америку! Отменить крепостное право – мужики б и потекли. Мелкопоместное дворянство поразорялось

бы без рабочих рук и сами в Америку побежали б. И хорошо – ибо все главные нигилисты вышли из них. А так: мирная жизнь не для вас? На Восток! Вот вам просторы – дерзайте.

Кто не поедет, а по лесам станет шататься – вешать! Деревня в назначенный срок не стронулась с места – сжечь!

– Да вы прямо Нерон, – сказал Зверьянский.

– Нет. Всего лишь английский король Генрих Восьмой.

– Да-аа-с! – докор глядел на человека в пенсне, проливая чай и не замечая этого.

Костарев выпил рюмку, не притронулся к еде. Доктор страдальчески морщился.

– Вот вы толкуете – все силы туда. А отделись они потом от нас, как американцы от Англии?

– И пусть! – воскликнул Костарев. – Появилась бы большая страна – Русский Союз Губерний Америки. Все силы возбужденья, весь революционный элемент – там...

В правой руке Костарева – серебряная чайная ложка, он изящно взмахивает ею. Левой рукой водит в воздухе по горизонтали, показывает доктору два пальца:

– Сейчас вероятен ряд комбинаций. Первая – союз Пудовочкина с Дутовым против большевиков. В дальнейшем – действия по обстоятельствам... Или вторая вероятность: устранение Дутова и привлечение его сил к Пудовочкину. Отсечение от Центральной России Урала, Туркестана, Сибири.

Дальше опять же два предположительных хода. Первый: наступление на Москву для свержения большевиков. Но как поведет себя народ? Большевицскими лозунгами очарованы многие. Наступление может провалиться из-за противодействия плембса. Не лучше ли ход второй? Движение в Монголию, в Синьцзян, усиленная пропаганда и агита-

ция относительно земного рая там? Население станет перебегать от большевиков к нам, и тогда их власть останется лишь подтолкнуть.

– Вы верите... – пробормотал доктор, – что вам поверят?

– Если поверили лжи большевиков, то почему не поверят нашей? Но нужна ужасающая и тем самым обольстительная фигура вожака черни, фигура пресловутого Хама с большой буквы.

– Помнится, – сказал Зверьянский, – вы не так давно превозносили русский народ. А сейчас допускаете о нем такое...

– Лишь мудро влюбленный, – перебил Костарев, – я подчеркиваю слово "мудро"! – лишь мудро влюбленный не боится видеть все недостатки любимого и воздействовать на них к его же пользе, жертвуя собой!

– Вы потрясающе в своем заблуждении. – сказал доктор, – и... – он почесал тугую бритую щеку, – не понимаю... может, вы и Пудовочкина любите? Когда вы давеча поехали к нему, я подумал, как вам, должно быть, противно говорить с ним, но вы берете на себя эту тяжесть ради населения нашего города...

– Я не говорил с ним о вашем городе! – заявил Костарев. – Я говорил о городах Урумчи и Хотан, о пути в Тибет. Почему вы не поймете? Всё, что не сопоставляется с Ходом Истории, – пустяки для меня!

– Не говорили? – прошептал Зверьянский, приподымаясь из-за стола; его мясистая нижняя губа отвисла.

* * *

Утром доктора позвали к больному. "Больным" оказался начальник станции Бесперстов. Он сидел в спальне на кровати и держал на коленях грелку. У окна стоял капитан Толубинов; пустой правый

рукав гимнастерки был аккуратно заправлен под поясной ремень.

Зверянскому предложили участвовать в заговоре. Доктор тотчас согласился.

– Вот, казалось бы, не был человек на войне, на медведя с рогатиной не ходил, – кивая на доктора, обратился к капитану Бесперстов, – а в его смелости я был убежден! Как какая несправедливость, кто первый на защиту слабого? Доктор Зверянский.

– Может, это не столько смелость, – скромно заметил доктор, – а запальчивость. Я по моему сыну Юрию замечаю: что-то его возмутит – как спичка вспыхивает!

– Сына придержите, чтобы не последовал примеру несчастного Семенова, – предупредил Бесперстов. – Пусть уж потерпит до общего выступления.

– Пришлите сына ко мне, – попросил капитан Толубинов. – Я ему разъясню...

Зверянский поблагодарил. Вскочив со стула, возбужденно заходил по комнате.

– Я сам, господа, едва терплю! О, первый, в кого я с радостью... я не боюсь это сказать – с радостью! – всажу пулю... мой постоялец комиссар! Вчера он позволил себе такое...

– Требовал денег? – спросил Бесперстов.

– Что ему деньги? Тут пострашнее. Тут – философия!

– Философия – это хорошо, – сказал капитан. Длиннолицый, он был гладко выбрит. Ростом чуть выше среднего. Умные глаза спокойно смотрят на доктора. – Плохое в другом, в том, что мы часто недооцениваем противника. Комиссары, они – дошлые. А вы – прямой человек. Заспорите с ним по философскому вопросу: ваша ненависть и прорвется. Он поймет в вас врага. А нам сейчас очень пригодилось бы ваше с ним přátельство. Ведь что сейчас самое страшное? Донос. В этом случае ко-

миссар мог бы проговориться вам, и мы успели бы изменить план, принять меры...

Доктор остановился, размышляя. Произнес веско, уважительно:

- Вы, безусловно, правы, господин капитан! Я с готовностью подчинюсь военной дисциплине. Всё, что в силах человека, будет исполнено!

* * *

На Шестом разъезде в будке путевого обходчика собралось руководство заговора. Выступили Бесперстов, купец Атарщиков, поручик Олег Кумоваев, другие. Дела обстояли так.

Мужчин, вполне способных владеть оружием, включая тех, кто побывал на фронте, насчитывается в городе примерно две тысячи. Около половины согласилось участвовать в деле.

Красногвардейцев насчитали четыреста двадцать. У них два станковых и три ручных пулемета. У многих, помимо винтовок, - револьверы, гранаты... А у кузнечан с оружием плохо.

Были собраны деньги. Верные машинисты, по поручению Бесперстова, закупают оружие в Пензе, в Самаре, на разных станциях. Привозят тайком, в тендерах паровозов.

Через Кузнецк проезжают солдаты, возвращающиеся с фронта, охотно продают оружие. Но капитан Толубинов настрого запретил покупать его на станции в Кузнецке, так как это наверняка стало бы известно красным.

Поручик Кумоваев сообщил: в настоящий момент у заговорщиков в наличии чуть более трехсот стволов. Из них винтовок - шестьдесят две, охотничьих ружей - сто три; остальное - револьверы. Еще пятьсот человек будут вооружены только ножами, топорами, заточенными лопатами.

- Надо доставать ружья, - сказал помещик Осокин, - выступать не раньше, чем через две недели.

Его поддержал бухгалтер Билетов: – Куда, господа, с револьверами против винтовок, пулеметов? Я не военный, но, знаете, этот-то понимаю.

– А между тем, господа, – спокойным рассудительным голосом сказал капитан Толубинов, – стоящая перед нами задача совершенно разрешима при наших возможностях. Разумеется, перевес красных в огневой мощи, в количестве и качестве вооружения значителен. Но мы не собираемся сражаться с ними в поле...

Он изложил план. Красногвардейцы расположились на постой в ста семи домах, в среднем по четверо в доме. Нужно выбрать момент, когда подавляющее большинство их будет находиться по квартирам. Возле каждой должна оказаться боевая группа в шесть-семь человек. Другие группы, некоторые числом до десяти боевиков, займут тактически важные пункты на площадях, перекрестках, на крышах домов, откуда открывается большое простреливаемое пространство. По общему сигналу, кузнечане бросятся истреблять красных.

– Ох, и деловая голова! – воскликнул купец Атарщиков. – Сразу видать героя войны! Приказывай, братец, веди нас: победим вчистую.

– Надо очень серьезно отнестись, господа, – сказал бывший пристав Бутуйсов, – к назначению руководителей групп. И спешить, спешить! Не хочу говорить о предательстве – ну, как ненароком сойдет у кого с языка? И побежал слух...

– Вполне может иметь место-с, – подтвердил Василий Уваровский.

– Готов хоть сегодня к восстанию! – заявил Григорий Архипович Кумоваев. – У меня двустволочка бельгийская: триста патронов к ней зарядил картечью.

– Лучшее время, – сказал капитан Толубинов, – Пасха! Через три дня.

Собравшиеся оживленно заговорили. В самом деле, никто не удивится, что спозаранок будет

много людей на улицах – идут в церкви. Самый удобный момент для начала действий: семь утра. Уже разойдутся по квартирам ночные патрули красных. Часовые, которых ставят на ночь на перекрестках и площадях, покинут посты. А до проверки, когда все красногвардейцы повыбегут из домов, останется еще полчаса.

– Сигнал – набат! – уведомил поручик Кумоваев. – А чтоб по ошибке своих не побить: все наши будут с непокрытыми головами.

– Этого маловато, – возразил купец Атарщиков, – в эдакую минуту и красным будет не до шапок.

– Хорошо, – сказал поручик, – мы еще рукава засучим по локоть!

* * *

Зверьянский одолел обиду на постояльца. В тот день, когда доктор побывал у Бесперстова, он предложил Валерию Геннадьевичу сыграть в преферанс.

– Вот уж увольте! – отказался Костарев. – Никогда не представлял себя в роли картежника.

Не привлек его и бильярд.

– А что, если бы в шахматы?

Шахматы – штука достойная, но – пояснил Костарев – требует слишком большого напряжения ума. А он не может позволить себе умственного отвлечения. Доктор кивнул: понятно – комбинации... Шашки, пожалуй, подошли бы – обронил постоялец – да и то: поддавки.

– Поддавки?

– Угу, – сказал Костарев, – в этом легкомыслие, а оно способствует поворотам мышления.

Они играли в поддавки, беседовали. Костарев рассуждал о том, что существование волшебной страны Беловодье надобно утверждать всей силой государства с решимостью необыкновенной... Он рассказывал, какие в скором времени проклама-

ции будут распространяться среди крестьян: "А хоть бы приди в ту страну с одним топором да в лаптях, через полгода ты в пятистенной избе в два яруса. Будешь в смазных сапогах при десяти конях. Коров опять же двадцать да овец сто голов. На обед у тя – щи с мясом, сало жареное, а на воскресный обед – гусь. А пироги с яйцами в той стране едят во всякое время как семечки".

Чем шире и глубже будет разоренье от диктатуры большевиков, тем охотнее двинется плебс. Движение в неизвестность – его излюбленное средство спастись от бедствий. Повторится поход Чингисхана, Батыея в обратном направлении. Революция будет согнана с мест, которые ей благоприятствуют, и загнана в грандиозной скачке, как исполинский зверь. Она падет и издохнет в пустыне Гоби!..

Костарев отдал доктору последнюю шашку и тем выиграл партию в поддавки.

* * *

Был вечер. Собеседники сидели при свече над шашками в комнате постояльца. Доктор еле сдерживался. Слушая планы Костарева, он болезненно напрягался, словно перенося физические страдания. Планы ужасали кровожадностью, но они были явно несбыточны. Так чего же страдать? К тому же, скоро всё должно кончиться. И несмотря на это – а скорее, именно поэтому – доктор страшно нервничал.

– А вы – живописец! – он, наконец, не вытерпел. – И воли себе дали вдоволь. А всего интереснее, что во всех этих деяниях наверху у вас будет Пудовочкин.

Костарев усмехнулся: – Пудовочкин или Пудовочкины будут лишь до тех пор, пока большевиков в крови не утопим. А дальше страну поведет пожизненный правитель – русский, представьте себе, венецианский дож!

- Понимаю ваш внутренний смех, доктор, - мрачно продолжал человек в пенсне. - Вы смакуете убийственный, как вам мнится, вопрос: не себя ли я вижу всемогущим дожем? Возможно, и себя! Но это лишь одна из вероятностей. Если я встречу более достойного, я сделаю всё, чтобы высший пост занял он!

- Позвольте спросить, благодаря чему он будет достоин такой жертвы?

- Благодаря тому, что соединит в себе Оливера Кромвеля и шведского короля Карла Двенадцатого!

- Ф-фу... - доктор поморщился, поднял руки к голове, будто у него стреляло в ухе. - Не много ли иностранщины? Помнится, кто-то был еще и Генрихом Восьмым...

- Ни один англичанин, - заявил Костарев, - уже не сможет стать Генрихом Восьмым или Кромвелем. Ни один швед - Карлом Двенадцатым. И только русский, если понадобится, будет и тем, и другим, и третьим! Неужели вы не видите по себе нашей широты, Александр Романович? Не ощущаете в себе Эсхила? Сократа? - в глазах Костарева - неподдельное изумление.

Зверянский нервно хохотнул, хотел пошутить и сам почувствовал, что вышло фальшиво: - Уж не взыщите с нас, темных... не ощущаю-с. - Сердясь на себя, сварливо спросил: - И на что же можно будет полюбоваться в... э-ээ... новой России, когда ваши планы, г-хм, исполнятся?

- Картина следующая. Малозаселенность. Строгое сохранение природы. Власть у крупных земельных собственников. Частные предприниматели и компании бурно развивают промышленность на Урале, в Сибири. Вербовка рабочих рук производится под контролем государства...

- Крупные собственники властвуют! - вскричал доктор. - И это провозглашаете вы - революционер.

- Бывший! - поправил Костарев. - Ярый якобы-

нец Фуше сделался герцогом Отрантским. Генерал революционной Франции Бернадотт – у него на груди была татуировка: "Смерть монархам!" – стал королем Швеции. Да и сам Наполеон в ранней молодости болел коммунизмом.

– Ага, наконец, и до Наполеона доехали, – сказав это, Зверьянский почти успокоился. "Болтовня! – подумал он. – И чего только я себя распаляю этим бредом?" Стал объяснять Костареву, что у него не программа, а крикливые фразы и нечто до ужаса нежизненное и реакционное. Я далек от политики, говорил он, однако же знаю: монархия отжила свое! Пора уничтожить и крупное землевладение. Не больше ста десятин на семью – и будьте здоровы! Мелких собственников поощрять. Ввести выборность снизу доверху. Дать народу всеобщую грамотность. Строить больницы, родильные дома...

– Программа для узенького трусоватого народца! – бросил Костарев. – Скажите еще о бесплатной похлебке для обездоленных, о мерах против пьянства... Ну подымите же глаза: кому вы всё это сулите? Русский народ – это Гомер с глазами и мечом Геракла! Он хотел бы каждый день создавать и разрушать Трою! И он уже загулял: вот суть тех фактов, что сегодня так возмущают вас. Неужели его теперь ублажат ваши жидкие постные блюда? Если его не погнать в нашествие, он, уничтожая сам себя, от скуки раздробит Земной Шар.

– Россия должна скакнуть, как отоспавшийся исполин, – с тихой одержимостью говорил Костарев. – Мгновенье – и Кяхта, Харбин, Пхеньян станут русскими городами. Казачьи станицы появятся в предгорьях Гималаев. Русские косоворотки будут носить на Цейлоне, на островах Фиджи...

У доктора задержались щеки. Он знал, что нельзя смеяться, и не мог подавить смеха. Слезы текли по выбритым полным щекам; вздрагивали,

кривились губы. Смех душил и сотрясал Зверянского.

Костарев замолчал. От его лица отхлынула кровь; стало казаться, что усы, бородка наклеены на мертвую кожу. Он встал из-за стола, подошел к шкафу, открыл дверцу. В шкафу висело полупальто. Он достал из его кармана револьвер, приблизился к сидящему за столом доктору.

– Сейчас в этой машинке произойдет вспышка пороха, газы выбросят маленький кусочек металла, который пронзит ваш мозг. Через миг всё кончится для вас, всё! Не мешайте мне: вы только причините себе излишние мученья... За год участия в революции я потерял здоровье. Вы, махровый благодетель, вашим издевательским скепсисом добиваете меня. К тому же, вы всё равно будете агитировать против прыжка на Восток: ваше устранение неминуемо. – Костарев держал револьвер с изящной уверенностью.

– Французская вещь: самовзводный "Лефаше", – зачем-то объяснил он. – Калибр невелик, но заряд достаточно сильный.

Смех отпустил доктора. Револьвер поднялся на уровень его лица. Доктор взглянул в бесовски-веселые глаза Костарева, в чернеющий зрачок дула. "А ведь убьет!" – потрясла мысль.

– Во время англо-бурской войны, – проговорил Костарев, распаляясь, – я вот так же, в упор, убил британского майора!

– Секунду, – тихо, не шевелясь, попросил Зверянский. – Семья всполошится: вам же лишнее беспокойство... Завтра утром поедem в лес, и там вы сделаете ваше дело. Даю слово: я никуда не скроюсь.

Человек с револьвером помолчал и нехотя кивнул.

* * *

Назавтра была Пасха. Кузнечане тщательно

подготовили выступление. Но когда в дело вовлечено столько людей, неудивительно, что побежал слух о предстоящем. Надо удивляться тому, что это произошло лишь в самый канун выступления.

Местная большевичка Ораушкина, кухарка бесплатной столовой, узнала о сигнале к бою за полчаса до него. Когда принесла весть Пудовочкину, оставалось тринадцать минут.

Тот глянул в окно на рыночную площадь: было по-праздничномулюдно. Он вмиг заметил среди народа нестарых людей с засученными рукавами и без шапок: не меньше десяти. Они топтались близко от дома, держали руки в карманах.

Пудовочкин бросился в другую комнату взглянуть во двор. Он был пуст. Напротив дома — каретный сарай и баня. В их стенах зияют щели, отсутствуют несколько досок. Ясно, что там затаились стрелки, держат под прицелом окна и выход во двор.

В доме с командиром были Сунцов, пятеро охранников, да часовой стоял у входа с площади. Часового укокошат в первый же момент. Пудовочкин приказал отозвать его в здание. Мелькнула мысль о заложниках. Когда он занял дом, хозяин-сахарозаводчик с семьей переехал в монастырь, где ему дали приют. Остались дальняя родственница-старуха, лакей и пожилая горничная. Теперь никого из них не оказалось. Да и вряд ли захват этих людей остановил бы нападавших...

Командир и охрана метались по зданию. Пудовочкин понимал: выйди он, его немедля возьмут в кольцо или тотчас начнут стрелять, не дожидаясь общего сигнала. Отойти от дома уже не дадут. Он сгреб Сунцова за грудки:

— Так чего, Серега, обожгутся они об нас?

Тот, бледный, вспотевший, ощерился: — Подгорят, как без масла!

Гигант отбросил его, точно вещь, шагнул в нужник, возвратился в коридор.

- Они думают, мы под их пули выбежим, а мы: нате вам....! Здесь станем отбиваться, пока отряд нас не выручит. Патронов, гранат, взрывчатки нам не занимать.

- А если перебьют отряд? - спросил Сунцов.

- Чего? Прямо весь город и навалится, ха-ха-ха! Куда им. Четыре из пяти, кто обещался в бой, под койкой будут сидеть, я ихнее нутро знаю. Оно, конечно: сразу-то много наших побьют тепленькими, но вскоре и скиснут. Начнут сами обороняться, другие вовсе побегут. - Пудовочкин говорил наставительно, с толковым выражением лица. Охранники жадно внимали, сжимая винтовки. Раньше никто не слышал от командира больше трех фраз подряд, а сейчас слова лились:

- Нас убивать досконально - на то нужен запал, какого нет у них. Мы - сила, мы - власть, а они - куриная публика. Так что волнуйтесь об одном: до завтра, до утра вам предстоит расстрелами заниматься, без передышку.

Красногвардейцы заушмылялись. Заняли позиции у запертых дверей, у окон, нацелили во двор ручной пулемет.

Пудовочкин опять зашел в нужник; это был просторный, с комфортом устроенный ватер-клозет. Единственное окошко, находясь в торцевой стене дома, глядело на узенькую улочку. В оконце не пролез бы и шестилетний ребенок; вряд ли его сейчас стерегли.

Пудовочкин вооружился пистолетом и винтовкой, набил карманы патронами, подвесил к поясу гранаты. Он мало верил в то, что сказал охране о "куриной публике". Мещане изменились за последнее время. Он знал случаи, когда они без чьей-либо помощи окружали и уничтожали бандитские шайки. Успокоив охрану, командир вовсе не собирался сидеть и отстреливаться в окруженном здании.

* * *

Он положил в оконце ватер-клозета десять фунтов динамита. В это время колокола ударили в набат. Из каретного сарая, из бани выскочили люди — оглушительно-резко застрочил ручной пулемет, загрохотали винтовки охраны.

Пудовочкин зажег фитиль, отпрянул в коридор, прыгнул в боковую комнату и лег на пол. Дом качнулся от взрыва. Гигант вновь рванулся в нужник: в клубы пыли, в едкий дым. Полстены разнесло. Он перемахнул через груды битого камня, вывалился в пролом. Минуту спустя уже мчался по улочке.

Когда преследователи выскочили на улочку, бегущему оставалось до угла три шага. Густо грянули ружейные выстрелы. Пудовочкин скрылся за углом. За ним бежали.

* * *

Заговорщики выделили против Пудовочкина семнадцать человек. Десятеро приблизились к дому с фасада, семеро проникли в каретный сарай и в баню. Среди них — Толубинов и Бесперстов.

Группой в десять человек командовал поручик Кумоваев. Он и его люди видели, как в дом прошла Ораушкина: поручик заподозрил худое. Но шума в доме не поднялось, а Ораушкина была молодая здоровая бабенка: так что ее ранний визит мог объясняться не стремлением предупредить о заговоре, а совсем иной причиной. Когда часовой покинул пост у крыльца, пришла уверенность, что Пудовочкин ни о чем не тревожится.

А капитан Толубинов смотрел на часы. С ударом колокола он вышел из укрытия и был на месте убит пулеметной очередью. Бесперстов успел отскочить назад в баню. С ним рядом прижался к полу Григорий Архипович Кумоваев. Еще двое залегли в сарае. От семи боевиков осталось четверо.

В этот миг землю тряхнуло, мощнейший раскат грома – у торца здания высоко взметнулся огненно-черный смерч. Столб желто-коричневого дыма крутился, толстел – и в несколько секунд растаял. Бесперстов решил, что вторая группа бросила в дом гранату. Приподнявшись, стал бить из маузера в окно, откуда только что строчил пулемет. В доме громыхнули два взрыва.

Дверь во двор распахнулась, выскочил один охранник, другой. Из сарая сухо затрещали револьверы, дулетом шарахнула двустволка Кумоваева. Красногвардейцы корчатся на земле в агонии. Из дома плывут клубы дыма. Бесперстов, его люди побежали через двор.

И тут, пошатываясь, вышел Сунцов. В желтом полушубке, на груди – красный бант, шея обмотана ярко-зеленым шелковым платком, черный разметавшийся чуб свесился на глаза. В руках – по револьверу, палит из обоих. Рядом с Бесперстовым кто-то упал.

Бесперстов нажал на спусковой крючок маузера. Сунцов повалился ничком, лоб стукнулся о землю. Приподнялось окровавленное лицо:

– А ежели не сдохну? – перевернулся на бок и, лежа, дважды выстрелил в Бесперстова.

Кумоваев стоял над Сунцовым, в которого разрядил двустволку. Руки Григория Архиповича тряслись. Из семи человек его группы он один был живой.

* * *

Когда ударили в набат, шестеро из десяти боевиков прижимались к фасаду дома: попасть в них из окон, не высываясь, было невозможно. Четверо других стали стрелять в окна из револьверов с расстояния сажени в три. Одновременно открыли огонь охранники. Один из них бросил гранату, бросил слишком далеко: она взорвалась

позади нападавших, убив проходившую женщину, ранив нескольких случайных людей. Были ранены и двое атакующих.

Грохнул взрыв в торце здания. Те, кто прикинули к фасаду, не растерялись. Швырнули в окна гранаты. Затем один, пригнувшись, упер руки в стену: другие стали вскакивать на него и прыгать в окно.

Первым был поручик Кумоваев. Он застрелил раненого охранника, схватил его винтовку. Бросившись в коридор, увидел зияющий дверной проем нужника, кучу щебня, брешь в стене. Еще не осознав, что это значит, подчиняясь инстинкту, метнулся в пролом. За ним кинулся Василий Уваровский — уже и он с винтовкой.

Очутившись на улочке, они заметили убежавшего Пудовочкина. Выстрелили по нему: поручик — с колена, Уваровский — стоя. Пудовочкин пропал за углом, они помчались следом.

Кругом в городе трещали, стегали, хлопали, раскатисто гремели выстрелы.

* * *

На Извозной улице, шагах в сорока от дома Зверьянского, стоял Федор Иванович Медоборов, бывший фронтовик, унтер-офицер, а ныне — пекарь. Он поставил себе задачу: добыть винтовку и, заняв позицию на перекрестке, стрелять в красногвардейцев, которые окажутся на улице. Федор Иванович презирал красных. Он вышел безоружным, не прихватив даже ножа. Утро выдалось солнечное, но не теплое. Однако Медоборов надел только пиджак.

К нему приближались трое красногвардейцев: очевидно, ночной патруль, с опозданием возвращающийся на квартиру. У двоих винтовки висели за спиной. Третий — низенький, пожилой, усатый — шел с очень сердитым важным видом. К винтовке примкнут штык, она висит у него на правом плече; красногвардеец придерживает ремень рукой.

Он задиристо посмотрел на Медоборова. Тот ослепительно улыбнулся, приложил два пальца к козырьку воображаемой фуражки. Низенький прошел мимо. Другой, что шел посередке, обернулся с усмешкой:

— К пустой голове руку не прилагают!

Грянул набат. Медоборов в два прыжка настиг усатого, сорвал с его плеча трехлинейку, двинул прикладом в лицо. Тот, что посередке, отшатнулся к забору, сбрасывая винтовку со спины. Медоборов мастерски выполнил прием штыкового боя. За годы службы скольких солдат обучил этому! Человек заворуженно смотрел на штык; сжимая правой рукой винтовку, пытался заслониться ею от острия, рот раскрылся. Острие еще не коснулось его, а он страшно, в болезненной гримасе, ахнул. Через мгновение штык прошел его насквозь, отчетливо стукнул в забор.

Третий красногвардеец побежал. А низенький, с разбитым лицом, с поднятыми руками, зажмурясь замер перед Медоборовым. Федор Иванович ткнул его штыком. Оттянул затвор, дослал патрон, прицелился в бегущего. Расстояние было шагов пятьдесят. Выстрел — голова беглеца брызнула радугой. Солнце пронизало взметнувшийся фонтанчик крови, частиц мозга. Бежавший с размаху упал так, что высоко подлетели ноги в хромовых сапогах. Ему снесло верх черепа.

Голубятник Ванька Щипцов наблюдал всё это с чердака. Долго мальчишки будут обсуждать короткую схватку, изображать Медоборова и трех красных.

* * *

Семеро красногвардейцев пили чай и закусывали в просторной кухне Зверьянских на первом этаже. Винтовки были составлены в угол. Стол, за которым сидели постояльцы, рассчитан человек на двадцать. Горничная Анфиса подавала вареные яй-

ца, горячую картошку, жареное сало с капустой. Жена и дочери доктора заперлись в комнате полу-подвала.

Сам доктор прогуливается в прихожей. Он при галстукe, рукава отутюженной рубашки закатаны по локоть. Вместо куртки на нем жилет из хорошо выделанной овчины. Зверьянский то и дело достает из кармашка брюк часы, щелкает мельхиоровой крышечкой. Наконец, он вышел в коридор и кашлянул. Из кухни выскочила Анфиса, молча пробежала мимо доктора на цыпочках. Минуту спустя зазвонили в церквях.

Доктор, встав в дверях кухни, палил из револьвера в сидевших за столом. Один повалился со стула сразу, второй успел вскочить и сделать шаг, перед тем как упасть. Другие рванулись кто к винтовкам, кто к окну. Зазвенели стекла: в окно ткнулся снаружи дробовик кучера Демидыча. Стегнул утиной дробью.

Один из красногвардейцев уже вскидывал винтовку, когда, отстранив отца, в кухню ворвался гимназист Юрий. Его лицо ужасало. Он увлекался самодельными адскими машинами, как-то одна взорвалась в его руках, страшно изуродовав лицо. Когда оно искажалось от гнева, Юрий и в самом деле становился похож на легендарного Джека Потрошителя. Так Юрия звали в гимназии.

Сейчас он бешено кричал: — А-ааа! — сжимая пятизарядный "смит-вессон". Хлестко хлопнули выстрелы — красный не успел прицелиться: его пуля расколола изразцовую плитку печи, рикошетом ударила в чугун с картошкой на столе.

Мелькали вспышки, пальба оглушала; еще дважды изрыгнуло пламя ружье Демидыча. Кухню наполнял плотный дым. Доктор и Юрий расстреляли барабаны револьверов. Демидыч вновь зарядил дробовик, влез в окно, тяжело спрыгнул на пол.

— Выйдите, Александр Романыч, вон этих добить надо...

Доктор, а за ним Юрий почти выбежали из кухни.

* * *

До того как бегущий Пудовочкин свернул за угол, одна из двух посланных вдогонку пуль достала его. Она скользнула по ребрам справа, пробив мягкие ткани под мышкой. Теперь движения правой руки причиняли острую боль, рука ослабла, онемела.

Пудовочкин был в Медном переулке. Вдоль него тянулись сплошные заборы, за которыми стояли добротные дома мещан, и во многих сейчас – командир это знал – убивали его людей. До ближайшего поворота – шагов сто. Он слышал за собой топот погони, понимал: пробежать эти сто шагов ему не дадут. Ожидая каждый миг пули, сделал то, что ему только и оставалось. Заметив слева забор пониже, перепрыгнул через него, понесся по огоро-ду.

Хлестнул выстрел, просвистела пуля. Он в поле зрения, его вот-вот уложат. За огородом – ветхая ограда кладбища. Пудовочкин с разбегу проломил ее. Падая вперед, скинул "винчестер" с плеча, перевернулся через голову и с земли выстрелил в догоняющих. Их двое, они – саженьях в тридцати пяти. Оба упали, ударили из винтовок. Приближалось еще пять-шесть фигур.

Он трижды стрельнул и побежал по кладбищу. Тотчас в шаге впереди него пуля разбрызгала земляной ком. "Играются! – зажглась мысль. – Мечтают живым взять, побаловаться..." Пригибаясь, ныряя за кресты и памятники, добежал до избенки кладбищенского сторожа, ворвался в нее и запер дверь на крюк.

Сторож Ярулкин и его жена были дома. Ярулкин, бодрый, юркий, лет около шестидесяти, то и дело вскакивая с табуретки, рассказывал жене о том, что, должно быть, сейчас происходит в городе.

Баба стояла, полуоткрыв рот, слушала выстрелы, охала и крестилась. Когда Пудовочкин вскочил в домишко, она пронзительно завизжала. Ярулкин схватился за голову, уставился в пол.

Гость прыгнул к окошку. Меж могил бежали преследователи. Выбив окно стволом, стрельнул несколько раз: люди залегли. Он отцепил от пояса пятифунтовую, повышенной взрывоубойности, гранату Новицкого, широко размахнулся, преодолевая боль от ранения, метнул в окно. Рвануло за могилами, но в домишке посыпалась с потолка известь.

– У меня дед и бабка! – проорал Пудовочкин, не высовываясь. – Станете ломиться, себя и их взорву! На мне еще четыре гранаты. – Дико захохотал.

Старуха стала молиться, сильно дергая головой. Гость сидел на полу, сбоку от окошка, раскинув громадные ножищи, привалившись спиной к стене. Казакин под мышкой набряк кровью. Дрожащие ноздри, испуганно-удивленные, будто детские, глаза.

– Неуж, – вырвалось у него, – помирать? Ой, неохота!

– А ты убитым тобой пожалься, – прошептал Ярулкин.

Гигант приподнялся с пола. – Ты чего, хрен, из ума выжил? – с жадным любопытством вглядывался в старика. – Тебе не страшно?

– Ты есть мерзость, – сказал Ярулкин, отодвигаясь вместе с табуреткой. Голос дребезжал, вопреки смыслу, звучал ласково: – Как тебе не околеть? Околеешь: теперь тебе никуда... А рази ж мне не страшно? Но у меня свои дела, я – сторона другая...

Пудовочкин подбросился так, что доски пола затрещали под сапожищами, занес правую руку и – взмыкнул от боли. Огромная пятерня застыла над лысой макушкой Ярулкина. Казалось, ручища скомкает череп, точно картонный. Но надобна еще жизнь человека...

- У-уу, сторож мертвячий! - пальцы скребнули стариковскую голову, сжались в кулак.

Гость рванулся к окошку, дважды стрельнул в сторону залегших за могилами, присел на пол.

- Чего ты так на меня злобисся, сыч заковыристый? Твоего внука, што ли, списал?

- Внуки мои проживают в Сызрани, - ответил Ярулкин, - а на тебя я восстаю за общество! Ты - зверь геенны! Убивал без вины и убитых не давал по-людски хоронить. Радуюся я, что теперь околеешь, хотя и в моем доме.

- Твое общество, - сказал Пудовочкин, - сейчас твою развалюшку зажжет! Ничего умней они не придумают. Я-то без боли себя застрелю, а ты с бабкой твоей пожаритесь неспешно, как два хорька, в угольях. Ой, задушевно порадуетесь...

Старуха вскрикнула, упала на колени перед иконами. Пудовочкин сладко рассмеялся: - Боль-то от огня - о-оо, какая... поди-ка потерпи ее! Чай, не минуто, не две, хе-хе-хе...

- Или надеется, - произнес с необыкновенным высокомерием, - за вас, двух клопов, они мою жизнь уступят? Да они полста таких, как вы, да еще двадцать малолеток спалят, лишь бы у меня жизнь взять! Да что им отец родной и хоть кто, когда есть я!

* * *

Домишко окружили. Атакующие лежали за могилами, держась от избы саженьях в тридцати. На кладбище всё прибывали люди, но поручик Кумоваев приказал задерживать их в отдалении: Пудовочкин поминутно стрелял из окон.

К поручику подобрался Атарщиков и Бутуйсов, сообщили, что с отрядом, кажется, покончено; всё дело заняло менее получаса.

- Значит, остался один главный, - заключил поручик. - Я ждал вас, господа, чтобы посоветоваться. - Он уже знал, что капитан Толубинов и

Бесперстов погибли. – Придется зажигать домик. Мерзавец уже убил бондаря Данкова, троих ранил. Конторщик Бортников умирает от осколков его гранаты.

– А как же сторож с женой? – спросил Атарщиков. – Живы ли?

– Пожалуй, проверим. – Бутуйсов выглянул из-за могильного бугра, крикнул: – Эй, сударь! Заложники невредимы?

Пудовочкин сгреб бабу, высунул в окошко чуть не до пояса.

– А-ай, не жми! – кричала та. – Ай-ай, помираю!

Минуту спустя из окошка высунулась голова Ярулкина: – Я позволяю...

– Не слышно! – крикнул Бутуйсов.

– Дозволяю, – слабо кричал старик, – и отдаю... этого... жизнь, чтоб окошел Пудовкин! Не поминайте лихом! И еще от меня прошение: пускай отец Питирим отслужит за счет общества три молебна... за меня и старуху... по три!

– Сделаем, милый! – хрипло кричал Атарщиков, у него хлынули слезы.

Пудовочкин отдернул старика от окна: – А это, хрыч, чтоб фамилие не путал. – Шлепнул старика левой ладонью по уху. У того из носа брызнула кровь. Свалился на месте.

* * *

Несколько человек лежат за большим надгробным камнем.

– Как хотите, господа, – сказал Атарщиков, – а жечь избу нельзя!

Поручик смотрел с досадой:

– Атаковать? Он еще не менее двоих подстрелит, швырнет гранаты, а стариков всё равно убьет! Надо стрелять по окнам, под прикрытием огня – к домику. Бросить на него факела. Как военный заявляю: иначе никак!

- Э-эх, - тяжело вздохнул Атарщиков, был бы жив капитан Толубинов, сказал бы, что делать: и как военный, и как русский человек.

Поручик в ярости привстал с земли: - А я, извольте намекать, не русский?

- Русский, господин Кумоваев, безвинных живьем не пожжет! Да прилягте вы! - Дюжий купец с силой придавил поручика к земле.

Тот поперхнулся злым смехом: - А как же Пудовочкин? Не русский? Или, скажете, не жег еще безвинных, а только... к-хм, шлепал?

- Русский он. И большинство его отрядников - тоже. Я не возражаю. Но они - проклятые! Они отдалися, они - потерянные. Это уметь надо постигнуть, тут - тайна...

- Ах, тайна! - Кумоваев отвернулся.

- А не отпустить ли его к лешему? - сказал Атарщиков. - Взамен стариков?

- Как это исполнить? - спросил поручик.

- Пусть берет сторожа с женой, идет с ними к лесу. Мы будем приглядывать с отдаленья. У леса подойду к нему безоружный, с конем: скачи, подлец!

- Ускачет! - Кумоваев усмехнулся. - А на прощанье вас и старика со старухой пристрелит.

- Совершенно-с так оно и будет, - заверил Василий Уваровский.

- Ах, цар-рица немецкая, яп-понский городовой! - в сердцах воскликнул Атарщиков. - Ну, не может того быть, чтобы нельзя было не жечь стариков!

- Вам угодно, - сказал Кумоваев, - выставять меня извергом, а я вам объясняю: как только они попали ему в руки, они - уже мертвые. Мы ничем не можем им помочь, как не можем воскресить тех, кого он убил раньше!

- Вот что, господа, - произнес до того молчавший Бутуйсов, - предложу-ка я себя в заложники. Знаю, знаю, что вы скажете: он и меня возьмет, и их

не отпустит. Ну и пусть! Пронесу револьвер или хоть ножичек, улучу момент – и...

– Никогда-с! – возразил Уваровский. – Он вас без поднятых рук не подпустит. А как войдете – обыщет.

– Если уж так, – сказал Атарщиков, – то лучше я пойду! Всё ж-таки, Борис Алесеич, – обращался он к бывшему приставу, – я немного моложе и посильнее вас.

Подполз на четвереньках доктор Зверянский.

– Раненых перевязал, – сообщил он, – их домой унесли. А несчастному Бортникову я впрыснул морфий: разорваны кишечник, печень... Ну, а вы, господа: когда берем негодяя?

Ему объяснили.

– Пойду я! – заявил доктор. – От моего постоянного-комиссара, господа, я знаю: этот мерзавец охотно показывается врачам, беспокоится о здоровье.

– Пойдете – и что? – спросил поручик.

– Дам ему пилюлю, отвлеку его, а тут вы подберетесь...

– Шутка-с! – обронил Уваровский. – Не станет он сейчас брать пилюли-с. Не то время.

Уваровского поддержали и Атарщиков, и Кумоваев, и Бутуйсов.

– Но другому он тем более не доверится! – доктор вдруг вскочил на могильный холмик, встал во весь рост: – Господин Пудовочкин! Я – врач! Вам нужен врач?

Пудовочкин мгновенно навел винтовку.

* * *

Каждое движение правой руки стоило боли. Он прицеливался, скрипя зубами. Боль пульсировала под мышкой, отдавалась в локтевой сустав.

– Вы не хотели б меня впустить? – крикнул Зверянский.

Раненый убрал палец со спускового крючка. – Идите сюда, доктор! Советская власть вам зачет.

Зверянский подхватил чемоданчик с инструментами, неторопливо направился к домику. Левая рука согнута, кисть поднята на уровень головы; доктор, улыбаясь, показывает окошку растопыренные пальцы.

Атарщиков, лежа за могилой, перекрестил его в спину, пробормотал: – И немолод, и врач, а – сорвиголова! О-ох, болит душенька...

– Это называется: потери растут! – бросил поручик.

Впустив Зверянского, заперев дверь, гигант указал стволом пистолета на чемоданчик: – Покажите саквояжик. – Глянув в него, скользнул к одному окошку, к другому. Понаблюдав, повернулся к доктору. Тот стоял, подняв мускулистые руки, кряжистый, гладко выбритый, тугощекий. "А как в клетку тигра входят... – мелькали мысли, – или на войне изо дня в день – вставай и иди: под пули, на колючую проволоку, на штыки, под сабли конников..."

– Дрожите, – мягко произнес Пудовочкин. Левой рукой похлопал доктора по карманам.

"Какие ангельски чистые глаза! – с ужасом подумал тот. – А неподдельное добродушие! Хотя в няньки к младенцу нанимай".

– По имени-отчеству как будете?

Зверянский ответил. Спросил, нельзя ли опустить руки?

– Угу.

Доктор глубоко вздохнул, чтобы не так учащенно вздымалась грудь. Огляделся в тесной низкой избе. Ярулкин сидел на лавке у стены; глаза полускрыты, под носом на подбородке запеклась кровь. Рядом, поставив ноги на пол, лежала боком на лавке его жена, молча следила за пришельцами. Пудовочкин, посматривая в окно, спросил доктора: – Вас мой комиссар прислал?

– В какой-то мере...

Зверянский, волнуясь, соображал: что он, соб-

ственно, сможет здесь сделать? Не дал ли он маху, придя сюда?

- Он не захвачен? Отбивается? Что с ним?

- У него всё в порядке. Ваш отряд, впрочем, истреблен!

- Ой ли?

Доктора пронял озноб: до того неузнаваемо изменились глаза Пудовочкина. Они точно уменьшились, остекленели. В Зверянского впились ледяной испытующий ум и злоба. Через мгновение глаза сделались мутными, как бы пьяными. И лишь затем опять стали прозрачно-добродушными, простецкими.

- Ну, вы обманывать не будете, - тепло сказал Пудовочкин. - Стало быть, перебили недотеп. Чего там - других наберем...

Миг - и он у окошка. Трижды стрельнул в него из пистолета. Вот он уже возле другого окна, у которого стоит "винчестер". Быстро прицеливаясь, послал три пули из него.

- Подбираться начали, хулиганы! - И беззлобно рассмеялся.

Из-за могил донеслось: - В дом не стрелять! Там доктор!

- Теперь будут нянькаться, - с удовольствием заметил Пудовочкин. - Вон этих, - кивнул на Ярулкиных, - спалили б со мной за милую душу. А с вами - никак и никогда! Я эту публику знаю. У них - фасон! Не пускали вас ко мне идти, а? Эх, и отменно вы им поднасылали!

У доктора зашипало корни волос. "Если я ничего не смогу и он окажется прав, - подумалось, - о! Лучше броситься на его пулю".

Те, кто пытался приблизиться к избенке, в растерянности лежат за могильным холмиком. Поручик извивается, кусает руку: пуля раздробила ему голень.

Отдаваясь в руки убийце, Зверянский думал, что поведет себя неимоверно хитро, изворотливо, Теперь он ужасался, что бессилён преодолеть от-
вращение ко лжи.

Пудовочкин сказал:

– Комиссара моего вы спрятали, а прислал вас меня вызволить?

Тут бы и подтвердить, войти в игру, но он с осторопью услышал собственные слова:

– Видите ли, чтобы вы знали... я – вам враг!

Доктор мысленно проклинал себя, в ярости хотел повернуться и уйти и вдруг вспомнил, что уйти ему не дадут. От мысли, что он мог об этом забыть, ему стало еще хуже.

– Хорошие вы люди – какие с фасоном! – улыбочиво сказал Пудовочкин. – Обмана не выносите. Без благородства никак не живете. – Он сидел на полу у окошка. – Прибыли, стало быть, старичков спасать? Каким манером?

Доктор стоял перед ним: руки на груди, взгляд устремлен поверх головы гиганта. "Какое безрассудство – придти сюда! – билась мысль. – А всё злосчастный характер: вспыхнул как спичка, и напрямик к клетку".

– Я пришел, – выговорил он с усилием, – как врач... оказать помощь тому, кто в ней нуждается.

– Правильно! – одобрил Пудовочкин. – Очень верю. На то и фасон у вас, чтоб только так и делать. А я, Александр Романыч, ранен.

– Ранены? – доктор встрепнулся, подхватил с пола чемоданчик. – Надо осмотреть, и перевязку...

– С этим покамест не удастся – на ваших хулиганов каждый миг нужен глаз да пулька. Вы б сделали мне укольчик от боли. Морфий у вас при себе? Иголочка чистая? Вот и ладно.

"Наконец-то! – мысленно вскричал Зверянский. – Всобачу ему лошадиную дозу"! Сейчас казалось, что он этого и ждал. Вовсе не было безрас-

судством, что, вопреки воле друзей, он пришел сюда. Его вело чутье.

— Потребуем телегу с парой лошадок, — говорил Пудовочкин. — С вами да со старичками сяду. Докатим до Четвертого разъезда, а там на проходящий на Пензу вскочу. Ворочусь через полмесяца с другим отрядом: пожалте, господа виновники, к ответу! Фасон уважаете? Ну-ка, подержите фасон перед косоглазой!

— Заладили: фасон да фасон... — доктор готовил шприц. — Что вы хотите этим сказать?

Пудовочкин глянул в одно окошко, в другое.

— Какие живут для интересности своей персоны: вот-де до чего благородно я делаю! каков я во всем наилучший! — эти и есть ваш брат, с фасоном. А мы — на полном отличии. Мы — люди с полезным понятием. В чем понимаем пользу, то и делаем, а там хоть чего про нас говори...

— Получается, — заметил доктор, — что наш брат глупее вас?

— Зачем же глупее... — добродушно сказал Пудовочкин. — Возьмите коня благородных кровей. Красота! А цена ему? Многие людишки и сотой доли не стоят. А всё же-таки он — лошадь. Он мне душу радует, но захочу — я его продам. И загоню вусмерть, коли мне надо.

— Так-так, получается, мы — кони. — Зверьянский держал шприц иглой вверх. — Ну-с, обнажите-ка руку!

Пудовочкин посмотрел на шприц, улыбнулся:

— Хе, от эдакой порции я закимарю, а меня хлопоты ждут. Извольте половину отбрызнуть.

— Конечно! — доктор ощутил, как заledenели руки. — Не усыпить! Всё выйдет так, как хочет эта бестия..."

* * *

Кричи друзьям, чтобы жгли домишко! Кричи — ты хочешь сгореть вместе с убийцей!

Они на такое не пойдут. И потом, ты – это ты, но призывать, чтобы вместе с тобой сожгли и стариков... Дело погублено. О, ужас! Подадут подводу, мерзавец спасется... Нет – будет спасен тобой! Объясняй потом как угодно, почему ты пришел сюда. Объясняй это и тогда, когда негодяй вернется с новым отрядом, станет мстить...

Перед сидящим на полу гигантом стоял крепко сбитый человек со шприцем в руке и мучительно желал смерти.

– Доза э-э... небольшая... – Голос осип, прерывался.

– А спорить бы не надо, лицо терять, – обронил Пудовочкин. – Уж признайтесь, Александр Романых, усыпить вздумали? А как же, это фасон вполне позволяет: бескровно обезвредить вооруженного врага, хе-хе-хе... Али не благородно? А что человека, разбудив, на мелкие куски живьем рвать станут – тут вы вроде и не при чем. Такая уж вы публика – благос-родная! Да только ваши хитрости перед нами – завсегда наружу. Как ни фасоньте, а мы для вас – ездоки.

– Ездоки? – полное лицо Зверьянского передернула судорога. – Ездоки?! – бешено рывкнул, мотнул головой.

Пудовочкин невольно повторил его движение: резко повернул голову к окну в мысли, что доктор там что-то увидел. Тот с размаху всадил шприц в его кадык. Упал всей тяжестью на левую руку раненого, державшую "манлихер", вцепился в нее. Пистолет, прижатый грудью доктора к полу, выстрелил. Пуля прошла по касательной к груди: загорелась шерсть на овчинном жилете.

Богатырь запрокинул голову, судорожно взмахнул правой рукой: она обрушилась на спину Зверьянского. Второй удар пришелся по затылку. Ярулкин изо всей мочи закричал: – Спасайте! – вскочил с лавки, схватил ручищу гиганта. Поваленный на пол, тот подкидывался громадным те-

лом, всаженный в горло шприц двигался вверх-вниз. Баба высунулась в окошко, голоса: — Караул!

Ножищи раненого ударили в пол: домишко содрогся. Пудовочкин рывком сел, отбросив доктора и Ярулкина, выдернул из горла шприц, вздрагивая поднялся на колени. Из раскрытого рта вылетал громкий фырчащий хрип, будто в жир, кипящий в жаровне, лили воду. Зверянский обхватил гиганта сзади за плечи. Тот рванул торсом из стороны в сторону, вытащил доктора из-за спины, подмял, ударил лбом об пол и отшвырнул к стене.

Он стоял на четвереньках, точно рухнувший от удара кувалдой бык. Огромная грудь страшно и часто раздувалась, плечи, ручищи так и ходили крупной дрожью. Голова моталась и тряслась, лицо искажали гримасы, кровь брызгала во все стороны — а взгляд был осмысленный. Он вытягивал шею и вдруг — завалился набок как подсеченный. Тут же взлетел на ноги, распрямился во весь громадный рост: темя уперлось в закопченную потолочную балку.

Дверь распахнулась — подбежавших встретили яростные, острые, жаждущие убивать глаза. Василий Уваровский выстрелил из винтовки в упор. Захлопали револьверы.

* * *

Три дня Кузнецк тревожно ждал ответа Москвы на свое заявление о происшедшем. Заявление было оформлено председателем совдепа Юсиным, как он выразился, "в спокойном, нужном свете".

Наутро четвертого дня Юсин пригласил Атарщикова, Бутуйсова, Кумоваева-старшего и прочитал полученную телеграмму. Она гласила, что ВЦИК и Совнарком благодарят революционных граждан Кузнецка за уничтожение разложившегося отряда Пудовочкина, который, занимаясь грабежами и убийствами, наносил вред Советской власти. Гражданам Кузнецка надлежит соблюдать

революционный порядок, не допускать никаких самовольных действий, всё оружие сдать под надзор Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и местной большевистской организации.

Город повеселел. Кары не будет! – решил народ. "Нас благодарят! – повторялось тут и там. – Прислали благодарность..." Григорий Архипович Кумоваев сказал, что большевиками руководят "несомненно, образованные люди", а бухгалтер Билетов объявил, что он "стал почти сочувствующим партии большевиков".

Люди праздновали победу. В каких-то полчаса они истребили более четырехсот бандитов! Отомстили за такие дичайшие зверства... Незнакомые мужчины, встречаясь на улице, крепко пожимали друг другу руку, обнимались.

Говорили, что двум-трем негодьям всё-таки удалось ускользнуть из города. Некоторые уверяли – четверым. Кто-то называл даже цифру "пять". Но какое это имело значение? Убитые были засыпаны землей в братской могиле позади кладбища.

Горожане потеряли шестнадцать человек. Еще пятеро тяжело ранены. Некоторые из них скоро умрут, поручик Кумоваев на всю жизнь останется хромым. А как горько, что погибли капитан Толубинов, начальник станции Бесперстов. На их могилах прозвучали десятки речей. Было решено всем погибшим кузнечанам заказать памятник. Для их семей собирались пожертвования. Прославлялись имена живых: Атарщикова, Бутуйсова и, уж конечно, доктора Зверянского.

Но вдруг побежал слух, что с доктором нелады...

* * *

Кто-то слышал от горничной Анфисы, что "бандитского комиссара барин в доме прятал". Бухгалтер Билетов послал к Анфисе свою горничную с заданием вызнать подробности. Возвратившись, та передала рассказ Анфисы:

”В шесть утра, перед набатом, я, как велено, несла постояльцу чай. А тут барин меня остановили и всыпали в чай порошок. В половине седьмого стучу к постояльцу – прибрать в комнате, а он, слышу, храпит. Отворила дверь: спит на канаве мертвым сном

И как у нас в дому убивали красных – не пробудился. После уж барин его разбудили и отвели в каморку на чердаке, а он жалился: голова раскалывается, хоть застрелись! День просидел в каморке запертый. С вечера барин куда-то услали Демидыча, ночью сами оседлали лошадей: уехали с постояльцем. Чуть свет барин воротились, вторую лошадь вели в поводу. И никто про то не знает, только я да барыня...”

Билетов отправился к Кумоваеву.

Сын Билетова гимназист Вячка узнал о рассказе Анфисы немного позже. Побежал с интересным известием по приятелям. На квартире Пети Осокина застал Юрия Зверянского. Тот мрачно выслушал Вячку, схватил его за горло, хрипло рыча, что заколет ”за грязь и ложь как борова”.

Петя Осокин, показав упорство, с трудом, но разнял сцепившихся молодых людей. Они решили драться на дуэли. Револьверы имелись у обоих. Собралось с десятков друзей, были выбраны секунданты. Пора отправляться в лес. Но кто-то предложил: а не спросить ли сперва самого доктора о предмете спора? А заодно и у Анфисы узнать, говорила ли она то, что рассказывает Вячка?

Они пошли к дому Зверянских и увидели входящую в ворота группу граждан. Билетов, Кумоваев, Атарщиков и Бутуйсов явились задать доктору те же вопросы.

Зверянский вышел навстречу гостям в прихожую. На лбу выступает залепленная пластырем шишка. Лицо в ссадинах, на правой скуле – синяк. На шее – компресс.

– Ай-яй-яй, кто же вас самого пользует? – со-

крушенно спросил Атарщиков, страдальчески морщась. – У нас другого-то хорошего лекаря нет.

Доктор развел руками: – Обхожусь! – Пригласил гостей в кабинет. Молодежь, за исключением Юрия, осталась во дворе.

– Вы должны нас извинить, Александр Романович, – начал Кумоваев, – вероятнее всего, это только слух... возможно, сплетня-с...

– Пустая сплетня! – вставил Билетов.

– Что именно? – спросил доктор, стоя пред сидящими гостями.

– Видите ли, дорогой Александр Романович, – мялся Кумоваев, – вполне возможно, что всё это дело...

– Попросту высосано из пальца, – закончил за него Билетов, поудобнее усаживаясь в кресле и зорко вглядываясь в Зверянского.

– Вам бы лучше и самому присесть, – попросил доктора Атарщиков.

– Нет, я нервничаю! – отказался тот.

– Мы принуждены, – Кумоваев нахмурился, – задать вам щекотливый вопрос...

– Впрочем, это пустяки, – бросил Билетов.

– Так спрашивайте! – вскричал доктор в нетерпении.

– Вы действительно спасли вашего постоянного комиссара? – спросил Бутуйсов.

Доктор выставил мясистый подбородок и ответил:

– Да, спас!

– Ф-фу, как же это... – пробормотал Кумоваев, – убийцу? Был же уговор: всех поголовно! И потом, несправедливо: рядовых не щадить, а одного из главарей вдруг выпустить...

– Более чем странно! – сказал Билетов.

– Отец! – раздался хрипловатый громкий голос:

на пороге кабинета стоял Юрий. – Так это правда? – гневное лицо, изуродованное шрамами, было кошмарным. – Ты спас его? – он сжимал кулаки. – В таком случае... я, как сын, первым требую... расстрела!

– Требуй, – произнес, закипая, доктор. – Ты, считающий себя демократом, – он приближался к Юрию и тоже сжал кулаки, – ты, грезивший Герценом, хочешь расстрелять отца за его приверженность народно-социалистическим идеям! Так что же ты, несчастный, понесешь людям?! – Зверянский с выражением неопишемого ужаса отшатнулся от сына.

Все молчали.

– Прости, папа! – Юрий повернулся к гостям: – Не смей допрашивать доктора Зверянского! В этом доме убеждения святы. Во-о-н!

– Щенок! – взревел доктор, тяжелый кулак опустился между лопаток Юрия: тот едва удержался на ногах. – Извинись перед господами и проваливай!

– Ой, не надо бы так, – вырвалось у Атарщикова.

– Ф-ффу, вы не в себе, Александр Романович, – пробормотал Кумоваев, – вы, кажется, ударили-с...

– Я убью его! – вскричал Зверянский.

Юрий нервно отвесил общий поклон: – Очень прошу простить, господа! – четко прошагал к двери, выходя, обернулся: – Свободу России! – щелкнул каблуками, дверь за ним закрылась.

– Ай, как вы оба мне нравитесь! – воскликнул Атарщиков, у него текли слезы. – Ну, расцеловал бы обоих. На таких страна стоит!

– Я понимаю ваше недоумение, господа, – заговорил доктор, – самоуправно укрыл, спас... но мне показалось необходимым сделать так, чтобы этот человек жил...

– То есть он не большевистских, а наилучших убеждений, – предположил Бутуйсов, – и лишь случайно оказался в этом стане?

- Вправду, - согласился Зверянский, - убеждений он не большевистских. Но, однако же, весьма сомнительных.

- Вы ему чем-то обязаны? - спросил Кумоваев.

- Определенно ничем! Разве тем, что он едва не прострелил мне череп. Чтобы не слышать криков семьи, отложил на завтра: собирался прикончить меня в лесу. А назавтра - набат.

- Никак не пойму вас, Александр Романович, - сказал Кумоваев, - какого же рожна вы его не...

- Да что тут понимать! - воскликнул Атарщиков. - Благороднейшее сердце у доктора! Свети-кодушничал, сжалился. Ну, правду я говорю?

- Понимаете, - сказал Зверянский, - это человек из творений Эсхила или Софокла. Его личность потрясает...

- Поразительно! - вставил Билетов, и не было понятно: что поразительно? То, что личность комиссара потрясает, или то, что доктор несет чепуху.

- Господа, этот комиссар в зверствах не участвовал? - спросил Бутуйсов.

- Нет, что вы, - ответил Зверянский, - он всегда был у меня на глазах.

- Никаких приказов не подписывал?

- Не подписывал!

- Ну, тогда, господа, - заключил Бутуйсов, - нет ничего преступного в том, что Александр Романович его отпустил.

- Наше российское добродушие, - заметил Билетов.

- Верно! - с жаром одобрил Атарщиков. - По-нашему, по-русски: заслужил - получи сполна в отместку! Но только, пока я в гневе. А гнев миновал: за стол с собой тебя посажу! Кстати, господа, теперь же пожалуемте все ко мне. Я телушку годовалую зарезал, и коньячок сохранился шустовский...

От приглашения никто не отказался.

Прошла неделя, начинался май. В городе стало известно, что председателя совдепа Михаила Юсина вызывают в Пензу. Но его увидели садящимся с семьей в поезд, который шел в противоположном направлении: на Самару.

День спустя в Кузнецке появилось человек пятнадцать приезжих. Чуть не половина из них женщины. Приезжие вели себя тихо. Они разместились в особняке зерноторговца Щёголева, приколотили к дверям вывеску: "Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией".

Утром у крыльца заурчал автомобиль. Из особняка вышел человек в темной тройке, с бородкой, в пенсне; сел в автомобиль, кивнул шоферу. Машина покатила, поднимая пыль, и скоро остановилась у дома Зверянских. Человек в пенсне вошел в дом, пробыл там полчаса и вернулся в ЧК.

На следующий день из города уехали с семьями Зверянский, Атарщиков, Бутуйсов, Кумоваев и еще более двадцати тех, кто наиболее отличился в ликвидации отряда Пудовочкина.

После этого на афишных тумбах было расклеено объявление: "Кузнецкой ЧК начато следствие по делу Пудовочкина. В ЧК приглашаются все граждане, имеющие что сообщить по указанному делу".

Минуло несколько дней, и город всколыхнуло: расстреливают за уничтожение отряда! У афишных тумб собрались огромные толпы. "Извещение ЧК" уведомяло, что шесть человек расстреляны "за злостные клеветнические измышления, за попытки направить следствие по ложному пути, за действия, носящие характер контрреволюции". Возглавляла список Ораушкина, та самая, что предупредила Пудовочкина о восстании. Когда захватили дом, откуда вырвался командир, Ораушкину не арестовали, было не до нее, а потом она исчезла из города и вернулась лишь с появлением ЧК.

Вторым в списке шел известный сутенер, гряз-

ная личность Витька Самокатчик. Третьим был бездельник, бывший лакей Евсеев, повыгнанный из нескольких домов за воровство. Под стать этим оказались и остальные расстрелянные.

Никто не мог сказать, что хоть один человек из списка участвовал в ликвидации отряда красных. Скорее можно было предположить обратное: эти люди ничего не имели бы против расправы с замешанными в восстании.

Город недоумевал. Расстреливали явно не за уничтожение отряда.

* * *

К пятнадцати приезжим присоединилось еще столько же. И на афишных тумбах появилось "Сообщение контролеров Центрального управления чрезвычайных комиссий". В нем говорилось: "За развал работы Кузнецкой ЧК, за саботаж и преступное бездействие начальник ЧК Костарев В. Г. снят со своего поста и расстрелян".

А на следующий день произошло историческое выступление чехословаков против большевиков. Советская власть была свергнута на территории от Сызрани до Владивостока. Чекисты ненадолго покинули Кузнецк. В эти неопределенные для города дни, тоже совсем ненадолго, домой вернулась семья Зверянских.

Доктор и Юрий стояли у тумбы, смотрели на сообщение о расстреле Костарева.

– Невозможно, – волнуясь, говорил доктор, – невозможно выразить, до чего много он отдал за нас!

– Жизнь отдал, – сказал Юрий.

– Да не то! Его идеи значили для него гораздо больше, чем собственная жизнь. Только чувствуя это, можно понять грандиозность его жертвы. Но кто теперь посочувствует, поймет?.. Да! – доктор махнул рукой. – Легко мне было считать его идеи бредом. Но в них, несомненно, было нечто... А коли вздуматься, то и вообще!

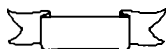
– Что? – удивленно спросил Юрий.

– А то, что это вообще могло быть... – доктор сбился. – Как трогательно, как естественно у него звучало: "Русские есть явление, во Вселенной не ограниченное!", "Россия – архивитальное образование! "Русский народ – это Гомер с глазами и мечом Геракла"! Ну, как не задуматься, а стоим ли мы того, что было отдано за нас?

– Папа, что ты говоришь? – Юрий едва не кричал.

– Да-да, вот такими, – сказал доктор, – именно такими глазами я смотрел на него.

Берлин, 1995.



Алексей АНТОНОВ

ВНУЯЗ

Искушенный читатель, вероятно, сразу же уловит в заглавии некий привкус "оруэлловщины". И будет совершенно прав. "Внуяз" – конечно, не что иное, как "внутренний язык", термин, навеянный оруэлловским "новоязом". Однако, прежде чем приступать к изысканиям в заявленном направлении, не лишним будет несколько конкретизировать само понятие "внуяз". Иными словами – постараться привести достаточно убедительный пример. Скажем, обратившись к творчеству Виктора Пелевина:

"Иван чуть вздрогнул. Это был откровенный вызов и оскорбление. Но, сообразив, что химики вовсе не собираются затевать разборку, а просто хотят посостязаться с мастером языка, которому не обидно и проиграть, он успокоился. Валерка тоже понял, в чем дело, – давно привык...

– Верно, – ответил Валерка. – Приходите, посоветуйтесь. Хотя у вас и своих ветеранов немало, вон Доска почета – то какая – в пять Стахановых твоего обмена опытом в отдельно взятой стране...

Кто-то тихо крикнул.

– Точно, есть у нас ветераны, – не сдавался химик, – да ведь у вас традиция соревнования глубже укоренилась, вон выпелов-то сколько насобирали, ударники майские, в Рот-Фронт вам слабое звено и надстройку в базис!

«Хорошо, – отметил Иван, – а то уж больно он от нервов по-газетному начал...»

– Лучше бы о материальных стимулах думали, пять признаков твоей матери, чем чужие выпела считать, в гор вам десять галстук и количеством в качество, – дробной скороговоркой ответил Валерка, – тогда и хвалились бы встречным планом, чтоб вам каждому по труду через совет дружины и гипсового Павлика!..

Химик несколько секунд молчал, собираясь с мыслями, а потом уже как-то примирительно сказал:

- Хотя бы ты заткнулся, мать твою в город-сад под телегу.

- Ну так и отмиришь от меня на три мая через Людвиг Фейербаха и Клару Цеткин, - равнодушно ответил Валерка".

Начать с этого внутренне нецензурного диалога целесообразно хотя бы потому, что где как не в подобных "состязаниях" с наибольшей яркостью проявляются языковые богатства и красóты. Однако, не сто́ит делать поспешный вывод, что под "внутренним языком" здесь будет пониматься эвфемизм - своего рода "заместитель" ненормативной лексики. Не сто́ит потому, что, во-первых, "если надо", Пелевин может "выразиться" и ненормативно (см. Виктор Пелевин. Синий фонарь. М., "Текст", 1991. Сс. 74, 121, 222, 297, 299 и др.); во-вторых, такая узкая трактовка "внуяз" будет опровергнута Пелевиным уже через несколько страниц:

"- Да тут интересно очень, - сказал он, на всякий случай поднося руку к карману, где лежал пистолет. - Философ Бердяев.

- И что же? - странно улыбаясь, спросил Пётр. - Чего пишет?

- Есть у него одна мысль ничего. О том, что психический мир коммуниста резко делится на царство света и царство тьмы - лагеря Ормузда и Аримана. Это в общем манихейский дуализм, пользующийся монистической до...

Удара табуреткой в лицо Иван даже не почувствовал...

- Под блатного косит, ударник, - сказал растерявшемуся Валерке Пётр, нагибаясь за пистолетом. - Я полтора года сидел, музыку эту знаю. Сейчас, - повернулся он к Ивану, будет тебе эпифеномен дегуманизации. Аккордеоном по трудильнику".

Для полноты картины недостает последнего штриха. Там, где цитата из Бердяева звучит "по фене", а навязшая в зубах и по частотности употребления сравнимая лишь с матом (на пелевинском "внуязе", вероятно, правильнее говорить: "с майтом") лексика лозунгов и плакатов (мир, труд,

май, урожай) воспринимается до неприличия ненормативно, настоящее блатное аргументировано должно стать "партийным стилем". И что-то похожее проскальзывает в речи секретаря уран-бааторского совкома Копченова:

"- Верно, долго нам врал. Долго. Но только прошло это время. Всё теперь знаем - и как шашель порошная нам супорос закунявила, и как лубяная сутемень нам уд кондыбила. Почему знаем? Да потому, что правду нам сказали" ("День бульдозериста").

Свои лингвистические эксперименты Виктор Пелевин ведет в двух, пожалуй что, противоположных направлениях. С одной стороны - он, вроде бы, стремится возратить слову первозданную чистоту, оживить "умершие метафоры, то есть занимается тем, что Виктор Шкловский называл "отстранением", а Джордж Оруэлл - "преступным переводом с новояза на старояз". Поэтому многие его герои наделены обостренным языковым чутьем и никогда не жалеют времени, чтобы остановиться и поразмышлять над смыслом того или иного слова или словосочетания: "...а здесь был колхоз «Мичуринский» - понятие, если вдуматься, не менее волшебное, но волшебное по-другому" ("Проблема верволка в Средней полосе"); "...и фамилия у тебя другая, понятно. Мы советовались насчет того, какая красивее будет - у тебя она какая-то мертвая, реакционная, что ли... Май его знает. И имя неяркое (Иван Померанцев. - А. А.). Придумали: Константин Победоносцев. Это Васька предложил, из «Красного полураспада»... Умный, май твоему урожаю..." ("День бульдозериста"); "Чжан хотел было спросить, ...почему это референты всё время называют людей трудящимися, но не решился - боялся попасть впросак. «Да и потом, - подумал он, - может, они и правда не люди, а трудящиеся»? ("СССР Тайшоу Чжуань"); "...я больше времени про-

водил в разных пионерлагерях и группах продленного дня – кстати сказать, удивительную красоту последнего словосочетания я вижу только сейчас” (“Омон Ра”). И вместе с тем – разрушая “старый добрый” новояз, Пелевин тут же создает другой “новый” язык, правда, не “универсальный”, а, так сказать, “одноразовый”, функционирующий только в пределах “отдельно взятого” произведения. Естественно будет и называть такой язык “внутренним”.

Конечно, потребность в изобретении и конструировании новых слов возникла в литературе не сегодня и даже не вчера. Можно предположить, что она закономерно появляется “в повестке дня” всякий раз, лишь только писатель ставит перед собой задачу изобразить “чужой” (то есть – вымышленный, фантастический) мир, полный неведомых существ и предметов, отношений и понятий, которым в обычном языке просто нет имени. Здесь достаточно вспомнить “Правдивую историю” Лукиана, “Путешествие Гулливера” Свифта, “Микромегас” Вольтера. Подобное “удвоение” мира (характерное для всей “условной” прозы вообще) неизбежно ставит вопрос о границах соседствующих миров, а следовательно – и об обозначении этих границ. Словам же “внутреннего языка” отводится в создавшейся ситуации роль как бы пограничных столбов. Однако, сравнение со столбом (даже если называть его вехой) выходит всё-таки слишком приземленным и потому – несколько унижительным для такой тонкой субстанции, как слово. Поэтому пусть читатель без сожаления отбросит его и лучше попытается представить себя, мчащимся на подержанном “плимуте” по автобану одной из стран Бенилюкса, где, как рассказывают, границ (в нашем смысле этого слова) нет. Не исключена возможность, что после нескольких часов “быстрой езды” он вдруг обнару-

жит, что перестал понимать надписи на дорожных указателях (при условии, конечно, что понимал их раньше). Таким способом он как бы получит сигнал, что ненароком заехал в "чужую" страну, в "чужой" мир. И сигнал этот будет подан не на грубом физическом (шлагбаум, таможня), но – на лингвистическом уровне. Нечто подобное происходит и в литературе.

Братья Стругацкие, например, в "Пикнике на обочине" для обозначения фантастического мира Зоны используют в качестве системы сигналов (или – "сигнальной системы") профессионально-сталкерские термины: "Черные брызги", "пустышки", "зуда", "ведьмин студень", "сучьи погремушки" и т. д. Энтони Берджес в "Механическом апельсине" образует слова от русских корней (и тогда – в обратном переводе с английского – получается "румната" вместо "комната"). Дж. Р. Р. Толкин снабжает свои романы пространными глоссариями. Василий П. Аксенов в "Острове Крыме", изображая нарождающуюся "нацию" яки, конструирует для нее слова: "атац" (нечто среднее между турецким "ата" и русским "отец") и "яки" (помесь "якши" с "о'кей"), чем, правда, и исчерпывается словарь "внутреннего языка" романа.

Конечно, у всех упомянутых авторов мы сталкиваемся скорее с эмбрионами "внуяза", нежели с собственно "внуязом", что, впрочем, говорит вовсе не о масштабах их дарований, а только лишь о масштабе стоящих перед ними задач. Но читатель и сам прекрасно понимает, что рассказывать о том, как написана книга, еще не значит доказывать, написана она хорошо или плохо. И тем не менее, сегодня скромные успехи названных писателей в искусстве изобретения "внутренних языков" могут, пожалуй, служить только в качестве иллюстрации к краткому очерку по "истории вопроса". И уж ко-

нечно, эти нерегулярные и фрагментарные вкрапления не идут ни в какое сравнение со сложными и разветвленными системами Джорджа Оруэлла и его продолжателя Виктора Пелевина, в чьих произведениях "внутренняя" лексика далеко превосходит роль "просто" экзотического орнамента и требует некоторого, пусть и минимального, усилия для своего рода "перевода" на "общедоступный" язык.

В области "внутреннего языка" Пелевин, несомненно, "продолжает и развивает" дело автора "1984", недаром один из наиболее близких ему героев признается, что "всего Оруэлла прочел в институте, еще когда было нельзя". Но продолжает и развивает в очень неожиданных, а зачастую и противоположных "учителю" направлениях. Начать хоть с того, что для Оруэлла новояз – не больше чем объект описания, статичная модель, вынесенная за рамки сюжета, в приложение. Новояза, по сути, еще нет, он будет "готов" только лет через 70, к 2050 году, и поэтому перед нами – в каком-то смысле "мертвый язык". В "Дне бульдозериста" же "внутренний язык" становится действующим лицом и сюжетообразующим элементом. По крайней мере, это – язык, на котором говорят. И наверное, приди сегодня в голову писателю "типа Пелевина" мысль создать что-нибудь "типа «1984»", он, скорее всего, начал бы работу не со злоключений Уинстона Смита, а с конструирования новояза, но делал бы это для себя, так сказать, для "внутреннего пользования". И только покончив с языком, засел бы писать на нем роман.

Но есть и другие, не менее существенные, отличия. Оруэлловский новояз основан на "уничтожении слов", на усечении смыслов. Вот рассуждает за кружкой пива «Победа» "специалист по новоязу" филолог Сайм:

"Это прекрасно – уничтожать слова. Главный мусор ско-

пился, конечно, в глаголах и прилагательных, но и среди существительных – сотни и сотни лишних. Не только синонимов; есть ведь и антонимы. Ну скажите, для чего нужно слово, которое есть полная противоположность другого? Слово само содержит свою противоположность. Возьмем, например, «голод». Если есть слово «голод», зачем вам «сытость»? «Неголод» ничем не хуже, даже лучше, потому что оно – прямая противоположность, а «сытость» – нет... Вы чувствуете, какая стройность, Уинстон”?

Вот эта ”стройность” совершенно не свойственна ”внутреннему языку” Виктора Пелевина, который ориентирован не на усечение, а наоборот – на приращение смыслов. Все пелевинские языковые конструкции вроде ”одномайственно”, ”май его знает”, ”мир твоему миру” или ”май твоему урожаю” не только не уничтожают прежнего значения слова, но сообщают ему еще одно, дополнительное. Поэтому ”огромные красные слова МИР, ТРУД, МАЙ” украшают серые фасады Уран-Батора в то же самое время, как уран-баторские матери отчитывают перед ними детей за ”нехорошее” слово ”майский жук”.

”Особенности слова героя, – писал М. М. Бахтин, – всегда претендуют на известную социальную значимость, социальную распространенность, это – потенциальные языки”. Своими опытами Виктор Пелевин словно бы развивает это положение. ”Социальная значимость”, неизбежно присущая тому или иному (а практически – любому) ”языковому пласту”, начинает выступать у него во всё более и более концентрированном виде, пока, наконец, не превращает язык героев из ”потенциального” в автономный ”внутренний”. Нагнетая и спрессовывая ”специальную” лексику, будь то лексика марксистско-ленинской идеологии (”Омон Ра”), доперестроечного лозунга и плаката (”День бульдозериста”) или ”языка науки” (”Встроенный напомина-тель”), и перемещая ее в ”чужую” сферу, Пелевин

добивается некоего "качественного скачка", после которого слово отрывается от своего прямого значения и как бы "переводится" на другой язык.

Однако, с "перегруженным" дополнительными значениями словом происходят и другие, менее очевидные, превращения. Видимо, существует какая-то критическая точка, пройдя которую, "многозначность" оборачивается своей противоположностью – "не-значностью вообще". Теряя "предметность", слово становится знаком. "Но не будем забывать, – замечает в схожей ситуации Умберто Эко, – что существуют знаки, только притворяющиеся значащими, а на самом деле лишенные смысла, как тру-ту-ту или тра-та-та". Кстати, из подобного парадокса возникло и название его знаменитого романа, потому что "имя розы" как символическая фигура до того насыщено смыслами, что смысла у него почти нет. По сути, и Оруэлл, и Пелевин, первый – бесконечно расширяя значения "новоязовских" слов за счет усечения значений "староязовских" ("злосекс", например, означает в новоязе всякое нарушение "норм секса", а "мыслепреступление" – всякое нарушение "норм мысли"), второй – бесконечно множа и приращивая к слову новые смыслы, в конце концов достигают одного и того же результата – унификации слова, его превращения в "притворяющийся значащим знак". Но чем "дальше" отрывается слово от своего прямого значения, чем меньше, "темнее" и "туманнее" становится в новом контексте смысл каждой отдельной языковой единицы, тем в большей степени он переходит на текст в целом. "Унифицированные" слова обозначают не "тела" и не "действия тел", а некую нематериальную субстанцию – назовем ее атмосферой текста.

И действительно, смысл высказываний пелевинских героев рождается не из "суммы смыслов" от-

дельных слов, а из "узнавания" того чертежа, по которому они выстроены – то есть из чего-то интонационно-синтаксического. Поэтому после любовно интонированной фразы секретаря совкома ("Верно, долго нам вдали. Долго...") можно, в принципе, нести любую околесицу – смысла не убавится и не прибавится; а в надписи на стене:

"Социализм – это строй цивилизованных кооператоров с чудовищным Распутиным во главе, который копируется и фотографируется не только большими группами коллективных пропагандистов и агитаторов, но и коллективными организаторами, различающимися по их месту в исторически сложившейся системе использования аэропланов против нужд и бедствий низко летящей конницы, которая умирает, гнивает, но так же неисчерпаема, как нам реорганизовать Рабкрин" ("Омон Ра").

– сквозь "видимую миру" абракадабру здесь проступает "стиль" незабвенных "средств наглядной агитации"*.

Ведь и в том, и в другом случае мы имеем дело не столько со словами, сколько со знаками, недвусмысленно указывающими на вполне определенные "типы текстов". Остается только добавить, что Пелевин достаточно "академичен", чтобы не ограничиваться простой констатацией этого факта, но и дать ему исчерпывающее историко-теоретическое обоснование:

"Рейхсфюрер!.. Как известно, после уничтожения большинства грамотного населения России многие шифрованные тексты донесений майора фон Леннена в Генеральный Штаб, замаскированные под бессмысленные русскоязычные тексты, получили там распространение в качестве так называемых «работ». Среди них – донесение «О перемещении третьей Заамурской дивизии к западной границе» (в зашифро-

* Нам хочется именно в этом месте напомнить, что подобными опытами по созданию "внуяза" занимался в своих романах Александр Зиновьев. Мы сожалеем, что автор статьи ни разу не упомянул лингвистические успехи А. Зиновьева. – Ред.

ванном виде – «Лев Толстой как зеркало русской революции»). В мистической системе Молотова и Кагановича, на основе которой осуществляется управление страной, русскому тексту этой шифровки и особенно ее заглавию придается огромное значение» ("Откровение Крегера (комплект документов)").

Таким образом, шаманская "метонимичность" "внутреннего языка", если и не научно, то, во всяком случае, достаточно определенно и рационалистически, объясняется деятельностью "майора фон Леннена", получившей творческое развитие и классическое завершение в "мистической системе Молотова и Кагановича".

Что же касается оттенков этой метонимичности, проявляющихся в нюансах оруэлловской и пелевинской редакций "внуязя", то тут дело, пожалуй в том, что они принадлежат к двум ветвям "условной" прозы. Проза первой ветви (назовем ее "свифтовской") создает хотя и вымышленные, но как бы претендующие на реальность миры, которые имеют свою историю, географию (то есть – время и место), материальную культуру, фауну, флору, производственные отношения, климат и т. д. В этой "конкретной" системе и "внутренний язык" должен, вероятно, стремиться к "терминологической" конкретности. Проза второй ветви (условно – "гоголевской") изображает не раздвоение "вещного" мира, а раздвоение сознания. Ее герой легко переходит из одного мира в другой, а то и одновременно существует сразу в нескольких мирах, благо расположены они "неподалеку" – в одной и той же голове. Он подобен Акакию Акакиевичу Башмакину, который, как известно, время от времени "замечал, ...что он не на середине строки, а скорее на середине улицы". Эти "внутренние" миры текучи и взаимопроникающи, расплывчаты и размыты. Возможно, поэтому и значение слова тяготеет в них не к "кристаллизации", а к "растворению".

И наверное, главная особенность прозы Виктора Пелевина состоит именно в этой зыбкости, в неуловимости перетекания одного мира в другой, в постоянном балансировании на почти неразличимой границе, в непрерывном, по-”сталкерски” скрытном, ее переходе. Вот, к примеру, ”коллектив” чиновников Госплана, объединенный еще и общей страстью – участием в одной и той же компьютерной игре, – собирается в обеденный перерыв, чтобы отметить юбилей ”товарища по работе”. Парторг произносит тост:

”– Друзья! Мы собрались здесь по поводу торжественному и приятному вдвойне. Сегодня исполняется двадцать лет трудовой деятельности Кузьмы Ульяновича Старопопикова в Госплане. И сегодня же утром Кузьма Ульянович сбил над Ливией свой тысячный МиГ!.. Я беру на себя смелость сказать, что Кузьма Ульянович – лучший пилот Госплана. И недавно полученный им от Конгресса орден ”Пурпурное сердце” будет на его груди уже пятым” (”Принц Госплана”).

А вот как ”существование” русского мужика, обладателя ”совковой во многих смыслах лопаты”, перетекает в ”существование” рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера:

”Потом он увидел справа между берез поблекший фанерный щит со стандартным набором профилей; когда эта тройка пронеслась мимо, Матвей отчего-то вспомнил Гоголя. Через минуту он заметил, что, думая о Гоголе, думает на самом деле о петухе, и быстро понял причину – откуда-то выползло немецкое слово Gockel, которое он, оказывается, знал. Потом он глянул на небо, опять... на секунду вспомнил приятеля и поправил на носу очки. Их тонкая золотая дужка отражала солнце, и на борту подрагивала узкая изогнутая змейка, послушно перемещавшаяся вслед за движениями головы. Потом солнце ушло за тучу, и стало совсем нечего делать – хоть в кармане кителя и лежал томик Гёте, вытаскивать его сейчас было бы опрометчиво, потому что фюрер, сидевший на откидной лавке напротив, терпеть не мог, когда кто-нибудь из окружающих отвлекался на какое-нибудь мелкое личное дело. Гиммлер улыбнулся, вздохнул и поглядел на часы – до Берлина оставалось совсем чуть-чуть...” (”Музыка со столба”).

Конечно, в вырванных из контекста и как бы отобранных для демонстрации отрывках прием максимально обнажен, отчего особенно заметным становится и то, как "тема полетов" вплетена в "тему Госплана", и то, как между Матвеем и Генрихом, словно между двумя полюсами, выстроена симметричная (березы – Берлин, профили – фюрер, Гоголь – Гёте, петух – Gockel) цепочка знаков, буквально пересекающая абзац надвое. В тексте это выглядит не так рельефно, но только потому, что подобное плетение словесных узоров, чрезвычайно напоминающее "игру в бисер", просто-таки образует "ткань" текста, ибо вся проза Пелевина представляет собой непрерывную череду разного рода "переходов границ", по ту и другую сторону которых брезжат одинаково призрачные миры, отчего по-настоящему реальным оказывается только сам момент "перехода".

Ощущение призрачности пелевинских миров усиливается благодаря их реминисцентности, вторичности, литературности. И хотя его произведения, казалось бы, "пестрят" меткими жизненными (что называется, "бытовыми") наблюдениями, вроде, например, наблюдения такого рода: "Таксисты в основном торговали водкой и только изредка, для души, брали приглянувшихся им пассажиров, поэтому Люся даже не поднимала руку навстречу салатовым «волгам» – ждала частника" ("Миттельшпиль") – "действительность" играет в них подчиненную и эпизодическую роль. Пелевин предпочитает иметь дело не с "непосредственно жизненным", а с уже литературно обработанным материалом, преобразуя его в противостоящий обыденному призрачный мир. Он пародиен и аллюзивен. Причем иногда – открыто, "в лоб": "...вот тут-то и стало заметно то особое непередаваемое туалетное злование, которое совершенно невозможно описать и о

котором некоторое представление дает разве что словосочетание «Париж Маяковского» ("Девятый сон Веры Павловны"); "...всё ее внимание притягивали звезды салюта, нарисованные какими-то забытыми цветами, теми самыми, которыми утро красит еще иногда стены старого Кремля" ("Миттельшпиль"); "...инвалид (переодетый В. И. Ленин. – А. А.) на секунду закрыл лицо ладонью, словно не в силах поверить, что эту музыку ("Апассионату". – А. А.) мог написать человек" ("Хрустальный мир").

А иногда – более зашифровано:

"Хоть отцу и приходилось иногда стрелять в людей, он был человек незлой души, по природе веселый и отзывчивый. Меня он любил и надеялся, что хотя бы мне удастся то, что не удалось в жизни ему... Маму я помню плохо... Она умерла, когда я был совсем маленьким, и я вырос у тетки, а отца навещал по выходным" ("Омон Ра").

Безысходно-сиротский, хотя "внутренне" и ёрнический тон, "взятый" Омоном Кривомазовым, неуловимо напоминает что-то давнее, полузабытое, детское... Что-то вроде вот этого:

"Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена, потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Мать моя утонула, купаясь на реке Волге, когда мне было восемь лет. От большого горя мы переехали в Москву" (Аркадий Гайдар "Судьба барабанщика").

Иронически переосмысливая советский миф о счастливом детстве, Пелевин, с одной стороны, "рабски" копирует гайдаровскую интонацию, с другой – заменяет язык его романтических эвфемизмов ("воевал с белыми") "открытым текстом". Ведь, что ни говори, а обоим отцам, несмотря на в общем-то "незлые души", всё-таки "приходилось иногда стрелять в людей".

Одним словом, Пелевин если и не оперирует готовыми исторически и социально окрашенными "языковыми блоками", то уж, во всяком случае, как бы предлагает прочитывать свои произведения

"на фоне", "в свете" или "сквозь призму" предшествующей культурной традиции – от философии Древнего Востока до "шершавого языка плаката". Его склонности к метатекстуальным построениям, к созданию текстов о тексте ("Реконструктор (об исследованиях П. Стацюка)"), текстов в тексте ("Оружие возмездия", где, помимо прочего, цитируется и несуществующий труд несуществующего автора – "Память огненных лет" П. Стацюка – который, тем не менее, не только послужил объектом рецензирования в "Реконструкторе", но и дал название одному из разделов книги самого Пелевина – а стало быть, сделался как бы уже и существующим), к размыванию границ текста при помощи цитирования ("Мардонги"), к составлению произведений из "комплектов документов" ("Откровение Крегера (комплект документов)"), к лжерецензиям на лжеисследования, к мистификациям и стилизациям – наводят на мысль о постмодернизме и дают достаточно оснований, чтобы рассматривать "внутренний язык" как специфическую черту этого направления.

Однако, поэтика постмодернизма постепенно усваивается и "традиционной" литературой. Ее приемы приобретают в современной прозе всё более универсальный характер и говорят уже не столько о принадлежности к определенной школе, сколько об ощущении и осознании автором себя и своего произведения в контексте культуры. С этой точки зрения постмодернизм предстает уже не просто как узковкусовое интеллектуально-эстетское "направление", а как наиболее созвучный времени подход к творчеству. Лишним доказательством здесь может служить тот факт, что ведущиеся, казалось бы, в "постмодернистском русле" поиски и эксперименты Виктора Пелевина в области "внутреннего языка" встречают неожиданное понимание и поддерж-

ку в литературе совершенно другой ориентации, и следовательно, могут расцениваться не как "внутришкольная", а как более широкая тенденция современной прозы.

* * *

Следящий за журнальными публикациями читатель, конечно, уже догадывается, что речь дальше пойдет об Анатолии Киме. И действительно, отсутствие имени автора "Поселка кентавров" ("Новый мир", 1992, № 7) в разговоре о "внутреннем языке" (применительно к обстоятельному и "пластическому" Киму усеченный вариант термина - "внуяз" - безусловно, неупотребим и потому до поры должен быть забыт) не может не вызвать, как минимум, чувство недоумения. Хотя, с другой стороны, даже и задавшись специальной целью, трудно обнаружить в сегодняшней прозе более "нестыкуемые" фигуры, чем ироничный фантаст Пелевин и представитель серьезного мифологического романа Ким. Однако, крайности сходятся, и сходятся, как это ни странно, далеко не случайно.

Известно, что проза вообще (а новейшая - в особенности) тяготеет одновременно и к скрупулезной точности описаний, и к максимальной смысловой обобщенности. Говоря проще, но образней, она, в идеале, желала бы рассматривать каждое явление и в микроскоп, и с птичьего полета. Но "сразу" получается далеко не у всех. И тогда перед прозаиком открываются два противоположных пути, которые выводят тех, кто решился идти по ним до конца, "за рамки" традиционной литературы, к так называемым нехудожественным формам творческой фантазии, приближающимся, с одной стороны, к "нехудожественным" научным, а с другой - к "дохудожественным" религиозно-

мифологическим способам постижения и описания мира. И если Виктор Пелевин, с его страстью к протокольности, к имитации документа, научного исследования, рецензии, явно движется к "внехудожественному" документализму, то автор "Поселка кентавров" находится на пути к "дохудожественному" мифологизму. Однако, в неевклидовом мире литературы, пустившись в противоположные стороны, они парадоксальным образом "пересекаются" на "внутреннем языке". Но это противоречие "перестает быть таковым", если рассматривать "внутренний язык" как одну из форм новейшей образности, равно присущую разным направлениям "нетрадиционной" литературы.

Одной из главных задач художественной литературы – не зависимо от того, решается ли она "документальными", "пластическими" или иными средствами – была и остается задача создания у читателя своеобразного "эффекта присутствия". Современная же (и в первую очередь – "нетрадиционная") проза очень активно ищет пути и способы усиления этого эффекта, для чего в самое последнее время начинает использоваться "внутренний язык", который, конечно, не только обозначает границы "чужого" мира, но и делает его почти физически ощутимым. Пожалуй, наиболее естественно и органично (что хорошо видно на примере "Поселка кентавров") это получается у литературы "мифологической школы", поскольку сам ее "метод" уже как бы провоцирует конструирование "внутреннего языка". Миф, как известно, стремится к целостному, "синкретическому" и "синтетическому" постижению мира, и Анатолий Ким, конечно, знает об этом лучше многих других. А потому – "в угоду" жанру – даже несколько утрирует "пластику" своего романа. Но мифологическая "целостность" не может быть достигнута

только лишь традиционными "изобразительными средствами". Она - в каком-то смысле - "сверхцелостность". И поэтому было бы даже странно, если бы, дотошно детализированный, "кинематографически" и "стереоскопически" зримый мир кимовского мифа, где "совсем еще розовый кентавренок, белокурый, с глубокой ложбинкой на отроческой спине... приподняв грибком свой кудрявый хвостик, со смехом несется по дороге, далеко обгоняя пыльное облачко, поднятое его копытами и несомое вслед за ним попутным ветром", а суровая солдата-амазонка, "с толстыми, как бревна, волосатыми ногами, грузная, с наползавшими на края меховых штанишек складками сала на брюхе", после битвы с кентаврами, "приподняв свою левую грудь, вытирает ею лицо, покрытое бранным потом и слезами", - если бы этот мир не был "озвучен" "подлинным", сочным и самобытным - кентаврским словом.

Однако, нетрудно заметить, что "внутренний язык" "Поселка кентавров" существует по несколько иным законам, нежели "внуязы" Виктора Пелевина. И эти различия носят не только индивидуальный, но и более существенный - типологический - характер. Изобретая свой "внутренний язык", так сказать, "для нужд мифа", Анатолий Ким избегает даже тени "этимологичности": впервые увиденному, ни на что не похожему миру необходим и впервые зазвучавший, ни на что не похожий язык. Иначе говоря, слову мифического мира кентавров как бы "запрещено" вызывать хоть какие-нибудь ассоциации с нашей обыденностью. И поэтому есть своя закономерность в том, что к концу романа, когда "пластический" миф выдыхается и вырождается в схематичную (в стиле оруэлловского "Скотного двора") эсхатологическую притчу, "этимология" "внутреннего языка" стано-

вится примитивно "прозрачной". Ким как бы "скачивается" на "пелевинский" путь, и тогда, вместо загадочных словосочетаний вроде ЫРДЫМОР ПЕЛЯРВА НГИФО или МАЛОУ СИЛУНДУ ПИЛОРМЕ, появляется слово ЭНКЕВЕД (сторожевой пёс, эдакий "верный Руслан" в тоталитарном государстве амазонок). В аллегорической притче созданный для мифа "внутренний язык" делается избыточным и ненужным, а если он и продолжает существовать до конца романа, то уже больше по инерции.

Многие "внутренние" слова у Кима так и остаются либо вовсе непереуведенными, либо только смутно угадываемыми в контексте. Так что, если бы кому и пришло в голову привести в систему язык его конелюдей, то полученный в результате "Краткий (около 100 слов) словарь кентаврского" <...> обращал бы на себя внимание обилием пометок типа "непереводим.", "частичн. непереводим.", "вероятн.", "предположит.", при помощи которых предпринимается малоуспешная, в общем-то, попытка "перевода с кентаврского". Но кажется, иного результата не могло и быть. Анатолий Ким, конечно, совершенно сознательно оставляет в тексте лакуны, не проясняя до конца значений большинства кентаврских слов. Он как бы предлагает читателю совершить определенное интеллектуальное усилие, превращающее процесс чтения в цепь маленьких филологических открытий, что сразу отделяет его роман от "как-то гладко проскальзывающей в голову" (В. Пелевин) литературы. Ну, например, точно зная, что слово РЕКЕЛЕ в кентаврском языке означает "муж", "мужчина", можно с большой степенью вероятности предположить, что частично совпадающее с ним в корневой и полностью - в постфиксальной частях - слово КЕЛЕЛЕ - не что иное, как "женщина", "жена"; отсюда прийти к выводу, что содержащее женскую родовую мор-

фему и часто звучащее из уст кентавря слово КЕЛИМЕ значит "мать"; и в результате – перевести испуганное восклицание молодой кентаврицы "УО КЕЛИМЕ!" приблизительно как "ой, мамочки!".

Подобные лингвистические штудии, при всей кажущейся их несерьезности, заставляют читателя в поисках "лаза" вовнутрь как бы пробовать текст наощупь. Трудность "погружения" во "внутренний язык", преодоление своего рода "языкового барьера" вызывают невольную, хотя, быть может, и несколько преувеличенную аналогию с теми препятствиями и опасностями, которые в романе Анатолия Кима встают на пути "исторического" древнего грека, пытающегося сквозь "завесу времен" проникнуть в закрытую для "большого" мира мифическую страну баснословных конелюдей, мужественных амазонок и диких лошадей-ИТАПО. Затрудненность восприятия, бывшая побочной и второстепенной функцией ассоциативного и социализированного "внуяз" Виктора Пелевина, во "внутреннем языке" Анатолия Кима выступает на первый план и как бы довершает "герметизм" кентаврского "миромифа".

Перечисленные особенности "внутреннего языка" "Поселка кентавров" вытекают, пожалуй, из той роли (бремени, ноши), которую берет (взваливает) на себя писатель, создающий (или – пытающийся создать) "нечто мифологическое". Если Виктор Пелевин, конструируя свои бесчисленные миры, всё-таки всегда остается "пересмешником, впрочем, и не претендуя на создание чего-то "первозданного", то Анатолий Ким "космогоничен": он ощущает творческий акт как новое сотворение мира. Поэтому один играет на ассоциациях и подтекстах, монтирует из поблекших слов социальные знаки. И достигаемая при этом многозначность свидетельствует о старческой усталости "материа-

ла". Другой как бы возвращается к началу начал, в эпоху утраченной простоты, впервые дает Вещи Имя, стремясь через "переназвание" добиться "опредмечивания" и "овеществления" слова. И каждое вновь рожденное им имя воспринимается как единственное, как некое п е р в о с л о в о, еще не стертое и не захватанное, не замутненное позднейшими напластованиями смыслов, не утратившее первоначальной полновесности и органической связи с предметом. Поэтому язык кентавров не требует обязательного перевода: нам достаточно знать, что в мире существует имя, чтобы, даже не зная, что оно значит, поверить в реальность существования предмета. Что же касается многозначности слова, то она просто немыслима "в первый день творенья", когда каждый предмет еще имеет только одно имя, а каждое имя – только одно значение. Но, даже и встречаясь иногда в языке кентавров, многозначность говорит о еще не наступившем "расщеплении" понятий, о младенчестве языка, у которого всё в будущем.

Получается, что Виктор Пелевин как бы бродит по руинам литературы, давая и перемешивая осколки "ветхих" текстов, а Анатолий Ким пытается заново создать и упорядочить собственный космос, заполняя в нем пустоты словами собственного изобретения. И тем не менее, несмотря на все различия (чтобы не сказать – противоположности) подходов и установок, обоих можно назвать создателями "внутреннего языка", так как их лингвистические эксперименты "жиждятся" на одних и тех же законах существования "чужого" (или – "нового"), рожденного или сконструированного, слова в тексте. Конечно, такие законы индивидуальны для каждого автора, однако, все они могут быть сведены к трем основным тенденциям, которые, впрочем, зачастую уживаются, чередуются или

сменяются в творчестве одного и того же художника.

Первая, наиболее тесно связанная с реалистической традицией, воспринимает "чужое" слово как неологизм, который стремится "вжиться" в язык, чтобы со временем, в перспективе, "натурализовавшись", стать "своим", "нормальным" его элементом. Подобные метаморфозы произошли (и происходят) со множеством слов, от глагола "трогать" (в значении "волновать", "брать за душу"), "неологичность" которого уже практически не видна, до причастия "прозаседавшиеся", где она еще ощущается, правда, во многом благодаря тому, что само это слово стало как бы эталоном неологизма.

Вторая тенденция склонна рассматривать "чужое" слово не как отдельный элемент, а как часть определенной системы – некоего метаязыка. Такой метаязык, как правило, несет в себе черты революционности и "авангардности", так как неизбежно восстает против традиции, ставит перед собой цель "отменить", "сдать в архив" или "сбросить с Парохода Современности" "обветшавшее" и "одряхлевшее", "допотопное" слово. Он как бы претендует на универсальность, стирая границы между текстом и миром. Его создатели убеждены (или делают вид, что убеждены) в том, что не только они и их персонажи, но и все вокруг говорят, пишут и думают (или – будут говорить, писать и думать) на сделанном ими языке. Однако, эти, столь же грандиозные, сколь и невыполнимые, попытки отличает некоторая "тупиковость" пути. Все "метаязычные" произведения одновременно и начинают, и завершают новую традицию, либо оставаясь (подобно прозе Андрея Платонова) недостижимой литературной вершиной, либо – существуя в истории литературы как некий экзотический курьез (поэтические метаязыки Крученых, Хлебникова, отчасти – раннего Маяковского).

И наконец, третий способ существования "чужого" слова в тексте невольно вызывает в памяти основные принципы эстетики постмодернизма. Если в первых двух случаях "чужое" слово, пусть и разными путями (через "натурализацию" или вместе со всей новой, как бы замещающей прежнюю, системой метаязыка), но одинаково настойчиво стремится стать в тексте "своим", то здесь перед нами новая установка на "чужое" как чужое. В соответствии с этим правилом "внутренние языки" Пелевина и Кима не расположены ни вливаться в текст, чтобы раствориться в нем, ни – напротив – подменять и поглощать его. Они существуют в произведении как текст в тексте, как некое инородное тело, границы "обитания" которого в данной "среде" строго оговорены и неукоснительно соблюдаются. Такое "сбалансированное" (независимое и, в то же время, – подчиненное) положение частей в целом рождает эффект, известный как интертекстуальность: своего рода диалог, при котором отношения, возникающие между "текстами", становятся порой важнее самих "текстов". И "внутренние языки" на этом фоне могут быть восприняты как некий сигнал, как частный случай широкого процесса взаимопроникновения, взаимовлияния и взаимодействия самых разных слоев культуры, процесса уравнивания "книжного" и "жизненного" опыта, процесса, рожающего представление о мире как о книге и о книге как о мире. Ведь похоже, впереди эпоха нового "византизма", когда всё главное уже совершено, и на нашу долю остаются века осмысления, истолкования, комментирования...

* * *

В наивных черно-белых фильмах детства и "наши", и "немцы" разговаривали на одинаково чи-

стом русском языке, старательно придерживаясь норм московской орфографической школы. Потом режиссеров, видимо, смутил этот очевидный нонсенс, и в речи "немцев" постепенно начал усиливаться немецкий же акцент. И только много позже, уже став "цветными", враги получили право говорить с экрана родным языком. Правда, под конвоем копеляновского закадрового перевода. Таков вкратце путь отечественного кинематографа от "первоначальной простоты" к "цветущей сложности" в его, так сказать, лингвистическом аспекте. Короткая история литературного "внуяза" в чем-то повторяет этапы развития билингвизма в кино, хотя и не выглядит столь же однозначно "позитивной".

Что ж, скажут одни, "внутренний язык" – это знак усталости и амортизации слова, которое давно уже значит совсем не то, что оно значит. А следовательно – признак дряхлости и энтропии культуры.

Другие увидят здесь новый виток "диалогизма", закономерный переход "разногласия" в "разноязычие".

Третьи заговорят об одиночестве и отчуждении современного человека, о невидимых, но множющихся социальных, национальных, экономических, религиозных, нравственных, культурных, образовательных, возрастных, классовых и проч. границах, рассекающих общество, больше того – проходящих через сердце и... язык каждого.

Четвертые вспомнят, как стоя погожим октябрьским деньком во дворе старинного особняка на Тверском, спиной к треску автоматных очередей за Пресней и лицом к воркующим парочкам на бульваре, сами оказались границей "параллельных" миров, разговаривающих каждый своим языком.

Пятые укажут на блеск иноязычных реклам и на засилие чуждой им лексики в газете "Коммерсант".

Или так: "Внутренний язык в очередной раз убедительно доказал неисчерпаемое богатство, ум, честь, совесть, а также способность к перманентному развитию великого и могучего, правдивого и свободного русского языка советской эпохи"! Что ж, возможна и такая точка зрения.

Седьмые усмотрят тут всемирную отзывчивость русской души.

Восьмые скажут: евреи...

Девятые: красно-коричневые.

Десятые...

Одиннадцатые...

Двенадцатые...

И что характерно – все будут в чем-то правы. Ведь "внутренний язык", как и всякий язык, – явление непростое, противоречивое и, в принципе, до конца не познаваемое.

Но для полноты картины представим себе еще и вот такой вариант. Однажды вечером, после работы, русские читатели достают из почтовых ящиков русский журнал (допустим "NOVY MIR"), открывают его и читают:

"Они внимали: «ПРОНОРИ КУЫРК АМ КУКЕМБРИ, СОРИМАР ТАНОПО И МАНТЮ ЛЕМГА ВИРЕМБИ ЛАЧАЧА МЯФУ-МЯФУ. ЗОМЕ АМДА МЕНШУ МЕТЬ ЕЛДОРАЙ ПАСИВАСИ ЛЕКЮНТРОПУСКАЙТЕПАРЕК, И ЧЕНГА МИЛЕЙШИЕ Ю МЕНДО, ГАМ ЧЕ САТР НЕ ЕВПАТИ".

И тогда кто-то пожмет плечами: май, мол их там разберет...

А кто-то в ужасе вскрикнет: "уо келиме"!..

СОЛЬВЕЙГ

Наброски к портрету Лариссы Андерсен

1

Изредка я получаю письма от Сольвейг.

Вы скажете, что это невозможно: переписка с легендой, сказкой, мифом. В нашем веке возможно! Так раньше было – для того, чтобы лицо или событие превратились в миф, требовались долгие годы. Но теперь время сжалось и ускорилось. Разве далеки от нас хронологически Николай Гумилев и Анна Ахматова? Тем не менее мы видим их в ореоле мифа. Как и Петербург тех лет, когда создавались "Жемчуга" и "Четки".

Судьбы русских поэтов XX века создают богатую почву для своеобразного, не знающего аналогий мифогенеза. Это относится к поэтам как метрополии, так и диаспоры. "Миф есть чудо", – говорил А. Ф. Лосев. Сегодня таким чудом представляется нам русский поэтический Харбин 20-40-х годов. Положение этого города тогда было двойственно: географически он находился в Китае – и в то же время казался частью России. Ведь здесь давно обосновались россияне, строившие и обслуживавшие КВЖД. Русская колония многократно увеличилась после Гражданской войны. Институты, издательства, церкви, школы: всё это было в эмигрантском Харбине, который жил и функционировал как полноценный русский город. Но только не

было в нем ни КГБ, ни Обллита. И вместо революционных лозунгов висели на его магазинах добротные купеческие вывески с привычными "ять". Время как бы остановилось в Харбине. А мы знаем: это типичный мотив волшебной сказки. Пусть жизнь русских харбинцев была совсем не идиллической – речь сейчас о другом: наше восприятие Харбина – издали, со стороны – неизбежно будет идеализированным. И потому мифотворческим! Это закономерно – и это прекрасно, ибо культура не может существовать без мифа – вне мифа.

В Харбине возникла замечательная поэтическая школа. Очень разных, не похожих друг на друга поэтов взрастила она. И всё же будущий исследователь отметит, что есть в их голосах некая трудно уловимая и определяемая, но явная для чуткого слуха общность – впечатление "гения места". Поэтов пражского "Скита" мы сразу отличаем от поэтов "Парижской ноты". Вот и аура харбинских стихов – особая.

"Молодая Чураевка" – так называлось объединение поэтов Харбина, созданное Алексеем Ачаиrom в 1926 году. Вероятно, он читал тогда роман Г. Гребенщикова "Чураевы" – потому и воспользовался сибирским топонимом: это была игра, каприз – не более того. Чураевка прочно вписалась в духовную жизнь Харбина – она стала питомником для многих талантов. Юные и романтические поэты подчас были склонны мифологизировать реальность. Когда на их горизонте появилась пятнадцатилетняя Ларисса Андерсен, то сразу пошли в ход мифопоэтические ассоциации:

– Сольвейг!

– Джиоконда!

Два эти образа, как бы накладываясь и друг на друга, и на очаровательный прототип, помогают нам представить если не саму Лариссу Андерсен, то

атмосферу восхищения и влюбленности, царившую вокруг нее.

Близость смерти бойцу не редкость –
Через кровь судьба повела,
А тебе что дано от предка,
Кроме синих фиордов глаз?

Это стихи Николая Петереца, влюбленного в Лариссу Андерсен. А вот строки его соперника Георгия Гранина:

Ничего. Веселись и безумствуй.
Ничего, если ты для стихов,
Если ты для с в я т о г о искусства
Не чернила изводишь, а кровь.
Ничего, если даже смешон ты.
Ничего, что в душе кочевой
Только светлая память о ком-то.
Ничего, что крадут Джиоконду:
Ничего. Ничего.

В скандинавском духе воспринял Лариссу Андерсен тогда не намного старший ее Валерий Перелешин:

Вы в Валгалле бойцов ласкали, –
Не о них ли ваш взор скорбит?..

В книге воспоминаний поэта "Два полустанка" есть глава "Сольвейг", из которой мы приведем одно место: "В тот сезон Ларисса Андерсен носила вязаный свитер с двойным воротником и длинные волосы, как у средневековых пажей. На собраниях говорила мало. Когда наступала ее очередь, высказывалась немногословно, но всегда образно и по существу. Щеголяла словечком «вот». А потом опять вязала какую-то блузку или жакетку. И очень внимательно слушала. Почти сразу я увидел, что в Лариссу все были влюблены... Ее скандинавское имя веяло сказками Андерсена (фамилия ее

отца была Андерсон), феями и русалками, и дальше возникали образы Ибсена, и Ларисса воспевалась почти непрерывно, как новоявленная Сольвейг. Скандинавскими образами наполнились все головы и сердца, со всех перьев лились вдохновенные строки о Сольвейг, Сольвейг...”

Казалось бы, стихотворение поэтессы “Северное племя” поддерживает и укрепляет романтизированное восприятие ее образа – однако написано оно явно не с этой целью. Перед нами один из автопортретов Лариссы Андерсен – в нем нет ни капли самолюбования, но есть сложная игра светотени, адекватная рано понятым противоречиям бытия:

Пусть за всё терновою наградой
Нам не рай обещан голубой,
А тоской пронизанная радость
И охваченная счастьем боль.

Строфа целиком строится на оксюморонах. Это не просто прием, а чуткая реакция души на сдвиги и колебания смыслов, вызванные потрясениями века. Вот еще один замечательный оксюморон Лариссы Андерсен:

Живем в густой, стесненной пустоте...

Это не только об эмигрантской судьбе – тут отразилась экзистенция времени.

2

Романтическое начало – и предельная правдивость, искренность: сочетание этих качеств в стихах Лариссы Андерсен тоже напоминает поэтику оксюморона. Ее всегда влекла атмосфера волшебства, сказки, – но и в прозе жизни она находила источник вдохновения. Отсюда удивительная двупланность ее поэзии: вот творимая легенда – а вот действительность без всякого флера. Если тут есть

взаимоотталкивание, то оно сродни природе магнита: между полюсами рождается напряжение настоящего творчества.

Тяжелой, тяжелой мантией
За мною, на мне любовь...

Ясно, что мантия – романтический аксессуар. Но как тонко и точно передают стихи контрапункт чувств!

– Ну что ты такая грустная?
– Я не грустна, а зла.
Я никогда с нагрузкою
Такою вот не жила.
Я убегу, возлюбленный,
Одна, в темноту, в пустырь,
Туда, где над елью срубленной
Подзвездная дышит ширь.
Не жди меня... Не зови хотя б..
Не обещай тепла!
Затем, чтобы, словно нехотя,
Я снова к тебе пришла.

Любовь – это и крест, и счастье. Наверно, бывает не только крестная мука, но и крестное счастье. Именно о таком счастье пишет Ларисса Андерсен:

И закричать, зазвенеть
Ветру, дороге и полю..
Слов человеческих нет
Этому счастью и боли!

Иногда поэтессе грезится обычное – безоблачное – счастье. Но оно всегда оказывается недоступным – подобно воспоминанию, которое нельзя оплотить. Такое счастье – всегда в прошлом. Как золотой век человечества. Как дом далекого детства.

Счастье-то... спряталось в дом украдкой!
Ишь, переполненный счастьем дом.
Ставни тугие зажурил сладко.

вино” – под таким названием она и фигурирует в статье Вертинского (“Шанхайская заря”, 21. 04. 1940, № 4820). Вот некоторые выдержки из нее: “прекрасные и терпкие стихи” <...> “я бы мог без конца цитировать ее” <...> “ее вещи как бы вырезаны из одного целого куска материала”...

“Печальное вино” – это ведь тоже оксюморон. За стилистической фигурой встают судьба, личность. Судьба – интереснейшая, личность – ярчайшая. В ряду русских поэтесс XX века Ларисса Андерсен занимает свое уникальное, неповторимое место.

3

Когда думаешь об ибсеновской Сольвейг, то видишь ее на фоне лунной ночи, – пленительная музыка Грига тоже ассоциируется с этим романтическим освещением.

В стихах Лариссы Андерсен много лунного света. Ее метафоры часто связаны с луной, месяцем – вот одна из них:

Месяц всплыл на небе, золотая,
Легкою палаткой кочевой...

Это месяц кочевий, странствий. Их было много в жизни Лариссы Андерсен. После Харбина и Шанхая – Цейлон и Таити. А теперь – Франция: живет она в маленьком городке Иссанжо, на берегу Верхней Луары.

Вот еще одна метафора:

Новый месяц засмотрится в море
И рассыпет вязанку лучей.

Это строки из стихотворения “Парус”, в котором много южной экзотики: распускаются абрикосы; травы веют пряными запахами. Впрочем, для поэтессы это совсем не экзотика, а естественное

окружение. Сольвейг на юге: странно, парадоксально – и вместе с тем вполне органично. Таков оксюморон судьбы.

Еще один излюбленный образ – цветущая яблоня: в ней поэтесса видит что-то бесконечно родное, близкое. Поэтому стихи о яблоне – одновременно автопортреты.

Сладким, безумным, предсмертным ядом
Яблони майскую ночь поят...

Знаю я – всем нам, цветущим, надо
Прятать в груди этот страшный яд.

В изумительном стихотворении "Зеркала" поэтесса пишет о том, как дробится, расщепляется на самые разные ипостаси ее лик. Это беспощадные по отношению к самой себе стихи. Контрастное письмо здесь достигает предельной выразительности. Смотрите: в одном зеркале отразилось что-то босховское – ужасное, отталкивающее. Но зато в другом, рядом, сияет яблоня:

Одна, как яблоня, в покрове белом...
Да, яблоня... Так кто-то звал меня...

Полнота самоотдачи; безумие счастья; неизбежность гибели: вот о чем из стихов Лариссы Андерсен говорит весенняя яблоня. А через нее – душа большого художника, для которого трагическая диалектика бытия – не отвлеченная философия, а личный опыт.

Настоящая поэзия в чем-то сродни магии. Об этом родстве хорошо знает Ларисса Андерсен. Есть у нее чудесные стихи о волховании, колдовстве, – вот строки из стихотворения "Колдунья":

В темноту моих волос
Ветер впутывает песню, –
Кто ответит на вопрос,
Тот исчезнет, тот исчезнет...

Ритмы древних заклятий воскресают в этих стихах. Таинственная языческая стихия! Поэтесса знает ее власть над собой. Как знает и другое: зов христианства – жажду раскаянья, молитвы.

Надо молиться много,
Долго и не спеша,
Чтоб добралась до Бога,
Как ручеек, душа.

Это строки из стихотворения "Молитва", опубликованного в парижском журнале "Возрождение" (июнь 1970). Призыв: "надо молиться" повторяется здесь шестикратно – с разными наречиями: "часто" – "сильно" – "страстно" – "строго" – "чисто". И в этих стихах есть что-то от заклинаний. Только теперь они звучат не в хижине колдуньи, а скорее в католическом храме – среди экстаза готики. Язычество и христианство: для поэзии между ними нет разрыва – от заклинаний к молитвам сохранно переходит экспрессия ритма. Поэтесса проявляла определенный интерес к Агни Йоге Н. К. Рериха, с которым встречалась лично, – но ее увлекала и проповедь архиепископа Иоанна Шаховского. Это совместимо? Однако духовный мир тоже может быть построен по типу оксюморона.

Ларисса Андерсен не боится противоречий. И не боится прямо говорить о них:

Мне страшно снять монашье платье...
Но сердце – молодой бунтарь,
Не думающий о расплате.

Мы не можем сказать, условны или автобиографичны эти стихи, – однако друг поэтессы Валерий Перелешин в конце тридцатых годов действительно принял монашеский постриг. И он испытал то же самое противоречие: между "суровым уставом" – и "зельем весны". Или духом свободы: для художника он в конечном итоге всегда берет верх. И Ларисса Андерсен тут не исключение:

Я не стану святой и строгой, –
Так привычно моим ногам
Уставать по земным дорогам,
Танцевать по земным лугам.
Я девчонкой в лесу когда-то
Припадала к земной груди,
И пьянит меня даже ладан,
Словно запах лесных гвоздик.

Трижды – причем фактически без пауз – в стихах повторяется эпитет "земной". Небесное во внутренних борениях художника уступило земному? Однако это не привело к обрыву связи с вышним, вечным. Искусству противопоказана бесплотность. Обращая взгляд горé, оно не отрывается от почвы – иначе обесточится, погибнет. Да, художником может овладеть глубокое чувство раскаянья:

Я виновата перед Богом,
Я как растратчик, как банкрот...

Но делать культ из этой вины он не должен. Ведь сцена и мастерская – вовсе не монастырь. Хотя в пространстве оксюморона они могут парадоксально накладываться друг на друга.

Танцевать по земным лугам...

Это сказано не случайно: муза танца в судьбе Лариссы Андерсен действительно спорила с музой поэзии – и порой имела перевес над нею. Ларисса Андерсен снискала славу на подмостках Шанхая как блестящая танцовщица. Быть может, именно в искусстве танца небесное и земное теснее всего переплетаются друг с другом – и поэтому Ларисса Андерсен посвятила себя не только Эрато, но и Терпсихоре.

4

Глядя на портрет молодой Лариссы Андерсен, я вспоминаю строку Бориса Пастернака:

Что сравнится с женской силой?

Речь идет о силе обаяния – Бог сподобил Лариссу Андерсен редкостной красотой. Это добрая, лучезарная красота – в ней нет ничего рокового, демонического. Но ведь и такая красота может сводить с ума, толкая влюбленных на жуткие, фатально непоправимые поступки. Винаваты ли в этом красавицы? Чаще всего нет. Не всякой любви суждено стать взаимной.

Меня всегда корбило от строк Андрея Вознесенского, где он пишет об успехе поэта у женщин:

Доходит до самоубийств..

Будто этим можно гордиться – смертью другого человека.

Суицид в истории поэзии – тема горестная, тяжелая. Русское зарубежье пополняет список метрополии.

Харбин был потрясен этой новостью: два молодых поэта – Георгий Гранин и Сергей Сергин – совместно покончили жизнь самоубийством в гостинице "Нанкин". Первый был сподвижником фашиста К. Родзиевского – второй написал в предсмертной записке: "Слава великому Сталину". Но что для смерти идеологические разногласия?

Мотивы самоубийства двух одаренных юношей для всех остались загадкой. Однако воспоминания В. Перелешина "Два полустанка" многое объясняют в отчаянном поступке Гранина. Мы уже писали о его любви. Кого упрекать в том, что она осталась безответной? Ларисса Николаевна хранит последние письма Гранина – страстные, полные тоски и безнадежности. А в ее альбоме сохранились строки поэта:

Несмотря ни на что:

Через сумерки буден,

Через тысячи лет –

На ветру, без огня, –

Несмотря ни на что! –
Никогда не забудешь,
Никогда не простишь,
Не отвергнешь меня.
13/1-33

Теперь эта печальная история – часть мифа о харбинской Сольвейг.

Много восторженных стихов вписали в альбом Лариссы Андерсен разные поэты. Недавно стараниями Э. Штейна, лучшего знатока поэзии Русского Зарубежья, этот альбом был издан в виде репринта. Уникальному изданию нет цены! Книга "Остров Лариссы" (США. – Антиквариат, 1988) – тоже миф, чудо, легенда.

5

Почему "Остров"? Это – реминисценция: в 1946 году в Шанхае вышла книга под таким названием – быть может, самая необычная и по замыслу, и по структуре в истории русской поэзии.

"Остров" родился в лоне игры.

Это высокая игра – наподобие той, о которой писал в своем романе Герман Гессе. Печать трагизма и силы духа лежит на этой игре.

Вот что об истории "Острова" пишет в предисловии к нему поэт Николай Щеголев: "Два года, каждую пятницу, сходились мы у этого овального стола, на своем искусственном острове, а вокруг бушевала война, свирепствовали японские оккупанты, царил жесточайший моральный и материальный гнет". И далее: "Надо было создавать хотя бы искусственные стимулы и условия для творчества, чтоб не задохнуться в мертвящей атмосфере. И писание на заданные темы, вынимаемые из "урны" (просто-напросто стакана), в порядке «дисциплины», стало одним из условий. Всё-таки стимул!"

Но не будут ли внешние рамки сковывать свободное вдохновение поэта?

Законные сомнения на этот счет развеивает Валерий Перелешин, один их участников "Острова": "Заданная тема только выглядит заданной, а на самом деле поэт остается совершенно свободным, пишет так, как хочет, и о том, что вызывает у него отклики".

Правоту В. Перелешина ощутит каждый, кому доведется прочесть раритетный "Остров". Захватывающее чтение! В книге 20 тем – перечислим их: Дым, Карусель, Кольцо, Камея, Светильник, Море, Химера, Пустыня, Ангел, Феникс, Сквозь цветное стекло, Кошка, Достоевский, Россия, Дом, Зеркало, Колокол, Мы плетем кружева, Поэт, Джиоконда. По предложению В. Перелешина, стихи располагаются "веерами" – по тематическим циклам: авторы сменяют друг друга в алфавитном порядке. Большинство "вееров" открывается стихами Лариссы Андерсен.

Вот как поэтесса развивает тему "Сквозь цветное стекло", отталкиваясь от образов русской сказки:

Но только случилось, что стекла разбила
шальная стрела –
Царевна взглянула, вздохнула, заплакала
и умерла.

Не выдержала прямой встречи с реальностью? Судьба поэтессы оказалась иной: не поступаясь "цветными стеклами" сказки и мифа, она сумела закалить их – и сохранным пронесла по рывтинам жизни.

Ларисса Андерсен – большой поэт. Наполненные сложным движением чувства, ее стихи всегда своеобразны по форме, по интонационному рисунку. В теме любви она проявляет предельную искренность. И уж чего нет в ее стихах, так это же-

манничества и манерничанья – верных признаков “дамской” поэзии. Всё в ее стихах настоящее – и реалии жизни, и “голубое марево”. Дымка мечты, ореол мифа – и это подлинное: потому и не развезлось за долгую и непростую жизнь.

Вот одно из лучших стихотворений поэтессы о любви – “Наш дом”:

Когда-то, с черным котом,
(Что “сам по себе”, у Кипплинга),
Мы жили вдвоем...
И был наш спокойный дом
спокойной любовью к викингам
и книгам
чуть-чуть согрет.
И этот прохладный свет
просторного одиночества
ни для кого мерцал.
Напрасно чьи-то сердца
ловили, словно пророчество,
в стихах моих тайный зной.
Ну как не поймешь, любимый мой,
что мне, тревожной, как бред,
так странно, так трудно в этой новой игре,
на груди человеческой, простой
найти такой...
покой?

Какое свободное дыхание в этих стихах! И еще – высшая непосредственность: знак истинного дарования.

Вернемся к “Острову”. Каждый “веер” в нем воистину полифоничен: тема, объединяющая поэтов, развивается удивительно разнообразно. Не имеем ли мы перед собой редкостный пример соборного творчества? Оно не накладывает никаких ограничений – скорее наоборот: личность расковывается, по-новому проявляет себя в соборном контексте.

Шанхайское содружество поэтов – и поэтов перво-
классных, а не второй руки – тоже будет воспри-
ниматься будущим читателем как прекрасный и
трагический миф.

Вот строки Лариссы Андерсен, открывающие
”веер”, посвященный Джиоконде:

Джиоконда, Джиоконда,
В мире гибнет красота.
Продан мир, торговцу отдан,
Мир не тот и ты не та...

Но Сольвейг Петереца и Джиоконда Гранина не
изменила себе! Через все перипетии века она про-
несла верность поэзии и любовь к жизни.

Там нет чудес и нет участия...
И встанет новый день во зле...
Но жить, но быть какой-то частью
Здесь, на затоптанной земле...

Как захватывает витальная энергия этих строк!
Они из поздних стихов поэтессы: журнал ”Возрож-
дение” (кн. X, 1969) прислан мне автором – бес-
ценная реликвия.

Ларисса Андерсен еще и художник: в одном из
ее пейзажей Верхней Луары мне почудилось что-то
карельское, северное – и я написал ей об этом.
Поэтесса мне ответила, что Карелия манит ее. И это
понятно: ведь она действительно – Сольвейг, дочь
Севера, волею судьбы перенесенная на другие ши-
роты. Нордические мотивы идут у нее из глубины
родовой памяти.

Поэтесса любит природу, животных. Вот она
изображает себя вместе с конем:

Поля и степь... Взгляни вперед, назад...
О, этот ветер, треплющий нам гривы!
Коню и мне. Скажи, ты тоже рад?
Ты так красив! И я, и я красива!

Сколько азарта в этих стихах! И безоглядчивой искренности. И мудрой детскости.

А вот стихи, обращенные к кошке:

Мы – игрушки обе. Обе – ты и я!
Мучай нас, не мучай – мы всегда верны
Древней и дремучей радости весны.

Русские поэты любят писать о животных. Но думается, что мало кто из них входил с ними в столь глубокий и душевный контакт, как это делает Ларисса Андерсен.

Поэтесса умеет живописать словом:

По всем косякам и карнизам
Вскарабкался хмель золотой.

Строки эти – как легкие пергалы: они сами сплошь затканы хмелем – молодым, пьянящим. Слова переплетаются с травами! Так и должно быть в настоящей поэзии.

6

Это всегда радость: письма от Сольвейг.

Ее адрес мне сообщил незадолго до своей кончины В. Ф. Перелешин, бесспорный классик русской поэзии. Жил Валерий Францевич в Бразилии; Ларисса Николаевна давно поселилась во Франции; ксерокопию легендарного "Острова" мне прислали друзья поэтессы из Австралии. Сколь широка амплитуда русского рассеянья! И вот что поразительно: на всех широтах диаспоры с изгнанниками была поэзия – книги русских стихов выходили в Праге и Белграде, Сиднее и Сан-Франциско, Торонто и Рио-де-Жанейро.

Обращением к будущему читателю звучат сегодня строки Лариссы Андерсен:

Кто б у нас ни взял на счастье право,
Эти люди или этот Рок, –

Но тебя я встречу у заставы
Где-нибудь скрестившихся дорог.

Вероятность такой встречи еще недавно казалась ничтожно малой. И всё же она произошла. Это ли не чудесно? У любителя поэзии – настоящее пиршество: дивные стихи возвращаются в Россию из всех точек рассеяния.

Я прохожу по длинной галерее.
Вдоль стен стоят большие зеркала.
Я не смотрю... Иду... Иду скорее...
Но нет конца зиянию стекла.
Я, всюду я. Назойливая свита!
Рабы. Рефлексы. Тени бытия...
Беспрекословной преданностью слиты
С моей судьбою. Так же, как и я.
Стою – стоят. И ждут. И смотрят тупо,
Трусливо безответственность храня, –
Непревзойденно сыгранная труппа
Актеров, представляющих меня.

Я снова цитирую "Зеркала". Великолепные стихи! Пусть в их гранях еще раз отразится цветущая яблоня:

Надо быть всегда и всем довольной...
Месяц – парус, небо – звездный пруд,
И никто не знает, как мне больно
Оттого, что яблони цветут!

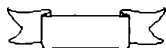
* * *

Вот как автора этих строк вспоминает Ю. Крузенштерн-Петерец: "Лариссе было в то время лет пятнадцать. Тёмные кудри вокруг бледного личика, синие глаза, белое воздушное платье – более воздушной, «яблоневой» девушки я никогда не видел".

Сольвейг среди цветущих яблонь...

Это и реальность, и сказка – нечто действительное и мифоподобное одновременно.

Вот весточка от Сольвейг. Даже не верится! Но теперь я знаю: и в этом мире порой случаются чудеса.



Р. М. ХИН-ГОЛЬДОВСКАЯ

Очарованье старых дневников 1902-1905

От публикатора

В дневниках за предыдущие годы^{*} Рашель Мироновна Хин-Гольдовская рассказывала более всего о людях - великих и просто интересных, которых хорошо знала и беседы с которыми записывала со свойственной ей наблюдательностью и точностью. Перед читателем прошла целая галерея "монстров" своего времени: блистательный адвокат Александр Иванович Урусов, поэт и философ Владимир Соловьев, проницательный и тонкий юрист-психолог Анатолий Федорович Кони, "последний барин" В. И. Танеев, всеобщий любимец Максим Максимович Ковалевский...

Новый век диктует новую тему, ставшую главной для всей России: нарастающее революционное движение и отношение к нему русской интеллигенции. Записи этих лет пронизаны острым ощущением надвигающейся грозы, урагана, "который всё сметет". И хотя по-прежнему происходят литературные и художественные события, - каждое из них всё более окрашивается политическими настроениями. Р. М. Хин-Гольдовская тонко подмечает эти детали. Всё происходящее отодвигает на задний план и ее писательскую работу: ни разу не упоминает она, что вышел сборник ее рассказов "Под гору", забывает записать, что в Малом театре репетируется ее пьеса.

Но "Дневнику" она верна по-прежнему. Особенно хорошо ей пишется в ее маленькой усадьбе Катино, в окружении семьи и близких друзей: А. Ф. Кони, Н. И. Стороженко. "Дневник" сопровождает ее и за границу - в ее любимый Париж или на воды в Германию. И опять интересные встречи с писателями, художниками. Возникают новые портреты, добавляются новые штрихи к портретам уже написанным...

Несколько слов о семье Р. М. Хин-Гольдовской,

Она часто пишет: "мы", "О. Б.", "Миша". О. Б. - второй муж Р. М., известный московский адвокат Онисим Борисович Гольдовский. Миша - Михаил Михайлович Фельдштейн, сын Р. М. от первого брака, тогда студент Московского университета. (В недавней публикации о возвращении Марины Цветаевой в Москву есть такая фраза: "Друг молодости С. Я. Эфрона, ставший впоследствии мужем его сестры Веры, Михаил Фельдштейн, юрист по образованию... был арестован летом 1938 г. " - "Русская мысль", 25-31 августа 1994.)

^{*} См. "Грани" № 163, 1992 и № 173, 1994.

В 20-е годы Р. М. Хин-Гольдовская жила в Москве, на Сивцеве Вражке. Она умерла в 1928 году. Известно, что Надежда Евгеньевна Ауэр оставалась ее верным другом до последних дней. Возможно, что именно она или Миша передали ее архив на государственное хранение, благодаря чему сегодняшний читатель может окунуться в события почти столетней давности, потрясавшие нашу родину.

М. Ситковская

* * *

1902

3 января. Катина.

Вчера Анатолий Федорович (Кони) читал нам вечером свою лекцию "Судебная этика". Очень интересно... Сегодня он будет читать нам свою статью о Владимире Соловьеве. Ан. Фед. в этот приезд как-то особенно мил, уютен и нежно-трогателен со всеми нами. Говорит, что нигде ему не бывает так хорошо и свободно, как в Катине, и нигде он не читает с таким удовольствием, как в "катинском кабинете Р. М.", что тут "даже стены всё понимают, всё слышат, но никогда не выдают"...

4 января. Москва.

Ан. Фед. прочитал нам вчера свое воспоминанье о Владимире Соловьеве. Это замечательно сделано, и читал он великолепно, но... это все-таки не Влад(имир) Серг(еевич). Весь облик превосходен, словечки, движения, смех - и всё же это *не* Вл. Серг. Нет той *сложной простоты* этого бого-и-демоновидца... Думаю, что это задача вообще непосильная, потому что совсем *до конца* - *никто* Влад. Серг. не знал... Думаю, что даже ближайший его друг С. Н. Трубецкой тоже его *до конца* не знал... Да и кого мы можем знать до конца! А Влад. Серг. из всех *человеческих явлений* был самое загадочное...

27 января. Москва.

Была на очень курьезном "фестивале". Вербицкая и Крандиевская (дамы писательницы "dernier cri" и обе "Анастасии")¹ устроили в ресторане "Прага" обед в честь приехавших из Петербурга Михайловского, Вейнберга и Боборыкина².

Обе инициаторши уверяли, что будет только "интимный кружок", чтоб *они* (т. е. чествуемые) сразу почувствовали себя "интимно-интимно"... "не по-петербургски"...

Собралось человек пятьдесят. Большинство друг друга не знало или знало по виду, и поэтому все избегали смотреть друг другу в лицо, косились, сталкиваясь, отворачивались, делая равнодушную мину. Знакомые разбились "по уголкам".

Приехали, наконец, "дорогие гости". Сначала Михайловский, а за ним и Пётр Дмитриевич с Вейнбергом. Их встретили, как водится, аплодисментами. Они раскланивались "улыбчиво". Пошли закусывать - и тут уж не было "официальщины": тыкались вилками в одно место, переливали через край рюмки; балык, семга исчезли в мгновение ока, у кого-то из жадных рук вывалилась коробка с сардинками и хлопнулась на пол. Покончив с закуской, стали рассаживаться. Места заранее не были размечены. В центре, у стола, стояли три курульных кресла для "дорогих гостей". Два кресла поменьше, очевидно, для "Анастасий". А дальше - стулья. Лунц, Энгель, Потемкин, Лепешкина... и мы скромно заняли противоположный конец стола, против "иконоста́са". Но тут ко мне подскочил с одной стороны Гольцев³, а с другой Вербицкая и стали упрашивать меня, чтобы я помогла им "угощать" именитых старцев, что Боборыкин спросил: "Где же Р. М. - la duchesse de Rambouillet⁴? - Вот как он вас величает!" Я, однако, осталась тверда, сказала, что я сижу со знакомыми, а кофе буду пить с Петром Дмитричем. Они были очень недовольны, потому что на главных местах расселись, по-видимому, люди не "интимного" кружка.

Обеденная зала в "Праге" похожа на гроб. Потолок низенький - совсем крышка гроба. И вот, когда все принялись за суп, водворилось такое безнадежное молчанье, что стало даже неловко, жутко. Обедающие только потому не походили на мертвецов, что на них не было покоя смерти - они жевали, глотали, утирали рты... После супа ждали, что кто-нибудь встанет и скажет "словечко", Но никто не произнес ни одного звука, все еще глубже уткнулись в тарелки и ели с таким жаром, точно они до этого три месяца голодали. Подали разварную рыбу в каком-то пресном соусе. Съели. Ну, сейчас кто-нибудь постучит ножом о тарелку и скажет... Как бы не так! Пронесся шепот: где же Гольцев? И ответный шепот: так нализался, что увезли... У "дорогих гостей" недоумевающий вид, Боборыкин явно начинает кипеть. Крандиевская, восседающая рядом с Михайловским, старается не столько звонким, сколько громким голосом вести светский разговор. Подали пересошую

дичь. Съели. Ни звука. Несчастливая Вербицкая перебегает от одного к другому и умоляет: "Ради Бога, скажите хоть что-нибудь! Ведь совестно!.. - "А вы сами-то что ж?.." Она шепчет: "Я не могу первая. Пусть кто-нибудь начнет... Но "начать" не желает никто. Упрашивают Потемкина⁵. Он тоже не хочет говорить "первым". Подают, наконец, скверное мороженое - и в обыкновенные рюмки наливают *тепловатое* шампанское... (Хороша "Прага"!)" Раздается стук ножа. Все облегченно вздыхают и с упованием обращают взоры в ту сторону, где звякнул нож. Подымается огромная фигура - Скалон⁶ из "Русских ведомостей". Он с усилием произносит: "За здоровье дорогих гостей наших... петербургских" - и всей тяжестью опускается на свой стул. Вновь наступает безмолвие. Мороженое съедено. Шампанское в рюмках выпито до последней капли. Встает Вейнберг и благодарит "теплых" москвичей за "теплый" прием (этакий одесский черномор!). Михайловский тоже встал, но повернулся к "теплым" москвичам спиной и разглядывает стену. Все сконфужены и, так как ни есть, ни пить уже нечего - *to puis se donner une contenance*^{*} - началось отчаянное курение. Зала наполнилась тучами дыма. С разных сторон понесся кашель, чиханье... Вербицкая, Крандиевская и Л. Ф. Маклакова⁷ вонзились в публику и стали упрекать каждого порознь за "дикий" прием знаменитых гостей: "Что они о нас подумают! Едят и молчат! Хороши московские литераторы!"... Лидия Филипповна строго спросила меня: "А вы почему ничего не сказали? Боборыкин на вас сильно обижен... *"la duchesse de Rambouillet"*... Хороша!"

- Я не умею говорить, Лидия Филипповна... Ну, а с Петром Дмитриевичем мы как-нибудь помиримся.

Боборыкин подошел ко мне. Он был страшно не в духе:

- Что это, собственно, такое? *Une Academie silencieuse?*^{**} Кто, собственно, нас пригласил?

- Не знаю, Пётр Дмитриевич, меня пригласили Вербицкая и Крандиевская.

- И обед скверный. Я уезжаю. У меня карета. Подвезти вас?

Я поблагодарила и сказала, что останусь еще немножко. Он фыркнул, вздернул голову и, ни с кем не прощаясь, уехал.

* Чтоб сохранить фасон. Здесь и далее перевод с франц.

** Молчаливая академия.

Вербицкая вцепилась за рукав Михайловского, повлекла его на диван, упрасывая, чтобы он "хоть интимно посидел". Какой-то господин из "Русских ведомостей" приступил к нему с вопросами о том, как быть, что делать и что говорить в случае, если у нас произойдет то же, что в Петербурге (т. е. побоище 4 марта⁸). Не следует ли, мол, даже желать, чтобы это произошло поскорее?

Михайловский посмотрел на этого господина с нескрываемым изумлением и уклончиво ответил, что "побоище есть зрелище весьма печальное". Дамы отстранили любопытного господина и стали нежно-нежно просить дорогого Николая Константиновича "сказать им что-нибудь". Михайловский картинно опустил на грудь свою красивую голову и за пустым стаканом произнес что-то вроде речи на тему: читатель не знает писателя, а писатель не знает читателя и сам себя не знает... При иных порядках писатель, может быть, развернулся бы иначе, но при современной действительности все мы "свернутые"... Дальше он сравнивал нас с крынкой молока, с которой хорошая хозяйка, мол, собирает сливки, а мы (кто "мы" - общество? правительство? - я не поняла) эти сливки разбрасываем, бьем, и они неизвестно где пропадают...

Вейнберг на это не то возразил, не то вставил:

- Когда бьют сливки, получается масло, а потому пусть больше бьют...

Польщенная публика разразилась одобрительным хохотом. Какой-то голос мрачно произнес: "Маколей сказал, что каждый народ имеет то правительство, какого он заслуживает". Эта глубокая мысль вызвала несколько меланхолических возражений. После этого Михайловский заявил, что ему пора в театр, откланялся и отбыл вместе с Вейнбергом.

Оставшись на свободе, *свои* стали укорять всех и каждого за неудавшийся банкет. В ответ на эти упреки слышались даже такие резоны, что "нельзя же за три копейки с бархатом". Назначили бы по 10 рублей с персоны, было бы и вино, и шампанское настоящее, и настроение... А то за три целковых с человека вздумали принимать таких "генералов"... Словом, все были недовольны, а Потемкин даже как-будто обижен, почему его не уговорили произнести "спич". Он очень красноречиво и долго объяснял - сколь печально, что русская интеллигенция не умеет отводить душу в обществе своих "властителей дум"...

11 февраля

Уж несколько дней, как у нас студенческие беспорядки. Арестовано, говорят, 850 человек. Грустно это всё до чрезвычайности. Можно подумать, что вся цель студенческих манифестаций сводится к тому, чтобы собрать сходку в актовом зале, пошуметь, впустить в университет полицию, которая препровождает господ студентов в Манеж и оттуда в Бутырки. Это какой-то неизменный цикл, освященный традицией ритуал.

По всей России идет точно волна студенческих выступлений. В Киеве было уличное побоище, были вызваны драгуны и казаки, несколько человек убито, университет и политехникум закрыты. В Харькове тоже в этом роде. Кони мне пишет, что в Петербурге беспорядки всё разгораются и носят явно политический характер. Профессор Ланговой (Сергей Петрович) рассказывал нам, что у них в Техническом училище была в четверг большая сходка. Восемь делегатов явились к директору и от имени товарищей потребовали его на сходку. Директор сказал, что он должен посоветоваться с профессорами. Делегаты дали ему 10 минут на "размышление". Он по телефону запросил попечителя, как поступить. Попечитель разрешил ему идти к студентам. Когда он появился на сходке, студенты заявили ему, что училище закрыто, ибо академической свободы не может быть там, где нет свободы политической. Затем, распевая "Марсельезу" и "Дубинушку", студенты гурьбой вывалили на двор, разложили там костер и сожгли "Временные правила". Совершив этот гражданский акт, они пришли в инспекторскую и затянули хором *панихиду*... перепуганным членам инспекции!

В университете сходка происходила в субботу. Уже с двух часов Моховая, Никитская, Тверская и Манеж были оцеплены конными жандармами. Булдин Иван Алексеевич вчера рассказывал у Стороженки, что в два часа его еще пропустили в университет. Сначала пристав не хотел его пускать и сказал, что он обратится к генералу, т. е. к Трепову⁹. Трепов спросил: - Какое вы имеете отношение к университету? - Я там преподаю, - кротко ответил Ив. Ал. "Пропустить" - распорядился Трепов и тут же грозно прибавил: "Но если ваша личность не будет удостоверена, мы вас арестуем"... Веселовского и Иванова в три часа уже не пустили. Между тем, 600 студентов заперлись в Актовом зале, объявив, что они просидят там до утра. Вечером полиция предложила им *добровольно* перейти в Манеж, дав на размышление 20 минут. По истечении этого срока полиция

взломала двери, и студенты были препровождены в Манеж *силой*. Даже профессоров, остававшихся в здании университета, выпускали "на волю" не без затруднений.

На женских курсах тоже волнения. Курсистки выгнали из аудитории... самого Владимира Ивановича Герье¹⁰! После этого "подвига" они тоже очутились в Манеже и Бутырках. Арестовано несколько гимназистов. Мальчикам сунули "прокламации", они их стали громогласно читать товарищам... Ну, и готово! Вообще - российский кавардак! Из этого ничего *хорошего* выйти не может. Вместо взрослых и смелых манифестируют юноши и дети...

Очень болен Толстой. В газетах эти дни были самые тревожные бюллетени. Если Лев Николаевич умрет *теперь* - могут разыгаться большие скандалы. Атмосфера до крайности напряженная. Нелепая страна - наша Россия. Всё в ней происходит не во время и некстати - либо слишком рано, либо слишком поздно..

18 февраля. Катино.

Вырвалась сюда, чтобы хоть немного передохнуть...

В Москве происходит что-то невообразимое. Студенческая история принимает скверный и неожиданный оборот. Мало того, что все участвовавшие на сходке 9-го исключены из университета (об этом в "Правительственном вестнике" уже опубликован приказ Ванновского¹¹). Но они переданы в "распоряжение" гражданских властей - их ждет очень суровая административная кара...

12 марта. Москва.

"Московские ведомости" выпустили в добавление "Правительственное сообщение" с приговором по студенческим беспорядкам. 25 человек передаются "в распоряжение" Иркутского губернатора (на сроки) от двух до пяти лет. 567 человек приговорены к заключению в Архангельскую тюрьму сроком от 3-х до 6-ти месяцев. 14 человек освобождены. Это в Москве.

На той неделе в почетные члены Академии по разряду изящной словесности был избран Горький. А через несколько дней появилось правительственное разъяснение, что выборы следует считать "недействительными", ибо Академия Наук не была осведомлена, что Алексей Пешков находится под след-

ствии по какой-то статье... Это, по крайней мере, пикантно... Чехов и Короленко, возмущенные такой наглостью, отказались от звания почетных академиков. Бедный Ан. Фед. Кони! Ему должно быть ужасно неловко. Хорошо Чехову и Короленке - взяли и вышли... Ну, а сенатору, особе 4-го класса, это не так-то легко.

8 апреля. Катино.

Совсем закружилась. В Катино мы приехали вчера. В Петербурге провела 4 дня. Перевидала много народу. Ан. Фед. - каждый день и даже по два раза в день. Ан. Фед. мне страшно обрадовался... "А ведь недурно, что милая Надежда Евгеньевна (Ауэр) переселилась в Париж, - говорил он с лукавой усмешкой, потирая руки, - теперь, когда вы в Петербурге, можно вас видеть вне ауэровского "окружения". Вы не думайте, - прибавил он, - что я не люблю Над. Евг... Она очаровательна, а в молодости была прямо неотразима, но... *châtelaine** ближе моему усталому сердцу..." - и тому подобные *gentillesse*s. Я обещала "подарить" ему целый вечер. О(нисим) Б(орисович) был занят на какой-то важной консультации и должен был за мной приехать часов в 12.

Ан. Фед. приготовил "парадный чай". Серебряный самовар, тонкий фарфор, серебряный чайник, пирожные, великолепные фрукты, конфеты, варенье... Катя с улыбкой, в накрахмаленном платье и белоснежном фартуке с прошивками, положив на стол шитое полотенце и какие-то невиданные "салфеточки", сказала:

- Похозяйничайте у Ан. Фед., а то им после Катина не угодишь...

И хотела исчезнуть. Я ее удержала, расспросила про детей, про мужа и сказала, что в Катине такого "парада" никогда не бывало, что у нас и "накрывать по-петербургски не умеют". Она поблагодарила за внимание и удалилась. Ан. Фед. *s'est mis en frais***, чтоб мне было приятно, рассказывал самые животрепещущие новости, читал самые заветные страницы из своих мемуаров, усадил меня в недавно им приобретенное какое-то особенно покойное кресло. Потекли интересные воспоминания,

* хозяйка поместья.

** постарался.

цитаты, анекдоты... Меня немного удивило, что он всё поглядывал на часы. Я спросила: "Ан. Фед., может быть, вам надо ехать или заниматься? Пожалуйста, не церемоньтесь. Я отлично доеду до гостиницы"...

- Совсем не то, - сказал Ан. Фед., - я должен вам признаться в маленькой интриге. Обещайте, что не будете сердиться.

- Ничего не обещаю... Говорите скорей, какую вы мне уготовили западню?

Он засмеялся.

- Я обещал графу Гейдену¹² познакомить его с вами. Граф Пётр Александрович - один из самых близких моих друзей и редкостный человек. Я уверен, что он вам понравится. Вы будете довольны.

Раздался звонок - и через минуту в комнату вошел стройный старик, седой, горбоносый, с белыми расчесанными бакенбардами и живыми, умными глазами. После обмена условными приветствиями мы перешли из кабинета опять в столовую. Катя внесла опять кипящий самовар. Я заварила свежий чай. Ан. Фед. спросил Гейдена:

- Ты ведь пьешь чай черный, как пиво?

Старик весело засмеялся:

- Еще черней! Для меня чай не может быть достаточно крепок и сладок, - отнесся он ко мне.

Я налила ему и Ан. Фед. Через пять минут все мы были в оживленной беседе. Разговор вел граф. Он сейчас же стал рассказывать об "инцидентах" на кустарном съезде, только что закончившемся и на котором он председательствовал...

Потом оба старика принялись наперебыв угощать меня воспоминаниями о том, что "было и бывшем поросло", о "трех императорах", в царствование которых прошла их "служба" - и Гейден, покачив головой, сказал, что нынешнее царствование *роковое*... Я спросила, действительно ли государь так ограничен, как о нем говорят.

- Это совершенно неверное представление, - сказал Гейден, - было бы гораздо лучше, если бы он был просто дурак. Но нет! Он - хитрый византиец, на него никогда и ни в чем нельзя положиться; ему нельзя верить; он - *не джентльмен*! И злой, действительно злой. Правда? (Ан. Федорычу).

1903 г.

26 февраля. Италия (Ospedaletti).

Был у нас как-то М. М. Ковалевский¹³. Приехал неожиданно, когда "пансион" уже ужинал. Когда его огромная фигура ввалилась в столовую - русские его узнали, стали перешептываться, через несколько минут все взоры обратились на наш столик в углу - и Гульельмина (наш хозяин), которому я наскоро заказала разные "extra", весь растаял от почтения к такому видному гостю... А Максим Максимыч точно не замечал общего внимания, - ел, шутил, рассказывал новости, смеялся своим раскатистым барским смехом собственным остроумам, звал нас скорее к себе в Болье...

Так приятно всегда видеть этого умного, доброго, блестящего и такого простого человека, которому даже никто, кажется, не завидует - до того он мил. Ему прощают и лукавство, и жуирство, и богатство, и беспечность, вероятно, за его природную щедрость. С ним на редкость легко. Счастливцев и удачников во всех отношениях...

Прочла пьесу Горького "На дне". Очень колоритная мелодрама. Положительное лицо пьесы - Лука - бледный слепок с толстовского Акима¹⁴.

12 марта. Париж.

Четвертый день в Париже у Н(адежды) Е(вгеньевны). Ни минуты свободной. Занята с утра до ночи. Бегаю, слоняюсь, болтаю, смеюсь и не могу наглядеться на этот волшебный любимый город...

16 марта.

Была в мастерской у Бернштейн-Синаева. Хороший скульптор. Мне понравилась монументальная Ева, кормящая грудью маленького Авеля, на которого уже с завистью, злобно смотрит старший брат. Бюсты наших "высочайших" особ (очень хорошенькая вел. кн. Елена Владимировна, но ничего "августейшего"), а между ними какие-то ничего с ними общего не имеющие - вульгарные, горбоносые, толстогубые головы. Я удивилась и спросила: "Qui est-ce?" Бернштейн-Синаев добродушно

расхохотался: "Mais!.. Se sont des "sacs", chère Madame, vos millionnaires - les Poliakov, les Vissotski..."*.

Провела очень приятный вечер у художницы Елизаветы Сергеевны Кругликовой. Елиз. Серг. уже немолодая, умная, милая, живая и очень талантливая. Она давно живет в Париже, и все (т. е. русская и французская артистическая молодежь) - очень ее любят. В ее мастерской на rue Boissinade по субботам бывает масса народу. Тут и пляшут, и поют, и беседуют на самые разнокалиберные темы, разыгрывают сцены, очень забавные: смесь русского Петрушки с французским *Guignol* - коллективное творчество литераторов и художников - приятелей Елиз. Серг. и Макса Волошина¹⁵ (они очень дружны).

18 апреля. Москва.

Вчера был Аким Волынский. Этот *enfant terrible* российской критики производит на яву лучшее впечатление, чем на столбцах "Северного вестника". Сухое, желтое, аскетическое лицо, с прыгающими умными и совсем не аскетическими глазами. Несомненно, образованный человек, имеющий *свои* мысли. Если б не его "верченый" стиль, он был бы совсем приемлем.

19 апреля.

В Кишиневе произошел чудовищный погром. В течение трех суток - на Пасху - грабили и убивали евреев. По официальным сообщениям, людей выкидывали из верхних этажей на мостовую, насиловали женщин, "наносили удары, как по каменным стенам". По частным письмам: детям *выкалывали* глаза и бросали их в отхожие места. Полиция бездействовала. Несмотря на то, что о погроме все в городе говорили, еще *Постом ждали его*, несмотря на то, что видные представители еврейского общества обращались к губернатору с просьбой принять меры для предупреждения "бесчинств" - губернатор решительно ничего не предпринял. Газета "Бессарабец" каждый день разжигала и науськивала чернь на евреев. Во время погрома христиане, "интеллигенты", в праздничных нарядах рас-

* - Кто это? - Это "мешки" - ваши миллионеры... Поляковы, Высоцкие..

хаживали и разъезжали по городу и *смотрели*, как бьют жидов. Никто не заступился. Всем было всё равно. По газетам, убитых 45 человек, по частным (письмам) - больше трехсот... Какой срам!

1 мая. Катино.

Кишиневский ужас, бесстыдное "правительственное сообщение о "беспорядках", совершенных "темной толпой", улюлюканье нашей замечательно консервативной прессы и рабское равнодушие общества... "Новое время" почти хвалит погромщиков: это, мол, разгулявшееся русское молодечество, "которое устало терпеть жидовскую эксплуатацию"...

Отозвался Толстой. Стороженко послал ему текст телеграммы, которую предполагалось послать городскому голове Кишинева с выражением сочувствия жертвам. Толстой согласился дать свою подпись и даже прислал собственный текст, который гораздо лучше того, что ему предлагали.

7 мая.

А Толстой пожалел даже о своем "телеграфном" сочувствии кишиневским евреям - и прибавил к нему "послесловие" в виде письма к Д. С. Шору¹⁶. В этом письме он заявляет, что не настолько знаком с еврейским вопросом, чтобы выступать печатно. Кишиневское позорище настолько вышло из "нормы", что *замолчать* его невозможно, и общественный котел кипит и брызжет в разные стороны. Горький написал очень горячую и искреннюю статью в "Курьер". Настоящее воззвание. Сомнительно, однако, чтобы цензура его пропустила.

Очень хорошее слово на тему "о кишиневских зверствах" произнес житомирский епископ Антоний. Настоящая проповедь христианского пастыря - живая, добрая, умная и сильная. Иоанн Кронштадтский тоже произнес слово, но крайне шаблонное.

В либеральной прессе - филантропическая размазня, а в нелиберальной - обычное шулерство.

16 мая.

В Кишиневе происходило что-то выходящее из пределов наших русских безобразий. Какой-то садизм в жестокости. Пишут, что полотно мочили в еврейской крови и из этого "материала" делали флаги. Одного старика-еврея заставили топтать

ногами Тору - и, когда он не согласился, облили его керосином, зажгли, подвесили и рвали перед ним Тору с гиканьем и свистом... Это уже не испанские костры инквизиции *ad maiorem Dei gloriam**, а какой-то бесовский шабаш...

А Лев Николаевич написал Шору, что он "не публицист" и не может откликаться на "злобу дня"... А Толстой ведь гений, учитель жизни, апостол очищенного христианства, как считают его последователи. Покойный Вл. Соловьев говорил, что Лев Николаевич считает себя выше Христа. И вот, произошло страшное событие, кровавая оргия, каннибальская тризна над убитыми стариками, женщинами, детьми. Епископ Антоний содрогнулся и крикнул безумцам: "Очнитесь, людоеды!.." А Лев Толстой, отвергающий всех попов, все церкви, все армии, государство, проповедующий любовь ко всем людям и к каждому человеку в отдельности, проповедующий, что каждый человек послан на землю Богом-Отцом для совершения предназначенной ему работы, - вдруг, когда совершилось ужаснейшее злодеяние, забывает свою проповедь и пишет Шору, что он "не публицист", что он любит евреев как братьев, так как все люди - дети единого Бога-Отца, но заступаться за них не может, т. к. он в еврейском вопросе не "специалист"... И это говорит тот самый Толстой, который разносит франко-прусский союз, издевается над судом, поносит за "прелюбодеяние" с Жироном принцессу Луизу, презирует науку, громит либералов, искусство, Синод, правительство, защищает духоборов, штундистов. Но разве всё это - не "злобы дня"? И разве он во всех этих "вопросах" - "специалист"? Неужели только, когда убивают евреев, Лев Николаевич вдруг становится "некомпетентен"... Это, впрочем, не помешало ему сказать, что "Дрейфусы" всегда виноваты"... Ничего не понимаю - ничего!

20 июня. Париж.

Сегодня за чаем Надежда Евгеньевна рассказала (и просила меня записать) прелестный эпизод из своего раннего знакомства с Влад. Серг. Соловьевым.

Это было в 1878 или 79 году. Отец Н. Е. - Евгений Венцеславович Пеликан, бывший в то время директором Медицин-

* Во славу Всевышнего (лат.).

ского департамента, захворал и отправился на продолжительный отдых в Италию. Его сопровождали: Над. Евг., подруга ее Манечка Трапп, камердинер Евг. Венц. и доктор Штейнберг, один из бесчисленных proteges Пеликана.

Перед самым отъездом Штейнберг как факт, не подлежащий обсуждению, сказал, что он берет с собой сына, 8-летнего мальчика. На возражение Евг. Венц., что ввиду его припадков, которые трудно предвидеть, ребенка, пожалуй, брать неудобно:

- Вы будете заняты при мне, и кто же будет следить за вашим сыном?

- Пустяки! - невозмутимо заметил Штейнберг. - Когда я буду занят при вас, за Сашей могут присмотреть Над. Евг. или Марья Юльевна.

Посхали. В Вене, к изумлению всего отеля, Саша вышел гулять в красной рубашке, без штанишек и босиком. Над. Евг. сказала, что такой туалет неудобен... "Пустяки! - возразил доктор. - Ребенок привык так ходить летом. Не стану же я его стеснять из-за предрассудков каких-то бюргеров"...

На Манечку Трапп, за ее просьбу внушить Саше более приличную манеру заявлять о своих "нуждах", Штейнберг раскричался:

- Неужели вы так глупы, что не понимаете, что ребенок *не должен* скрывать свою нужду, что это вредно для здоровья ребенка... - и т. д.

Над. Евг. и Манечка сердились на "нигилиста"-доктора. Евг. Венц. забавляли их стычки, он добродушно смеялся и мирил оба враждующие лагеря - и всё это шло терпимо, пока в Италии к ним не присоединился Влад. Серг. Соловьев.

А случилось это так. Влад. Серг. проигрался в пух в Монте Карло. У него в кармане оставалось два франка, и он решил обратиться к русскому консулу в Ницце, рассказать откровенно, в чем дело - и просить денег на дорогу в Россию. Уходя из казино, он купил две чудные розы у хорошенькой цветочницы, вдел их в петлицу сюртука и отдал цветочнице последние два франка. Та, пораженная щедростью прекрасного иностранца, не переставала приседать, награждая его всеми титулами, пока он не скрылся из глаз. Представ пред ясные очи русского консула, он чистосердечно покаялся в своем беспутстве и просил дать ему денег на дорогу до Москвы или Петербурга, обещая немедленно вернуть всю сумму.

- У меня сейчас нет ни сантима, господин консул. Последние два франка я отдал за эти розы.

Консул поглядел на него, как на сумасшедшего.

- Кто же здесь платит по франку за розу, - воскликнул он. - Это Бог знает что! Скажите, - продолжал он после краткой паузы, - вы не состоите в родстве со знаменитым историком Соловьевым?

- Я его младший сын, - скромно ответил Влад. Серг.

Консул был, очевидно, потрясен...

- У такого отца и такой легкомысленный сын, - произнес он, качая головой, но уже гораздо приветливей, - и выразил готовность помочь "молодому человеку". Не сомневаясь в талантах молодого человека, но не доверяя твердости его характера, консул предложил дать ему билет до Вены, где его встретит чиновник русского посольства, который ему вручит билет до Москвы и некоторую сумму на содержание.

Этот план не понравился Влад. Серг. и он сказал, что будет себя чувствовать в карцере. Тогда консул предложил ему обратиться к кому-нибудь из русских знакомых и дал ему "лист" пребывающих в Италии россиян. Увидав, что в Неаполе находится с дочерью Евг. Венц. Пеликан, Влад. Серг. обрадовался и тут же написал ему письмо и телеграмму, предоставив консулу их отослать. В ответ был получен денежный перевод и настоятельное приглашение в Неаполь. Консул был умилен и до отъезда не переставал его "содержать", категорически отказываясь от всякого "возмещения". Так это и должно было кончиться: когда консул провел в обществе этого "легкомысленного" молодого человека три дня, он был им так очарован, что простил ему и рулетку, и цветочницу, и всё...

Таким образом, Влад. Серг. очутился у Пеликана, который встретил его "*comme un don des Dieux*". Владимиру Сергеевичу было тогда 23 года. Над. Евг. говорит, что он был так божественно красив, что ни один человек не мог пройти мимо него, не оглянувшись... Остроумен, очарователен, добр и обаятелен так, что пленял всех одним своим появлением. Уже тогда, в юноше, чувствовалось это присутствие *высшей* силы...

Манечка Трапп, конечно, сейчас же в него влюбилась, а

* Дар богов.

Н. Е. не влюбилась только потому, что была влюблена в "Польди"¹⁷... "Et papa l'admirait, l'adorait, le gatait et etait en perpetuelle extase devant ce jeune Dieu".

Зато доктор Штейнберг возненавидел Влад. Серг. с первого же разу, завидовал ему, говорил ему грубости, ревновал, что дамы за этим "пустозвоном" ухаживают, называл его "купидоном" и т. д. Из Неаполя молодежь стала предпринимать экскурсии. Собрались на Везувий. Штейнберг в этой экскурсии не участвовал, так как Пеликан не особенно хорошо себя чувствовал. Отправились Соловьев, Над. Евг., Манечка Трапп, молодой ученый Фишер и приехавший в Неаполь приятель Влад. Серг. - Калачев. Тогда еще не было фуникулера. Ехали на лошадях, с гидами, а к кратеру (как и теперь) поднимались гуськом, привязанные к гидам. Когда стали спускаться, Соловьев, по своему обыкновению, дал гидам вдвое больше на чай, чем остальные. Фишер рассердился: "Зачем вы это делаете, Соловьев? Теперь они к вам пристанут".

Действительно, гиды накинулись на их компанию. Они кое-как уселись в коляску и уехали. Тогда гиды окружили Соловьева и разногласным хором протягивали к нему руки, орали, что он должен расплатиться за своих "amici". Желая их успокоить, Владимир Сергеевич роздал им все бывшие у него деньги. Итальянцы не унимались. Тогда он бросил им свой пустой кошелек, прыгнул в первую оказавшуюся подле него тележку и покатил вниз... один, без кучера! Вместо того, чтобы спускаться медленно (тропинки застывшей лавы тянутся вдоль горы капризными зизгагами), он помчался вскачь, не разбирая по близорукости дороги. Вдруг Над. Евг. заметила, что сидевший против нее в коляске Фишер очень побледнел. Она оглянулась назад и, увидав летящего вниз Соловьева, закричала: - Боже, он сейчас... - Она не успела сказать "упадет", как Влад. Серг. уже перелетел через голову лошади и лежал на земле. Все, конечно, бросились к нему. Он лежал на земле бледный, как труп, с посиневшими губами и хохотал, всхлипывая... Из его глаз струились слезы, а из разорванной вдоль всей ноги штанины сочилась кровь... Послали вниз Фишера за Штейнбергом. Он явился разъяренный, бормоча: - Конечно,

* А папа его обожал, восторгался им, баловал и находился в непрерывном экстазе перед этим юным богом.

этот болван не мог не "убиться", - и т. п. "любезные" слова. Кое-как он перевязал ногу, но, когда Фишер, Калачев и Манечка Трапп подняли Влад. Серг. и понесли в коляску, доктор не помогал. Шагом дотащились до отеля. Тут доктор объявил, что он "с этим дураком возиться не намерен" - и, точно ничего не случилось, пошел за табльдот обедать. Дамы, возмущенные доктором, обедать не пошли и остались при Влад. Серг.

На другой день надо было уезжать в Сорренто. Пеликан сам осмотрел и перевязал Соловьева и позвал к нему доктор-итальянца, которому поручил за ним наблюдать. Штейнберг был в восторге, что Соловьев ехать не может и что от него, наконец, "отвяжутся"... Манечка Трапп была в отчаянии. Евг. Венц. сказал дочери: "Знаешь, это, может быть, к лучшему. Взял я Манечку Трапп на свою ответственность. Она уж слишком увлекается Соловьевым, а ведь он на ней не женится. Si elle s'emballé tout-a-fait, que dira son pere?"

Над. Евг., чтоб поддразнить Штейнберга, сказала, что она, как женщина, может остаться при Соловьеве, а остальные пусть уезжают. На это Штейнберг заметил: - У вашего отца каждую минуту может быть удар, Вы оставили мужа и шестимесячного ребенка... И всё это, чтобы ухаживать за Соловьевым. Отлично!

Все, разумеется, уехали в Сорренто, оставив при Влад. Серг. - Калачева.

Прошел день. Вдруг на двор отеля, где остановились Пеликаны, въехала коляска, в ней на матрасе лежал Соловьев, а рядом с ним сидел Калачев... Тут уж ухаживанье за интересным больным приняло гомерические размеры. Комната его была полна цветов. Дамы от него не отходили. Евг. Венц. читал ему газеты и дремал около него в кресле. Штейнберг бесился. Лечил Влад. Серг. очень милый доктор-итальянец под наблюдением самого Евг. Венц.

Но так как безоблачных идиллий нет на земле, то в один прекрасный день в комнату Над. Евг. в слезах вбежала Манечка Трапп и на тревожные вопросы, что с ней, бросилась на шею Над. Евг. и, рыдая, стала рассказывать:

- Влад. Серг... я ему читала... Он взял меня за руку и сказал: вы такая милая... вы такая чудная... ваш муж будет самым

* Если она совсем втюрится, что скажет ее отец?

счастливым человеком... И я прошу у вас руки... - Тут, понимаешь, Nadine, я вся задрожала, а он... а он вдруг говорит: для моего друга Феди Калачева! Он сам не решается... Ох-ох-ох! Я вскочила и убежала... Ох, я глупая, несчастная! Что он обо мне теперь будет думать!..

Когда Над. Евг. упрекала Влад. Серг. за этот "пассаж", он изумленно воскликнул:

- Да неужели она в меня влюбилась?

- Конечно.

- Не может быть! Ха-ха-ха... - и он долго смеялся своим всхлипывающим, неудержимым смехом...

А эпилог?

Манечка Трапп вышла замуж за немца и была очень несчастна. Над. Евг. прошла через все испытания. Доктор Штейнберг был недавно у Онисима Борисовича. Это седой бодрый старик, известный психиатр. Он производит очень приятное впечатление.

А божественный Владимир спит вечным сном на кладбище Новодевичьего монастыря, рядом со своим отцом... Но он ведь бессмертен...

9 ноября. Москва.

Может быть, поеду в Петербург на юбилей Короленко. Хочу посмотреть наших "властителей дум" оптом...

16 ноября.

Вернулась из Петербурга. Устала страшно. Удовольствия получила мало, но любопытного было довольно. Прежде всего, конечно, чествование Короленко. Происходило оно в зале ресторана Контана. Народу было 450 человек. Масса столов, едва можно было продвигаться. Публика смешанная. Коренные петербуржцы, выложенные, во фраках, несколько москвичей, тоже во фраках, остальные посерее, в сюртуках, и таких большинство. Много дам. Несколько красивых женских туалетов, несколько смелых décoltés.

Когда в зал вошел Короленко, все поднялись и приветствовали его шумными дружными аплодисментами. Он раскланивался с милой, смущенной улыбкой, пожимал на ходу руки, с некоторыми обнимался и целовался - всё это, пробираясь в сопровождении Вейнберга к центральному столу. Мы сидели за вторым столом, параллельно центральному.

Короленко среди "нотаблей" сидел против нас, так что мы его отлично видели и слышали.

После рыбы Вейнберг произнес банальный спич, хвалил Короленко как молодого(!) писателя, хвалил его жену. Конечно, все умильно хлопали. Вдруг - не столько послышалось, сколько почувствовалось какое-то странное движение. Все невольно оглянулись и с изумлением увидали, что арки, ведущие из вестибюля в залу, буквально залиты молодежью. За минуту до этого никого не было. Как и когда они появились - никто не понимал. Тут были мундиры всех высших учебных заведений (кроме лицеев), барышни и курсистки в скромных платьях и гладких прическах. Точно вешняя вода, они стали растекаться по зале. Это было эффектное и приятное зрелище, но оно до крайности встревожило организаторов банкета. Вейнберг вскочил со своего председательского места и стал метаться от одной группы молодежи к другой, жестикулируя, по-видимому, в чем-то убеждая; но, очевидно, безуспешно. У студентов и барышень в руках были папки, они показывали их Вейнбергу, но он только отмахивался и, сердито потрясая лысой головой и длинной бородой, - побежал назад, на свое место. Не садясь, он закричал на всю залу: "Господа студенты и барышни! Я прошу вас разместиться вдоль стен. Если же кто этого не желает, те могут уйти совсем"...

Наступило тяжелое молчанье... Оно длилось минуту, может быть, меньше... Затем молодежь, как огромная волна, колыхнулась по направлению к выходу. Какой-то небольшого роста черноволосый студент, подняв над головой папку, взволнованным голосом воскликнул: "Господа, мы уходим! Мы заявляем, что ничего не имеем против Владимира Галактионовича Короленко, которого мы пришли чествовать, но мы считаем себя оскорбленными Литературным Фондом, председатель которого обошелся с нами так неделикатно". Молодая волна, словно сдерживая вздохами гнев и возмущение, начала медленно выкатываться из залы...

Среди замолкнувшей ошеломленной публики вдруг пронесся глухой ропот, всё громче, дружнее; сюртуки и фраки поднялись со своих стульев, раздались голоса: "Останьтесь, останьтесь, просим молодежь остаться с нами!" А по направлению к Вейнбергу послышались крики: "Это безобразие!"

Молодежь остановилась в недоумении - куда же ей идти?

Тогда поднялся Короленко и мягким, примиряющим голосом стал звать: "Господа! Я вас всех прошу! Здесь произошло явное недоразумение. Нам дороги все здесь присутствующие и всем нам, конечно, дорога молодежь. Если у Петра Исаевича и сорвалось, может быть, какое-нибудь неосторожное слово, которого я, впрочем, не слышал, то этому не надо придавать такого значения. Пожалуйста, останьтесь!"

Тут опять вскочил Вейнберг и, бледный, с дрожащей челюстью, закричал: "Позвольте! Я считаю себя оскорбленным! Если почтеннейшая публика могла так меня понять, то я слагаю с себя председательство и уезжаю!" С этими словами он бросил на стол салфетку, отодвинул кресло и быстрым шагом стал удаляться... За ним кинулся Анненский¹⁸ и еще кто-то, схватили его за руки, умоляя, но упрямый старик только качал головой, повидимому, не сдаваясь ни на какие увещания...

Бедный Короленко, грустно взиравший на эту группу, вздыхая, пошел на помощь к увещателям, и втроем они, наконец, водворили Вейнберга на место. Когда шум стих, Анненский, волнуясь и жестикулируя, заявил: "Да! Не молодежь, а мы, старики, оскорблены. Если на то пошло, я скажу вам правду. Почему не могло состояться утром чествование и прием депутатов в Тенишевском училище? Потому что полиция потребовала, чтобы не было молодежи... А мы, - патетически воскликнул Анненский, - заявили, что для русской литературы нет праздника без молодежи и что мы предпочитаем совсем отказаться от чествования и решили ограничиться обедом. И вот, теперь, когда у Петра Исаевича сорвалось неосторожное слово, которого я тоже, впрочем, не слышал, молодежь без колебания наносит нам, старикам, оскорбление..."

За Анненским опять поднялся Вейнберг и произнес: "Я всю жизнь заступался за молодежь и вот!" - от слез он не может продолжать и, умолкнув, опускается на кресло. Зала сочувственно аплодирует, особенно хлопает молодежь...

Короленко воспользовался первой паузой и произнес своим примиряющим голосом:

- Господа! Недоразумение можно считать поконченным. Разместимся по русской пословице - в тесноте, да не в обиде...

27 ноября.

Грязно, слякоть. Зимы нет. До сих пор ездят на колесах. Время тянется глупо... Прошное воскресенье в Обществе любии-

телей российской словесности должен был читать Леонид Андреев. Заседание не могло состояться, потому что студенты, не довольные тем, что им дали мало билетов, столпились на университетском крыльце, заслонили двери и никого, даже нас, членов Общества, не пропускали, несмотря на все увещевания. Мы с Леонидом Андреевым стояли на дворе и обменивались впечатлениями по поводу этой обструкции. Группа студентов обступила Леонида Андреева: "Мы хотим вас слушать, а любители-губители нас не пускают". Л. Андреев, сконфуженный, красный, запинаясь стал говорить, что он повторит чтение специально для студентов. Но... делегаты заявили: "Нет! Мы просим вас читать для нас сегодня, а завтра можете для "них"(!!!)

Так все и разъехались.

1904

26 января.

Война с Японией! Только этого не хватало! Вчера, часа в четыре, мальчишки на улице стали кричать: "Правительственная телеграмма"... "Дерзкое поведение Японии"... Оказывается, Япония, не дождавшись ответа России на свою ноту, приказала своему посланнику со всем составом миссии покинуть Петербург. Такой же приказ послан нашему посланнику в Токио. Таким образом, наши дипломатические отношения с Японией разорваны... Редакции газет получили циркуляр *не очень пока* ругать Японию. Сегодняшняя передовица "Русских ведомостей" о Японии бледна и скучна до последней степени...

30 января.

А война-то "в сурьез". Вот-те и "макаки"! Чувствуется, что нас страшно колотят. Жутко. Только что вернулся из Петербурга О. Б. Ему рассказывали, что вчера утром была от Алексеева¹⁹ телеграмма в двести слов. Телеграмму могли дешифровать только наполовину и отправили ее назад. Но из того, что прочли, видно, что нас опять поколотили.

На улицах суматошно. У витрин, где выставлены телеграммы, - всегда толпа...

Умер Н. К. Михайловский - doyen* "Отечественных записок" и российских "строптивцев". Je ne l'ai beaucoup gobé** как "властителя дум", но это был, бесспорно, умный, талантливый, корректный публицист, смелее многих своих противников... Это был породистый публицист-европеец и джентльмен в самом высоком смысле этого слова.

31 января.

Какая тяжелая атмосфера! А ведь война только начинается. Толпы всяческого сброда запружают улицы, орут: ура! Требуют, чтоб "выходила музыка"... Вчера с концерта пришлось возвращаться в объезд. Черная горланящая волна. Кто-то пьяным голосом ревел: "У-у-ррр-а-а-а! и больше ни с-с-с-лло-ва!!!" С час назад наши Петровские Линии были запружены толпой. Она стояла у гостиницы "Россия" и требовала, чтобы к ней вышел оркестр. Оркестр не вышел, и толпа разошлась. Пока - это мирные манифестации. Но это, конечно, дикая орда, которую деморализовать и разнуждать ничего не стоит...

3 апреля.

31 марта погиб наш броненосец "Петропавловск". С ним погиб адмирал Макаров²⁰, на которого возлагалось столько надежд. Подробностей нет. Лганья много. Но ужасную, несомненную катастрофу скрыть нельзя. Погибло больше тысячи человеческих жизней... Кроме "Петропавловска" затонул еще миноносец "Бесстрашный" и пробит большой броненосец "Победа". Все - в каких-то "Квантунских водах", о которых русский мужичок, конечно, не имеет ни малейшего понятия. Злосчастная, бессмысленная война... Тоска. Ни к чему сердце не лежит... У меня там - никого нет. Каково же тем, у кого в этих "водах" всё упование и смысл жизни...

4 апреля. Катина.

Слава Богу! Дома! Всё в образцовом порядке. Здесь ранняя-ранняя весна. Тащились по невылазной осташковской²¹ грязи в санях! В поле еще снег среди затонов и рыжей старой травы. Но

* старейшина.

** Я его не очень воспринимала.

уже отовсюду бегут ручейки. Тепло. Деревья издали покрыты точно карминовым налетом. Это почки на оживающих ветках покраснелись. Кое-где сквозь снег пробивается свежая травка. И эта нежная, трогательная, весенняя прозрачность воздуха! Как я люблю эту нашу особенную русскую скромную весну, ее солнышко и тепло! И какая щемящая грусть именно весной заливают мое сердце... И с каждым годом всё грустней...

20 мая.

На войне очень мрачно. По молчанию газет чувствуется, что дела наши плохи. Зато анекдотов хоть отбавляй. Фарсы врываюся в трагедию. Со всяческими вариантами рассказывается следующая "история". Великий князь Борис Владимирович под видом денщика держал при себе француженку. Узнавши об этом безобразии, Куропаткин²² предложил этому "доблестному" grand duc'у отправить француженку домой и пригрозил "в случае неповиновения" выслать самого Боря в Петербург.

- Вы?.. Меня! - воскликнул августейший и, не долго думая, выхватил револьвер и - бац! - в Куропаткина. К счастью, пуля пролетела мимо, слегка только задев адъютанта главнокомандующего... После этого, бурнопламенного "дюка" отправили домой - к родителям.

24 мая.

Третьего дня в гельсингфорсском сенате молодой финляндец Шауман стрелял в генерал-губернатора Бобрикова, нанес ему три раны и затем двумя выстрелами в сердце покончил с собой. Бобриков умер вчера ночью после операции. Его ненавидела вся Финляндия - так хорошо он проводил "истинно-русскую haute politique". Зловещее, мрачное время.

4 июля.

Чехов умер в Баденвейлере, в Шварцвальде. Так жалко и больно. Самый большой из наших писателей в последние 25 лет. Русский Мопассан, оваянный Тургеневым. Умный, образованный, трезвый европеец и вместе с тем такой русский! При этом у него совсем не было этой противной сентиментальщины

* высокую политику.

либеральных народников, самоумиляющейся "златовратовщины"²³... Огромный талант.

Помню первое представление "Вишневого сада", когда его чествовали. Он, когда его вывели на сцену, имел вид умирающего. Ряд депутатий, венков, речей: весь зрительный зал встал... Как всё это, вероятно, казалось ему ненужным... А тут еще Вл. И. Немирович-Данченко, дружески-фамильярно, на весь театр: "Антон Павлыч, сядь, милый, ты устал"... Антон Павлыч нетерпеливо дернул головой и застыл в своей неподвижной позе... А делегаты всё говорили, говорили: Веселовский, Яблочкина, Южин... без конца.

10 июля.

Сегодня Москва хоронила Чехова. С Николаевского вокзала до Новодевичьего монастыря гроб несла на руках молодежь.

Зато в Петербурге отличились. Встретить прах Чехова собралось человек 15-20. Гроб прибыл в товарном вагоне для провозки свежих устриц(!). Не было ни священника, ни певчих. По "счастливой случайности" в это же время прибыло из-за границы тело генерала Обручева, которого дожидалось на вокзале *блестящее общество*. Встречавшие тело Чехова упросили священника и певчих отслужить литию и у вагона "для устриц", приютившего Антона Павлыча. Из "блестящего общества" отделился только *один* человек, министр кн. Хилков, подошедший поклониться праху знаменитого писателя.

16 июля.

Привезли с почты газеты. Вчера утром убит Плеве²⁴. Когда он подъезжал к Варшавскому вокзалу, какой-то молодой человек в фуражке железнодорожного ведомства бросил под карету бомбу. Взрыв был так силен, что слышно было за полторы версты. Карету разорвало, у министра голова и тело превращены в клочья, кучер убит, много случайных жертв. Всё ужасно... "и нормальный устав нашей жизни и его экстраординарный корректив" - *бомбы*...

3 октября. Москва.

Анатолий Федорович (Кони) в Москве. Приехал из Ясной Поляны совсем влюбленный в Льва Николаевича и без конца о нем рассказывает (зато "семейством" великого человека Ан.

Фед. совсем не очарован. Софью Адриановну он, впрочем, жалеет, находя, - как и я, - что быть женой гения... *n'est pas toujours une sinecure*^{*}).

Со своей феноменальной памятью Ан. Фед. нам прочитал выученный им наизусть ненапечатанный рассказ Толстого "После бала". Это - совершенный перл. Ну и память у моего милого сенатора! Извиняется, что "переставил" и "перепутал" не больше 10-12 слов.

31 октября.

Были на генеральной репетиции новой пьесы Боборыкина "Упразднители". Претензионная и бездарная вещь. Малый театр точно присягнул: ставит одну пошлость за другой. Играть первейшие актеры "не знаменито". Один Ленский великолепен. Сделать живого человека из деревянного болвана - какое для этого нужно мастерство! По благородству тона я его могу сравнить только с Got'ом²⁵, но у Ленского над французом есть одно преимущество: он русский *всечеловек*, да еще с толстовской "изюминкой"...

29 ноября.

Живем в каком-то чаду... Ложимся в 2-3 часа ночи, а то и позже. И не мы одни так, а все, кого ни спросишь...

Москва точно с ума сошла. Всюду одни и те же разговоры: о конституции - *ni plus ni moins*^{**}. Одни иронизируют, другие торжествуют, третьи сомневаются, четвертые уповают, пятые трепещут, но все - оптимисты и пессимисты, консерваторы и либералы, флегматики и сангвиники, старики, студенты и даже актеры - все чего-то ждут, ждут скоро, с часу на час, ждут напряженно и трепетно.

1 декабря.

Утром вернулся из Петербурга О. Б. Настроение там тяжелое. Побоище (28-го) на Невском было такое, какого еще не бывало. Дворники и городовые беспощадно избивали женщин, завлекая их во дворы, топтали упавших ногами... Горничные в

* не всегда sinecure.

** ни больше, ни меньше.

"Европейской" гостинице, глядя на этот ужас, падали в обморок. Н. В. Муравьев, министр юстиции, совсем было собравшийся уходить, раздумал и, по словам Ан. Фед., страшно повеселел. Петербургский университет закрыт.

И у нас "начинается"... С час назад пришел из университета Миша, страшно бледный и взволнованный, и рассказал, что в актовом зале заперты по приказанию ректора студенты - человек 600, собравшихся на сходку. В соседних аудиториях шли лекции и зачеты. Оттуда тоже не выпускали ни студентов, ни профессоров (поэтому и Миша, сдававший какой-то зачет, просидел в аудитории лишних два часа). Но затем он и еще несколько студентов как-то проскользнули с приват-доцентом Краснокутским. Миша говорит, что он в первый раз почувствовал, что такое "капкан". Сегодня же студенты во время лекции устроили овацию Тимирязеву²⁶ и засыпали его цветами. (Тимирязев считается самым "красным" из наших профессоров. Он - большой приятель Вл. Ив. Танеева.) Взволнованный Тимирязев сказал студентам: "Господа я не могу платить злом за добро, которое вы мне делаете, и потому умоляю вас, господа, уходите отсюда поскорее"...

4 декабря.

Погода ужасная, грязь, слякоть. О снеге нет помину. Шлепаем на колесах. Вчера до 4-х утра просидела у Д. Только в Москве можно так терять время. Сидят неподвижно за столом, пьют без конца кислое кавказское вино, закусывая сардинками, копченой колбасой и скверным сыром, говорят все зараз, дамы визжат и хохочут. Если б не актер Качалов, отлично рассказывавший очень глупые анекдоты, можно было бы заснуть от скуки. И это считается "политическим, литературным и артистическим салоном"...

24 декабря.

Сочельник без ёлки. Душа не лежит... Сдали Порт-Артур. Сколько народу даром загубили... Подробностей нет, но Стеселя²⁷ ругают все.

26 декабря.

Не до праздника. Все возмущены. Поражение под Порт-Артуром - это не трагедия, а трагический скандал. Позор, срам... Не было боевых снарядов, на 200 японских выстрелов

наши несчастные могли отвечать едва одним. Ни провианту, ни медикаментам. Ели тухлое собачье мясо, самые ужасные операции несчастные раненые терпели и несчастные доктора делали *без хлороформа*, а японские гранаты убивали в госпиталях раненых и врачей. Наших взято в плен больше 32.000, из них раненых - 15.000. Генералы, адмиралы, полковники... Весь наш флот уничтожен. Какой лакей, этот хваленый Стессель! *Теперь* он шлет такие телеграммы: "Государь! Суди нас, но суди милостиво! Люди стали теньями..." А всё время сыпал такие хамские депеши: "Счастлив донести...", "Люди рвутся в бой...", "Дух отважный...", "Всего вдоволь..." (негодяй!).

1905

9 января.

Вчера стачка рабочих в Петербурге достигла свыше двухсот тысяч человек. Депутация от рабочих была принята ночью Святополк-Мирским²⁸, и в два часа ночи тот поехал в Царское Село, чтобы передать государю петицию рабочих.

Девятого утром, т. е. сегодня, рабочие со всех окраин потянулись к центру города и были встречены войсками. Убитых 100 человек. Среди убитых или раненых будто бы отец Гапон. Совершенно загадочная фигура... Об этом священнике, пользующемся среди рабочих исключительной популярностью, очень много говорят. Его называют "красный Иоанн Кронштадтский".

Рабочие с женами и детьми шли на Дворцовую площадь умолять государя выйти к ним и выслушать *их* петицию, выслушать настоящую правду об их горькой доле... Подробностей об этом страшном событии в редакциях ждут в течение дня...

11 января.

В Петербурге творятся ужасы. Сообщение о стрельбе 9 января в мирную толпу рабочих - бьет в глаза и фактической ложью, и фальшивым тоном... Бастовавших рабочих считают 240.000. Убито из пулеметов не 75 человек, как говорится в "Правительственном сообщении", а от 3-х до 4-х тысяч! До Дворцовой площади дошло 20.000 тысяч человек. Государь в Царском Селе. Он отказался принять рабочую депутацию. Вчера весь Невский был погружен в темноту, потому что рабочие электрических обществ прекратили работу.

18 января.

Не знаю, с чего начать... В Петербурге продолжают "Варфоломеевские ночи" и дни. Всё новые и более ужасные подробности. *Девятое января 1905 года* останется одной из позорнейших страниц русской истории. В самом деле, невероятно! Безоружная масса рабочих с женами и детьми, возглавляемая священником с крестом в руке, идет к своему царю, чтобы, став на колени, сказать ему *правду* о своей жизни... И эту коленопреклоненную толпу расстреливают, как бешеных собак. Убивают женщин, детей... Какое безумие, какая недальновидность, трусость! *Девятое января* взволновало весь мир. Газеты сообщают, что Папа написал письмо государю.

Трепов, наш знаменитый обер-полицеймейстер, назначен военным генерал-губернатором Петербурга и Петербургской губернии с диктаторскими полномочиями.

В университете лекции еще не начались. И в других высших учебных заведениях тоже полное безмолвие...

Ни к чему у меня душа не лежит. Я как-то забыла, что репетируется *моя пьеса*²⁹. Ни разу не была на репетициях. Впрочем, написала Федотову, чтобы справиться, как идет. Меня гораздо больше волнует, что болен Николай Ильич (Стороженко). Уходит мой драгоценный старик...

4 февраля.

Сегодня в три часа дня убит бомбой великий князь Сергей Александрович, когда он проезжал в карете по Кремлевской площади. Редакции газет до сих пор не получили разрешения выпустить экстренные телеграммы об этом страшном событии. Взрыв был так силен, что по фасаду окружного суда перебиты все стекла... Неужели бороться за свободу можно только бомбами?

7 мая. *Bad Kissingen, Villa Bavaria.*

Из интересных французов никого в Париже не видала, зато русских, к тому же не особенно интересных - видала много.

Обедали у Амфитеатровых³⁰. Он, видимо, очень тоскует, но делает вид, что, хотя "Обмановы" вылились из-под "пьяного пера", он об этом не жалеет, так как только теперь он может писать "во всю"... Хозяин Амфитеатров чрезвычайно привет-

ливый, по-московски хлебосольный, и жена у него милая, а мальчик совсем очаровательный. Живут они в прелестном павильоне обширной villa Montgency. Забавно, что они внесли "русский дух" в усадьбу французских герцогов.

Провели целый вечер у П. Б. Струве³¹. Он - без сателлитов - чрезвычайно приятен и интересен, жена его также производит впечатление очень хорошее... но гости, гости! Словно не в Париже, а у Гольцева в Москве, у Успения-на-Могильцах. Скука зеленая... Либеральствующая "с оглядкой" русская "фронда". Что может быть скучней?!

У Семеновых завтракали с Немировичем-Данченко³². Он рассказывал ужасные вещи о войне и совсем без прежнего восторга "скобелевского" времени. Чувствуется, что эта *настоящая* правда куда страшнее "Красного смеха" Леонида Андреева. *Стонущий гаолян*. Раненые, упавшие или заползшие в гаолян. Их не видно, слышен только *стон*... *стонет* целое поле гаоляна. О Куропаткине Василий Иванович говорит, что это несчастный и совсем бездарный человек, хотя и ученый-теоретик. Войну мы потеряли безвозвратно, осрамили нас японцы на весь мир, надо скорей кончать и т. д. Только солдаты, голубчики, всё те же герои и страстотерпцы, - говорил Василий Иванович со слезами. Милый Вас. Ив., совсем белый, старый. Он меня расстрогал...

С Ковалевским провели целый день и вечер, как всегда, приятно, уютно, интересно и весело. Он приехал из своего "Монрепо" специально для лекции О. Б. в Русской школе. Лекция прошла с большим успехом. "Тонкий кондитер О. Б., - с довольной улыбкой говорил Максим Максимыч, - сейчас видно, что цивилист"...

А вообще Макс. Макс. как-то грустнее, задумчивее, чем прежде. Он и острит, и смеется, но чувствуется, что это "не то", что ему совсем не весело. Вся его *bonhomie** словно через частую сетку. Он смущен и озадачен тем, что творится в России. Был он у нас с Гамбаровым Юр. Степ. Пришли утром, напились внизу кофе и потом, запершись в нашем appartement, попросили О. Б. сделать им подробный доклад.

* добродушие, простодушие.

Чем дальше О. Б. говорил, тем больше Ковалевский хмурился. "Всеобщее избирательное право, - восклицал он, - это в безграмотной, дикой, разноплеменной стране... Неужели у вас не понимают, что из этого может произойти такая поножовщина и пугачевщина, что мы взвоем по самодержавию?"

Когда О. Б. возражал: "Вы не узнаете теперь Россию, М. М. Это другая страна, другой народ...", Ковалевский уставился на него в упор своими насмешливыми, умными глазами и, пожимая плечами, сказал: "Вам и книги в руки... Очень может быть, что мы тут отстали и поглупели... Только простите, О. Б., народы и страны так быстро не меняются. Вчера еще он пригрошнями в голове "живой продукт" ловил, а сегодня - пожалуйте "владеть нами". Ведь это только в сказках Иванушка-дурачок голыми руками Жар-птицу хватает..."

Почти каждый день забегал к нам Макс Волошин. О. Б. его совсем *не чувствует*, даже как-будто побаивается: а вдруг, мол, он возьмет и для пущей оригинальности пройдет по холлу вверх ногами, и сбежится на него смотреть весь отель. О. Б. отпугивает "аффектация" Макса, его "ненатуральность", вычурный тон, манера говорить, читать стихи, одним словом, "декадентщина". А я очень люблю этого талантливого "монстра", он это чувствует, ходит за мной по лавкам и выставкам. Были мы с ним в "Salon" на Champs de Mars. Масса картин. Есть интересные. Макс - отличный чичероне. У него тонкий художественный вкус, и он отлично разбирается во французской живописи. Этому даже не мешает его увлечение крайними, самыми не постижимыми для "буржуазного" вкуса новыми течениями. Я его не боюсь и, когда не могу разобратся, что передо мной - сплошь замазанное краской полотно, поле, корова или женщина, спрашиваю: "Макс, объясните мне, чтобы я поняла". Он объясняет с "чувством", но не всегда с "толком".

18 августа. Катина.

Вчера, поздно вечером, Ан. Фед. принес ко мне в кабинет большую папку и скромно сказал:

- Хочется прочесть вам, да боюсь - не скучно ли?

Все, конечно, стали его умолять.

- Только предупреждаю молодую компанию: "сие" не для разглашения, а, так сказать, *entre nous*. А то вломится в амби-

цию "Русская старина" и даже через 25 лет откажет автору в гонимом...

И он стал читать свои записки о крушении царского поезда в Борках³³. Он в свое время был назначен председателем Следственной комиссии по этому делу, отправился туда, собрал многолетний материал и, приехав в Петербург, начал вторую часть следствия - допросил всех находившихся в царском поезде: прислугу, камердинера царя, фрейлин, свиту, министра Посыета и кончил царем, с которым провел наедине около двух часов. Получилась грандиозная картина - весь механизм огромного дурацкого государства показан в "действии", как в знаменитых Зальцбургских часах - картина "человеческой жизни". Большой мастер Ан. Фед.!

История крушения в Борках - это chef-d'oeuvre его мемуаров, гораздо сильнее, чем дело Засулич. В его Борках слились воедино: умнейший следователь, художник, историк-философ и прекрасный, давно распростившийся с иллюзиями русский человек. Из всех "действующих лиц" в этой исторической пьесе самое большое сочувствие вызывает Александр III, беззащитный добрый человек русского XIII века, очутившийся в XIX-м союзником французской республики. Когда Кони, закончив свой допрос, грустно сказал: "Я вижу, ваше величество, что виноватым окажется один стрелочник", то царь горячо возразил: "Я обещаю вам, что я этого не допущу". И действительно, когда все оказались невинными, государь сказал: "Прошу не наказывать стрелочника, я это обещал Кони"...

Как будто похоже по газетам, что налаживается мир с Японией...

20 августа. 12 часов утра.

Мир! Мир! Слава Богу! Господи, какое счастье!..

Жадно читаем газеты. Телеграмма Витте³⁴ государю. В газетах уже пошло грубое хвастовство: "Дипломатическая победа...", "Японцы опростоволосились..." (И как только не стыдно!)

27 августа.

А на Кавказе что творится! Страшно читать газеты. В Баку 24 августа действовала артиллерия. Убитых и раненых сотни.

Шуша выгорела наполовину. Тифлис, Баку, Балахны, Елизаветполь в огне. Убытки на сотни миллионов. Вот они, плоды "истинно-русской" политики. Сначала натравили татар на армян, а теперь жарят из пушек по ком попало. На том свете разберут...

4 октября.

События нарастают с такой лихорадочной стремительностью, что если пропустить 3-4 дня, то уж не знаешь, как начать записывать, - всё кажется, что уже не успеешь отметить то, что значительно.

Вечером (15 сентября) в доме кн. П. Долгорукова состоялся с разрешения Трёпова доклад английского журналиста Вильяма Стэда о будущей Думе. Стэд - из тех журналистов, которые пользуются благоволением в наших высших сферах. Он "полуконфиденциально" (это было особенно смешно ввиду того, что в зале присутствовало человек полтора-два) сообщил, что он имел случай беседовать о даруемом высочайшей милостью русскому народу парламенте с самим государем и счастлив, что в этом собрании избранного русского общества он может поделиться мыслями и выслушать мнения как единомышленников, так и противников сего величайшего исторического акта. Он просит помнить, что в этой зале каждый может высказаться вполне свободно, без всяких опасений, и уверен, что почтенное собрание, в результате обмена мыслей, придет к единодушному и благодарному признанию, что великий русский народ необъятной России призывается волей своего просвещенного монарха войти в семью свободных, самоуправляющихся наций.

После этого Стэд стал объяснять, чем должен быть русский парламент в своей начальной стадии, принимая во внимание находящуюся еще в первобытной стадии культуру русского народа. Между тонким слоем стоящей на вершине европейской цивилизации русской интеллигенции, выдающихся русских ученых и русских художников - Толстого и Достоевского, перед гением которых преклоняется мир, и многомиллионной темной массой русского народа - зияет пропасть... Эту пропасть нельзя сразу наполнить, как нельзя по первобытному лесу сразу пропустить железнодорожный поезд. Надо с величайшим терпением выкорчевывать деревья, обработать почву, затем положить рельсы, пригнать к этим рельсам паровоз и только после этой трудной подготовительной работы можно ввести регу-

лярное пассажирское движение. Если же по этому девственному лесу сразу пустить курьерский поезд, он разлетится в щепки, перебьет и искалечит пассажиров, а толпа, которая не всегда тупа и презренна, будет, не без оснований, винить в произошедшей катастрофе - легкомысленных и недальновидных машинистов.

После этого вступления Стэд перешел к деталям, и, как выразился один мой знакомый студент: "Через английский рупор потекли *"истинно русские слова"*". Стэд говорил по-английски. Переводили Милюков³⁵ и Набоков³⁶. Они же, когда пошли прения, переводили Стэду возражения оппонентов, а аудитории - то, что отвечал Стэд, и свои собственные возражения. Великолепную, полную юмора речь произнес Родичев³⁷. Когда он сказал: "Кругом России все давным-давно пользуются электричеством, но я не смею завести у себя электрическое освещение. Я должен помнить, что пятьсот лет назад предки мистера Стэда пользовались бараньими свечами, и поэтому теперь, как великодушный филантроп, он разрешает мне только зажечь лучину" - вся зала огласилась рукоплесканиями и смехом. Громко засмеялся и захолопал сам Стэд. А Родичев продолжал: "По всему миру мчатся поезда, не успеем оглянуться, как люди будут реять в воздухе, как птицы, а я - только гляди и вздыхай, я должен ползти гужом! Ведь предки мистера Стэда были умнее меня 500 лет назад, а ползти же. Ну, значит, и моя доля такая... Не умел 500 лет назад обзавестись умными предками, значит, и ползи теперь еще 500 лет"...

13 октября.

Вчера и сегодня провела на съезде конституционно-демократической партии, которая сокращенно именуется "кадеты" (К. - Д.). Заседания происходят у кн. Долгоруковых (в Знаменском переулке, там же, где был митинг Стэда). Ввиду железнодорожной забастовки многие делегаты не явились. Заседания тянутся вяло. Речи тусклые. Действует, конечно, общее удрученное состояние в Москве. Ни проехать, ни приехать... как в песне: "Ни дорожки, ни пути".

Говорят, что завтра уже не будет ни газа, ни электричества. По всей Москве идут рабочие митинги. Собираются в университете, в Техническом, Инженерном, Межевом (училищах). Полиция не показывается. Вчера к "кадетам" явился полицеймейстер Носков с приказанием немедленно прекратит заседа-

ние, на что председательствующий предложил ему "не мешать собранию"... И... Носков убрался. Но эти "эпизоды" уже не производят эффекта. Чувствуется, что надвигается настоящая гроза, ураган, который может всё смести...

Из Петербурга сегодня пришли 2-3 поезда под управлением железнодорожного батальона. Такие же случайные поезда могут пролететь и от нас - с риском наткнуться на баррикады из паровозов. Забастовал весь петербургский железнодорожный узел. Витте сказал железнодорожным делегатам, что ни на всеобщее избирательное право, ни на Учредительное собрание Правительство не пойдет.

"Правительство, - сказал будто бы Сергей Юлиевич, - может погибнуть в этой борьбе, но и вы погибнете. Сыграете только на руку буржуазии, против которой вы боретесь".

Когда подумаешь, что это говорил тот самый Витте, которому буржуазия обязана своим расцветом...

Трепов назначен командующим войсками петербургского гарнизона. Он уже издал приказ: холостых зарядов не употреблять и *"патронов не жалеть"*.

18 октября.

Господи, не знаю, с чего начать. Столько пережито. Как только сердце не разорвалось! Конституция! Да, да! В России *Конституция*, подписанная государем императором. Манифест появился вчера ночью. А я узнала об этом величайшем событии только сегодня утром. Проснулась в Клариной спальне, а у меня на одеяле лежит свежееотпечатанный листок с *благой вестью!*

Почему я очутилась не у себя, в Пименовском, а на клариной постели в Леонтьевском³⁸ - постараюсь хоть кое-как записать...

В воскресенье (16-го) около 12-ти утра мы - я, О. Б. и его помощник Аким Маркович - сидели в кабинете и говорили всё о том же, т. е. о том, о чем говорили все в городе: об ужасном положении, в котором очутилась Москва, отрезанная от всего мира. Во все предшествующие дни в разных частях города происходили кровопролития. Казаки и драгуны убивали на улицах безоружных, походя. В университете заседало около 2000 человек всякого народу, собравшегося около студентов. Подняла

голову *черная сотня*. "Московские ведомости" напечатали "воззвание" к русским людям: избивать крамольников, врагов русского царя, русского народа, православной веры и великой державы российской. Воззвание это, с одобрения митрополита, было разослано епархиальным начальством по церквам, и священники должны были его читать за обедней, как обращение к прихожанам. И вот, мы сидим в кабинете О. Б. и обсуждаем, что может произойти от этого назидания Владыки к возлюбленным чадам и братьям во Христе.

Вдруг из нашего тишайшего Пименовского переулочка раздался дикий вой, неистовые вопли. Я выглянула в окно и обмерла. Весь переулок забит бегущей от Старого Пимена толпой, и черная кучка озверевших людей бьет кулаками прямо под нашими окнами двух молодых людей. Бьет зверски. Один избиваемый уже упал на мостовую (всё - под нашими окнами), другой, в студенческом пальто, с разорванной щекой, из которой струится кровь, без шапки, отбивается от наваливающихся на него людей и стремится поднять упавшего на мостовую...

Не помня себя, я вскочила на подоконник, отворила форточку и стала кричать (как уверяют наши - я сама не помню - не своим голосом): "Не смейте бить!" В ответ на это в окно полетел камень, за ним еще, целый град камней. Осколки стекол с лязгом, вместе с камнями, посыпались в комнаты. От кабинета О. Б. до моей спальни по всему ряду окон бельэтажа грохотали камни. О. Б., Миша, Аким Маркович бросились на лестницу. В доме как-то жутко опустело. Стало ужасно тихо и холодно. Только Флик бегал, лаял и с недоумением обнимал мои ноги. Ветер ворвался в разбитые окна. В окно моей спальни ударился огромный булыжник, продавил стекло и перекатил прямо по моей ноге за кушетку. Я стала одеваться. Из столовой появилась Маша, бледная, вся трясется, принесла каракулевую кофточку и стала просовывать в рукава мои руки. Шепчет: "Одевайтесь скорей". Я спрашиваю: "Зачем?" А она опять шепчет: "Что же новую кофту им оставлять? Берите скорей деньги из шкафа... Я за пазуху суну. Ну, скорей, по черной лестнице уйдем"...

Только не пришлось нам никуда уйти. Кругом поднялся гул орущих голосов. Мы бросились на парадную. Видим в пролет двери вваливается темная масса. О. Б. белый, как мертвец, Миша и молодой человек с окровавленной щекой несут жалобно стонущего юношу в разорванном платье, лицо и волосы

испачканы в грязи. Тут же какие-то барышни в беретах испуганно спрашивают: "Можно у вас спрятаться? Ради Бога!"

А снаружи бомбардируют камнями дверь. Евграф и Миша в мгновение ока засунули железный крюк в петлю и стали баррикадировать чем попало дверь. Наружную ручку нападающие оторвали. Снаружи кричат: "Несите лом!" Еще кто-то кричит уже у нас в комнатах: "Батюшки! Идут во двор! В кухню... Устиньюшка, запирай кухню!" А в окна с улицы всё летят камни. Все стекла вышиблены, холод страшный. Мы столпились в коридоре: Наденька, Шурочка, Миша, Маша, Устинья и я. Шурочка плачет и крестится. Устинья Михайловна ворчит: "Зачем О. Б. и Миша побежали их спасать... Очень нужно..."

- Да ведь их бы убили, - сказала, кажется, Наденька.

- А теперь нас убьют, - возразила Устинья, - и Евграф Степаныч туда же полез... Воин!

Шурочка вступилась за отца:

- Да ведь папаша О. Б. побежал выручать.

Раненого между тем внесли в мишину комнату и положили на кровать. Мишина комната в стороне, и окно в ней цело.

В коридор к нам зашел О. Б. и рассказал, что молодой человек с разорванной щекой - студент и брат раненого, тоже студента. Оба были у обедни у Старого Пимена (что против нас). Когда священник стал читать "Воззвание" о расправе с жидами и интеллигенцией, то Володя (или Коля - не помню) сказал, правда, очень громко, на всю церковь: "Стыдно, батюшка, говорить такие слова, да еще с амвона!" Священник на это провозгласил - тоже на всю церковь: "Не знаешь, сыне, что творишь!" А в ответ на это раздались крики: "Рвите его в клочья!"

Староста выволок несчастного мальчика за шиворот на паперть, и тут на него накинулись люди в черных чуйках. Он от них вырвался и вбежал в соседний двор. Но там дворник за волосы выбросил его назад, в толпу. Тут за него опять принялись разъяренные негодяи. Но тут произошло наше вмешательство. Я крикнула. О. Б. и Миша выбежали на улицу, схватили несчастного. Евграф отпер дверь, брат избиваемого и еще кто-то из молодежи подхватили раненого и каким-то чудом они очутились в нашей нижней передней. Евграф, голубчик, сразу захлопнул дверь и заложил крюк. А снаружи кричали: "Сожжем ваше проклятое гнездо!"

И Миша пришел к нам в коридор. Он рассказал, что

человек, избивавший студента, уже поднял кулаки на О. Б. "Если б он его ударил, у меня в кармане был финский нож, я бы его махнул". Господи! Какое счастье, какое чудо, что этого не случилось... Мишу не тронули, потому что его, по-видимому, приняли за молодого лакея. В курточке, простоволосый, он похож на мальчишку.

Между тем толпа начала заливать наш двор и уж напирала внизу на дверь кухни и канцелярии. Крики становились всё грознее... Мы все и Аким Маркович с нами - притаились в коридоре - между приемной и кабинетом. Ждали: вот-вот толпа взломает двери, и нам конец. Вдруг А. М. воскликнул: "Слава Богу, полиция, казаки!"

- Не казаки, а драгуны, - поправил Миша, вытянув шею и ухмыляясь на А. М., не умеющего отличить драгун от казаков.

Через кухню к нам навстречу появились: пристав, околоточный, городовые и какие-то чуйки. Драгуны, верхом, заняли часть переулка вплоть до нашего парадного крыльца. Пристав резко обратился к О. Б.:

- Вы зачем бунтовщиков укрываете?

О. Б. вежливо и очень холодно ответил:

- Я никого не укрываю, а спас человека от разъяренной сволочи, т. е. сделал то, что должны были сделать вы.

Пристав моментально переменял тон и уже конфиденциально (в маленькой приемной) сообщил О. Б., что нас спас передетый в штатское наш (т. е. пименовский) городской (которому О. Б. часто давал на чай). Увидав около нашего дома буйную толпу, он сказал околоточному: "А ведь это около дома присяжного поверенного Гольдовского безобразят - как бы чего не наделали"... Околоточный доложил приставу, и нам послали на выручку драгун.

А в комнате Миши в это время шла своя работа: раненого обмыли, появилась полиция, писали протокол; появилась с истерическим визгом дама в красном капоте - мамаша избитых студентов. Ее убеждали, успокаивали. Бедный мальчик встал с кровати и, обнимая красный капот, еле выговорил: "Мама, успокойся, я - ничего... мне не больно..." А красный капот не унимался, визжал, вращал дико глазами, вздымал руки к потолку и рыдал: "Я этого не вынесу! Я на коленях, в грязи, целовала ногу офицеру, чтобы меня сюда впустили... О-о-о!"

Ей давали капли - она отталкивала; нашатырный спирт - она отскакивала и всё выла. Несчастливого мальчика в полуоб-

мороке опять уложили, и мамаша еще пуще взывала. Тогда я плеснула ей в лицо воды и целую чашку вылила ей на крашеную голову, и она сразу "успокоилась"...

В 5 часов раненого увезли, посторонние разошлись. Стало совсем темно и ужасно холодно. Мы оделись и решили ехать к Кларе. Остаться дома было невозможно.

В эти страшные и великие дни несчастная осажденная Москва делала *Историю*. Дума вошла в переговоры со стачечным комитетом. Конституционно-демократическая партия отправила в Думу делегацию - выразить ей сочувствие за поддержку стачечного комитета. В университете засело около 2.000 человек: рабочие, студенты, женщины. Во дворе университета были сколочены баррикады, а кругом стояли и разъезжали готовые ринуться на университет войска. Охотнорядцы пустили в ход свои ножи и топоры и зарезали несколько человек. Смелый, благородный Ал. Апол. Мануйлов³⁹ торговался с генерал-губернатором, требуя, чтобы ему было дано: 1. Несомненное *обещание* свободного выхода *всем* осажденным в университете и 2. Разрешение ему, ректору, лично вывести из университета находящихся там студентов. Шли непрерывные совещания между центральным стачечным комитетом и университетским начальством, с одной стороны, и высшей администрацией - с другой. И наконец, власть *капитулировала*. Мануйлов сказал студентам, что он выведет их, как *собственных детей*. Все осажденные дали обещание - идти тихо, без речей. Составился оригинальный кортеж: впереди, рядышком, шли ректор Мануйлов и помощник градоначальника Руднев, а за ними маршировали студенты и те, которые наполняли эти дни университетский двор...

А в понедельник 17 октября во втором часу ночи - в редакции, по телефону, был сообщен манифест о *конституции, о свободе*.

Когда я, задыхаясь от радостных слез, дочитывала вслух эти чудотворные слова, я себя не узнавала. И не я одна, а все мы. Мы плакали, целовались, смеялись. Мы наскоро оделись. Пришли Маковские, Миша, О. Б. Мы уложили наши пожитки, чтобы ехать домой... Улицы неузнаваемы. У всех радостные лица... У всех в руках манифест. Читали группами.

На Тверской с красными флагами движется многотысячная, радостная, счастливая, поющая, нескончаемая человеческая волна. Идут *вместе*: студенты, рабочие, барышни, дамы, старики, военные, мальчишки. Поют... "Марсельезу". Никто никого не бьет. Не слышно ругани. Перед булочной Филиппова два студента с красными флагами обнимают городского, он снимает шапку, улыбается - "Идем, голубчик, с нами!"

Дом генерал-губернатора. На длинных шестах белый флаг с надписью "Амнистия", "Да здравствует свобода". На балконе красного дома, где царил мрачной памяти Сергей Александрович, стоит между двух адъютантов генерал-губернатор Дурново с непокрытой головой и говорит, что он немедленно, самым решительным образом сделает представление в Петербург об амнистии. В ответ на столь "конституционные" слова хозяина Москвы раздалось: "Урра! Урра!" и "Марсельеза". Студенты, как акробаты, по выступам добрались до балкона, прицепили на решетки красные флаги и оторвали белые и синие полосы прежнего. И ничего... Вчера их бы за такие "эксцессы" отхлестали нагайками...

О, Господи! Какое счастье, что мы дожили до этого дня! Над детьми нашими засияла заря достойной, человеческой жизни... Я хочу верить, что это не фантом, не мираж...

20 октября.

Недолго мы радовались. Настроение удрученное. Третьего дня убит социал-демократ Николай Бауман. Он ехал с красным флагом рядом с процессией манифестантов, которая направлялась в Бутырки "освобождать политических". На Немецкой улице процессия случайно разделилась. Этим воспользовались черносотенцы, Баумана стащили с извозчика, он пробовал защищаться, и тут какой-то дворник убил его ломом. Тело у толпы отняли студенты, отнесли в Техническое училище и устроили в актовом зале катафалк. Тело покрыто красным флером, в головах красный флаг, свечи, масса цветов, венков, красных лент. Вчера и третьего дня там тысячи народа, непрерывный поток речей... Сегодня похороны...

8 час. вечера.

Мы видели всю процессию из огромного окна-балкона гостиной "Националь". Мы с О. Б. там обедали (с Баженовым Н. Н.⁴⁰ и Милюковым А. Н.).

Невиданное зрелище. Этого никогда, никогда нельзя забыть. И описать нельзя... я, по крайней мере, не умею. Может быть, Париж так хоронил Бодена⁴¹.

Ни полиции, ни войск... Стройность и порядок образцовый. Процессия мимо нашего балкона тянулась целый час. Участвовало в ней, говорят, 100.000 человек. Продольная живая цепь - и в ней поперечная по 15 человек в ряд. Рабочие, студенты, барышни, женщины в платках, дамы, дети, гимназисты, старики, старухи, солдаты, вольноопределяющиеся с университетскими значками, офицеры (один даже Генерального штаба!). Впереди два студента несут огромное красное знамя. На нем крупными буквами: "Порядок соблюдают граждане". Флаги, флаги, флаги!... Все красные. Гроб красный, под красным бархатным покровом. Несут рабочие и студенты. Все поют - сначала "Вечная память", затем "Вы жертвою пали в борьбе роковой" (революционный похоронный марш). И это непрерывно. Молодые девушки с красными лентами в волосах несут красное бархатное знамя. Импозантно и страшно до слез, до боли. Эта оргия красного цвета представляется мне символикой крови...

- Это смотр революции, - сказал Баженов.

- Во всяком случае, смотр сочувствующих сил, - заметил Ал. Ник. Милюков (Алексей Николаевич - инженер и один из главных "винтов" стачечного комитета. Он нам рассказывал разные эпизоды этих исторических дней - между прочим, свои визиты в банки - "Лионский кредит" и "Купеческий" - которые на его предложение "закрыться" исполнили "сие" немедленно. Алексей Николаевич - родной брат Павла Николаевича и, хотя не так знаменит, как глава кадетской партии, но гораздо симпатичнее).

Ал. Ник. сказал, что до Ваганькова кортеж дойдет не раньше 11-12 ночи: "Туда дойдут чинно, только бы (тут он вздохнул) на обратном пути обошлось без убийств".

Все нервы напряжены. Впереди неизвестность. Когда-то всё "образуется" в нашем взбаламученном море!..

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861-1928) - прозаик, драматург, член "Московского общества взаимопомощи лиц интеллигентных профессий". Позднее, в 1910-е годы, ее романы ("Ключи счастья", "Вавочка" и др.) завоевали огромную популярность. Крандиевская Анастасия Романовна (1865-1938) - прозаик, публиковала в журналах и газетах небольшие рассказы из жизни учащейся молодежи, рабочих, революционной интеллигенции. Повесть "То было раннею весной" дала название ее первому сборнику. После 1917 года от литературной деятельности отошла.
2. Михайловский Николай Константинович (1842-1904) - публицист, критик. Редактор журнала "Русское богатство". Вейнберг Пётр Исаевич (1831-1908) - поэт, переводчик. Многолетний председатель Литературного Фонда. Боборыкин Пётр Дмитриевич (1836-1921) - писатель, драматург.
3. Гольцев Виктор Александрович (1850-1906) - публицист и общественный деятель, участник земского движения, сотрудник журнала "Вестник Европы", издатель журнала "Русская мысль". Общеизвестный оратор, В. Гольцев всегда был в центре политических и литературных событий - собраний, торжеств, поминок; был дружен со многими писателями.
4. Катрин де Вивон, маркиза де Рамбуйе (1588-1665) - хозяйка отеля "Рамбуйе" в Париже, где собирались "великие люди и высочайшие умы своего века".
5. Потемкин Владимир Петрович (1874-1946) - юрист, впоследствии крупный советский дипломат и нарком просвещения. После его смерти его имя носил до 1960 года Московский городской педагогический институт.
6. Скалон Василий Юрьевич (1864-1907) - сотрудник газеты "Русские ведомости".
7. Маклакова Лидия Филипповна (1852-1936) - прозаик, очеркист, один из виднейших деятелей "Общества любителей российской словесности". Ее рассказы и очерки были отмечены Н. А. Некрасовым, И. С. Тургеневым.
8. Речь идет о зверском избиении полицией участников студенческой демонстрации перед Казанским собором 4 марта 1901 года.
9. Трепов Дмитрий Федорович (1855-1906) - в то время оберполицеймейстер Москвы. С ноября 1905 - петербургский ген. губернатор.
10. Герье Владимир Иванович (1837-1919) - историк, профессор Московского университета, организатор Высших женских курсов в Москве в 1872 году и многолетний их директор.

11. Ванновский Пётр Семенович (1822-1904) - генерал-адъютант, военный министр (1881-1898). В 1901-02 гг. был министром Народного Просвещения.
12. Гейден Пётр Александрович (1840-1907) - граф, земский деятель, президент Вольного экономического общества.
13. Ковалевский Максим Максимович (1851-1916) - историк, социолог, юрист, академик, профессор Высшей Русской школы в Париже.
14. Аким - персонаж драмы Л. Н. Толстого "Власть тьмы".
15. Волошин Максимилиан Александрович (1877-1932) - поэт и художник. Был дружен с Р. М. Хин-Гольдовской, посвятил ей в 1913 году стихотворение "Р. М. Хин".
16. Шор Давид Соломонович (1867-1942) - пианист, профессор Московской консерватории; знакомый, корреспондент и адресат Л. Н. Толстого.
17. "Польди" - Леопольд Семенович Ауэр (1845-1930) - скрипач, профессор Петербургской консерватории. О нем и его жене Надежде Евгеньевне см. I и II части "Дневников" ("Грани", №№ 163 и 173).
18. Здесь, по-видимому, речь идет о Николае Федоровиче Анненском (1842-1912) - публицисте, сотруднике журналов "Отечественные записки" и "Русское богатство", брате поэта Иннокентия Анненского.
19. Алексеев Евгений Иванович (1843-1909) - внебрачный сын Александра II, адмирал, главнокомандующий действующей русской армии во время русско-японской войны, наместник Его Величества на Дальнем Востоке в 1903-1905 гг.
20. Макаров Степан Осипович (1848-1904) - вице-адмирал, ученый-океанограф; в начале русско-японской войны был назначен командующим Тихоокеанским флотом.
21. От названия уездного города Осташков, на озере Селигер, недалеко от которого находилось имение Катина (ст. Ново-торжская Николаевской ж. д.).
22. Куропаткин Алексей Николаевич (1848-1925) - генерал-адъютант, военный министр (1898-1904), главнокомандующий русскими войсками на Дальнем Востоке в период русско-японской войны. После поражения при Мукдене был смещен с поста главнокомандующего.

23. "Златовратовщина" - от: Златовратский Николай Николаевич (1845-1911) - прозаик, публицист, мемуарист. Характерные черты его творчества - апология общинной жизни, поэтизация "мира" крестьянской души, несущей в себе всё "чистое, любовное, устойчивое"... Его образы идилличны и благодетны, по типу и языку сходны с героями русских сказок.

24. Плеве Вячеслав Константинович (1846-1904) - государственный деятель, с 1902 года министр Внутренних Дел и шеф жандармов. Убит эсером Е. С. Сазоновым.

25. Гот Эдмон - французский актер, прославился исполнением роли Тартюфа в 1890 году.

26. Тимирязев Климентий Аркадьевич (1843-1920) - физиолог, дарвинист, с 1878 года профессор Московского университета. Один из первых среди ученых приветствовал Октябрьскую революцию.

27. Стессель Анатолий Михайлович (1848-1915) - генерал-лейтенант, с августа 1903 г. был комендантом Порт-Артура, затем начальником Квантунского укрепленного района. В декабре 1904 г., вопреки решению Военного Совета, сдал крепость Порт-Артур японским войскам. В 1906 г. был уволен в отставку, затем осужден как виновник капитуляции, но в 1909 г. помилован царем.

28. Святополк-Мирский Пётр Дмитриевич (1857-1914) - князь, генерал-адъютант, генерал-лейтенант. Министр Внутренних дел с августа 1904 по январь 1905, в период так называемой "весны", когда, после убийства Плеве, Николай II был вынужден смягчить режим полицейщины.

29. Пьеса Р. М. Хин-Гольдовской "Поросль" в 1905 году репетировалась и была поставлена в Малом театре.

30. Амфитеатров Александр Валентинович (1862-1938) - прозаик, публицист, фельетонист, драматург. В его фельетоне "Господа Обмановы", опубликованном в январе 1902 года, высмеивались члены династии Романовых, в том числе Николай II (Ника-Милуша). Фельетон имел большой общественный резонанс. Амфитеатров был сослан в Минусинск, но в 1904 году получил разрешение выехать за границу вместе со своей женой, оперной певицей И. А. Райской.

31. Струве Пётр Бернгардович (1870-1944) - экономист, политический деятель, публицист, один из лидеров партии кадетов. После 1917 года жил во Франции, издавал газету "Возрождение".

32. Немирович-Данченко Василий Иванович (1848-1936) - прозаик. Автор романов, путевых очерков, мемуаров. Сборник его корреспонденций "Год войны" (о русско-турецкой войне 1877-1878 гг.) приобрел европейскую известность.

33. Крушение царского поезда у ст. Борки Курско-Харьковско-Азовской ж. д. произошло 17 октября 1889 года.

34. Витте Сергей Юльевич (1849-1915) - граф, государственный деятель. В 1903-1905 гг. - председатель Комитета Министров; с октября 1905 по апрель 1906 возглавлял Совет Министров.

35. Милуков Павел Николаевич (1859-1943) - историк, публицист, активный деятель Союза Освобождения, один из организаторов Союза Союзов и Партии кадетов.

36. Набоков Владимир Дмитриевич (1869-1922) - криминалист, профессор уголовного права, участник Земских съездов и Союза Освобождения, один из основателей Партии кадетов. Отец писателя Владимира Набокова.

37. Родичев Федор Измайлович (1854-1933) - помещик, участник Земских съездов, член ЦК Партии кадетов.

38. В Леонтьевском переулке жила Клара Левенталь, с семьей которой дружили Гольдовские.

39. Мануйлов Александр Аполлонович (1861-1929) - экономист, член ЦК Партии кадетов. В 1908-1911 гг. ректор Московского университета. В 1917 г. министр просвещения Временного правительства.

40. Баженов Николай Николаевич - врач-психиатр.

41. Боден Альфонс - врач и политический деятель, убитый в Париже на баррикадах в 1851 году, в дни декабрьского переворота Наполеона III.

Игорь МИРОШНИЧЕНКО

КОНВОЙ

9 мая 1945 года – День Победы – мы встретили в Курляндии – латвийской провинции, расположенной к западу от Риги. За неделю до этого наш 943-й артиллерийский полк, в котором я служил командиром огневого взвода 76-миллиметровых орудий, отвели на отдых. Полк расположился в небольшой роще, в семи километрах от передовой. Находясь недалеко от фронта, мы всё время слышали гром артиллерийской канонады и понимали, что началось наступление наших войск, конечной целью которого была окончательная ликвидация Курляндской группировки противника. С этой целью сюда была переброшена из Восточной Пруссии наша 376-я стрелковая дивизия, входившая в состав 1-ой Ударной армии.

* Следующие два небольших очерка мы посвящаем полувековой годовщине окончания Второй мировой войны. Как по-разному для многих людей обернулась победа! Где-то у Балтийского моря молоденький лейтенантик ведет колонну пленных немцев и латышей – почти идиллическая картинка, на которой всеми участниками владеет одно: наконец-то кончилась война! И впереди – будущее... А где-то в гористом районе Австрии готовится победителями кровавая бойня, последняя расправа над непокорившимся российским казачеством. И будущего нет...

Господи, Господи, но какой же дивный май стоял в том далеком 1945-ом!

Группировка немецко-фашистских войск на Курляндском полуострове возникла в результате того, что немецкие войска, отброшенные от Ленинграда в январе-феврале 1944 года, отходящие на запад, были отрезаны от своих основных сил, а затем прижаты к Балтийскому побережью. Так образовался Курляндский котел, в котором оказались 33 дивизии, общей численностью в 300 тысяч человек. Оборонялись немцы с удивительным упорством, порой мы просто восхищались их стойкостью.

Неоднократно предпринимались попытки ликвидировать группировку. При наступлении наших войск использовалась полутора-, а иногда и двух-часовая артиллерийская подготовка, в бой шли армады танков, пехоту поддерживала и артиллерия, и авиация, но немцы отходили лишь на 3-4 километра и снова зарывались в землю. Немцев, конечно, можно было понять: отступить им было некуда, за их спинами перекатывались волны Балтийского моря. Вывозить на судах блокированные войска Гитлер, видимо, не имел возможности, немецкому верховному главнокомандованию было не до этого: части Красной армии подходили к Берлину.

Рано утром 8-го мая, накануне Дня Победы, в расположении нашей части прозвучал сигнал тревоги. Был дан приказ: в полном составе выстроиться в походную колонну. Через четверть часа, после быстрых сборов, ряд мощных студебекеров с прицепленными орудиями выстроился в колонну на дороге. По сигналу машины двинулись в сторону фронта. Личный состав моего взвода сидел в кузове автомашины, а я находился рядом с шофером в кабине первого студебекера нашей батареи. Впереди двигались автомашины других подразделений нашего полка.

Ехали около получаса, проехали недавние позиции наших и немецких войск, видели следы последних боев, кое-где еще лежали трупы вражеских солдат. Многие из нас удивлялись тому, что по всем признакам линия фронта была совсем близко, а между тем не слышалось ни артиллерийской канонады, ни пулеметных, ни автоматных очередей. И вообще было непривычно тихо.

Неожиданно колонна остановилась, бойцы выпрыгнули из кузовов машин, чтобы размять ноги. Погода была чудесная: с ясного голубого небосклона светило нежаркое утреннее солнце. В придорожных кустах порхали и щебетали какие-то птички.

Вдруг видим, со стороны головы колонны бежит какой-то солдат, машет руками и что-то кричит. Подбежал к нам, перевел дух и выпалил: "Братцы, война кончилась"! Поначалу все остолбенели, а через секунду на него закричали наши бойцы: "Врешь, не может быть", — а он свое, — "Ей Богу, сам слышал, по радиации передавали, Германия капитулировала".

Уже через несколько минут весь командный состав нашего артиллерийского дивизиона и бойцы слушали сообщение Верховного главнокомандования о Победе.

Что тут началось: крики "Ура", объятия, стрельба в воздух из автоматов и винтовок. Я, конечно, тоже был вне себя от радости. Сразу пришла в голову мысль: как можно скорее известить в Ленинграде маму, что я жив и здоров. Радость моя была вполне понятна: пробыв на передовой около года в качестве командира огневого взвода, а потом будучи командиром взвода управления батареи, я попадал в такие переделки, что не раз прощался с жизнью. Вспомнились и самые страшные моменты, как ходил в цепи пехо-

ты в лобовую атаку под Миттавой, переправа под бомбежкой через реку Березину, лежание на снегу под минометным обстрелом с рассвета до темноты, стрельба прямой наводкой по дзоту с расстояния 300 метров и многое другое. Что делать дальше, продолжать ли служить в армии или лучше демобилизоваться и продолжать учебу с целью поступления в институт?

Несколько дней мы упивались радостью Победы: пели песни, делились друг с другом своими мечтами, готовили вкусные обеды, вволю спали, но через короткое время этой вольной жизни пришел конец. Приказом по полку был установлен типичный для армии распорядок дня. Утром подъем по сигналу, зарядка, строевые занятия, политическая подготовка и т. п. Поначалу всё это не очень понравилось, ведь на фронте, между боями, мы делали всё, что желали, но пришлось подчиниться, армия есть армия.

В первые дни после знаменательного Дня Победы мимо нас, по шоссе, проходили бесконечные колонны сдавшихся по условиям капитуляции немцев. Одетые в серовато-голубоватые или защитного цвета мундиры, без погон и наград, они шли довольно бодро, головы их не были опущены, шагали немцы молча, но при этом не выглядели удрученными. Наоборот, мне казалось, что они были даже рады окончанию ужасов войны, а главное тому, что остались живы. Колонны немцев были очень большие, они шли, конечно, без оружия, но их было так много, что нам становилось как-то не по себе. Видимо, действовала привычка опасаться людей в немецкой военной форме.

Как я уже говорил, наши войска 1-го Прибалтийского фронта в последние месяцы войны с боями двигались в общем направлении к Балтийскому побережью, имея целью ликвидировать крупную

группировку войск противника, попавшую в Курляндский котел. Капитуляция приостановила общее движение наших войск к морю. До берегов Балтики оставалось примерно 90–100 километров.

Через некоторое время после капитуляции Германии и Дня Победы до нас дошли слухи, что не все солдаты и офицеры противника сдались, что часть их, как нам потом сообщили, укрылась в лесах и попряталась на хуторах. Наша радость по поводу окончания боев оказалась преждевременной. Мы снова в напряжении и с тревогой ждали какого-то нового приказа.

Приказ этот не заставил себя ждать. Он был прочитан во всех частях и подразделениях фронта. Суть его состояла в следующем: в связи с тем, что часть немецко-фашистских войск не выполнила приказ своего командования о капитуляции и не сдалась в плен, всю Курляндию, которая не была пройдена нашими частями, необходимо тщательно прочесать, чтобы ликвидировать оставшиеся очаги сопротивления и выловить разбежавшихся по лесам и хуторам солдат и офицеров противника.

Согласно этому приказу все военнослужащие всех родов наших войск, за исключением частей и подразделений обслуживания, были временно преобразованы в пехотинцев. Такое решение нашего командования нам было понятно, ведь для того, чтобы прочесать как гребенкой всю Курляндию, надо было иметь очень много стрелковых подразделений.

Почти весь личный состав нашего артиллерийского полка был распределен повзводно для прочесывания местности. Обычно бойцы моего взвода с автоматами в руках шли растянувшейся цепью, на расстоянии 10–15 метров друг от друга. Я же шел с левого края, держа в поле зрения всю цепь своего подразделения. Слева и справа от нас двигались

цепи других взводов. Шли и по полям, и через леса и болота, продирались через кустарник. Иногда где-то по сторонам слышали выстрелы, звучали автоматные очереди. Кто-то сказал, что подразделения смежного с нами полка напоролись на засевших в роще эсесовцев, которые оказали сопротивление, и что у соседей есть даже убитые и раненые. В полосе движения нашего полка, слава Богу, таких инцидентов не было, хотя не сдавшихся добровольно солдат и офицеров мы обнаружили немало. Многие из них были латышами, в свое время завербованными в армию фашистской Германии.

Временами мы выходили на хутора, при этом вся цепь по сигналу останавливалась, а я с сержантом и тремя бойцами заходили в дом. Мы спрашивали, как правило, нет ли на хуторе немецких военнослужащих, не имеется ли оружия или какого-либо военного имущества. Хозяин хутора подписывал заранее заготовленный документ, подтверждающий его показания. Пока я и сержант вели через переводчика разговор с хозяином, бойцы наши тем временем осматривали всю усадьбу: чердаки, подвалы, сараи, сеновалы. Помню такой случай: осмотрели хутор, сидим в горнице, хозяин подписал свои показания, что на хуторе нет военнослужащих немецкой армии и оружия, как вдруг два наших солдата вносят в комнату ручной немецкий пулемет. Он был найден на чердаке, зарытым в сено. Спрашиваю хозяина-латыша: "Что это такое?, — а он твердит, — "Не сапрут, не сапрут (не понимаю — лат.)", — и еще что-то говорит. Переводчик объяснил нам, что хозяин говорит, будто на прошлой неделе у него на чердаке ночевали три немца, они, видимо, и зарыли в сено этот пулемет. Проверить это, конечно, было невозможно.

Но самое главное, что нам надо было делать на хуторах, так это забирать с собой всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Это было малоприятное и даже тяжелое в моральном отношении дело. Обычно, как только мы сообщали, что на хуторе должны будем забрать с собой всех мужчин, начинались слезы, причитания и упрасивания. Мы говорили, что после проверки почти всех отпустят, надо лишь убедиться, воевали они или нет на стороне Германии и не совершили ли они преступлений. Наши уговоры мало помогали, и мы были вынуждены быть свидетелями тяжелых сцен расставаний матерей с сыновьями или жен с мужьями. С запасом хлеба, сала, вареных яиц на несколько дней, с ложкой и кружкой они отправлялись под конвоем в специальный отряд для военнопленных.

Прочесыванием местности мы занимались десять дней, прошли за это время более 90 километров и в конце концов вышли к Балтийскому побережью. Мы стояли на берегу, перед нами плескались серо-голубые волны Балтики, а в 10 километрах к востоку от нас был виден латышский город и порт Вентспилс – Виндава.

Пленных к этому времени у нас набралось 164 человека, примерно четверть из них были латыши, основную же часть составляли немцы.

На берегу моря мы увидели оборонительные сооружения и блиндажи, в которых жили немецкие офицеры и солдаты, защищавшие побережье. Помню, как бойцы удивлялись благоустройству этих земляных убежищ и даже их комфортности. Земляные стены блиндажей были заделаны деревом, так что земля и песок не сыпались со стен. Особый восторг у нас вызвали полочки в этих землянках, на них мы находили хорошие вина, шпроты и даже шоколадные конфеты. "Да, немцы и воевать предпочитали с удобствами", – шутили наши бойцы. На

высоких соснах у них были сооружены наблюдательные пункты, с которых открывался чудесный вид на море.

Вдоль всего берега стояли макеты артиллерийских орудий, "стволы" их были направлены в сторону моря, а кое-где мы увидели и настоящие орудия, но их было мало. Помню, как офицеры наши смеялись при этом, вспоминая доклады наших морских разведчиков, которые, рассматривая с катеров берег противника и увидев огромное количество длинных стволов орудий, а в действительности – макетов, пришли к выводу, что берег неприступен.

Всех собранных по лесам и хуторам немцев и латышей предстояло отправить в специальный лагерь, где они должны были пройти проверку, то есть надо было выяснить, не совершали ли они военных преступлений. Отдел, занимавшийся этим, и специальный лагерь располагались примерно в 100 километрах к югу от нашего местонахождения.

Из 164 пленных сформировали большой отряд, разбили его на 4 группы примерно по 40 человек в каждой, со старшим во главе. Три группы состояли из немцев, одна – из латышей. Конвой определили в 25 человек, начальником назначили капитана, командира батареи, а меня – его помощником; в конвойной группе было еще три сержанта, остальные солдаты.

Колонна пленных вытянулась вдоль дороги, шли по четыре человека в ряд. Впереди колонны шагали трое: я и два сержанта, за нами – сама колонна. По ее бокам двигались наши солдаты с автоматами на груди. Замыкали колонну два солдата и сержант.

Перед началом движения колонны начальник конвоя, капитан, в своей краткой речи предупредил всех пленных, что попытки к бегству могут

кончиться трагически, но мне его предупреждение показалось излишним, я видел, что все немцы и латыши об этом и не помышляют. Потом капитан разъяснил мне, что его во время движения колонны рядом не будет, так как он поедет вперед в кабине грузовика с продуктами, машина также будет тащить за собой полевую кухню. Через каждые 10–15 километров грузовик будет останавливаться для организации для всех пленных и нас, членов конвоя, обеда или ужина.

Практически я командовал движением всей колонны и я же оставался ответственным за это не простое и не обычное для меня дело. А если еще учесть, что мне в то время еще и двадцати лет не исполнилось, то можно представить мое положение.

Колонна, согласно плану капитана – начальника конвоя, двигалась со скоростью примерно пять километров в час. Во время очередного привала с едой начальник конвоя указывал мне на карте место следующей трапезы, потом он садился в машину с прицепленной кухней и снова с поварами уезжал вперед.

Колонна шла медленно, был конец мая, голубое небо, теплое солнышко и свежая зелень радовали глаз. Погода стояла прекрасная, и на душе было легко, мне казалось, что пленные наши не унывали, так как не испытывали каких-то особых трудностей. Никто их не подгонял, не обижал и вообще, по-моему, даже не питал к ним ненависти. По крайней мере, внешне у наших солдат такие чувства никак не проявлялись. Мы все просто исполняли приказ по конвоированию военнопленных и вообще больше думали о нашей дальнейшей судьбе, чем о чем-либо другом.

На привалах, во время обеда, завтрака или ужина, пленные выстраивались в очередь к полевой кухне. Получив свою порцию, каждый шел к своим,

садились все прямо на траву, небольшими группами, человек по пять-десять, и ели, отдельно латыши и отдельно немцы, причем всегда порознь, офицеры и солдаты. Однажды я наблюдал, как обедала группа немецких офицеров, рассевшаяся на траве. После того, как суп и второе были съедены, один из офицеров достал из рюкзака консервную банку. Все стали ее разглядывать и что-то обсуждать. Как я понял, они не знали, как ее открыть. Консервного ножа у них не было, а других ножей им иметь не разрешалось. Один из офицеров встал и с банкой в руке направился к группе немецких солдат, обедавших неподалеку, видимо, с целью попросить у них консервный нож. Как только он подошел к ним, они моментально все вскочили и вытянули руки по швам. Я был удивлен и даже восхищен такой дисциплиной, порядком и уважением к старшим по званию, ведь на офицере не было погон, правда, по обмундированию, нашивкам и отличной выправке сразу угадывался строевой офицер. Казалось бы, в плену они все должны были быть равными, но, видимо, дисциплина, привычка и организованность были у немцев в крови.

Особые хлопоты и заботы вызывали у меня ночевки. Я старался выбирать для этого хутор побольше, со многими сараями и амбарами, чтобы пленные могли укрыться от дождя и ветра. Кроме того, желательно было, чтобы хутор находился на открытом месте, не в лесу и не рядом с ним. Это значительно облегчало ночную охрану.

Обычно перед отбоем все пленные выстраивались по группам, немцы и латыши отдельно. Я проходил мимо этого, довольно длинного построения, а старшие групп с помощью переводчика поочередно докладывали мне, что все люди в наличии. Я давал команду: "Отбой", и все расходились спать. Перед тем, как самому идти отдыхать, я инструктировал

тот состав конвоя, который заступал на ночь в караул. Просыпались обычно рано, с петухами. Перекусив, мы снова отправлялись в путь.

Во время привалов сидящие на траве небольшие группы немцев иногда вступали в разговор с конвоем. Некоторые немцы знали русский язык, а кое-кто из наших немножко знал немецкий. По инструкции это запрещалось, и я старался этого не допускать, но, когда меня поблизости не было, такие беседы между пленными и конвойными имели место. Однажды мимо отдыхающих на земле групп по дороге довольно медленно проехал "виллис". Сидящий в нем полковник вдруг остановил машину, вышел из нее и потребовал к себе старшего. Я быстро подошел и доложил ему, кто мы такие и какую задачу выполняем. Выслушав меня, он неожиданно спросил, почему мои конвойные разговаривают с пленными немцами. Я, помолчав и подумав, ответил: "Видимо потому, что русские люди незлопамятны и отходчивы". Полковник на этот счет сказал: "И всё-таки этого допускать нельзя". Отчитав меня, он сел в машину и уехал.

Как-то во время очередного привала ко мне подошел латыш и стал что-то говорить, указывая куда-то в сторону. Переводчик объяснил мне, что тот просит у меня разрешения сходить в ближайший хутор. Он с трудом был виден в купе деревьев на ближайшем пригорке. Я удивился и сразу отказал, но переводчик пояснил мне, что латыш уверяет, что там, на хуторе, находится его родной дом и что сейчас там его мать и отец. Я призадумался, а латыш снова стал о чем-то просить. Стоявший рядом со мной помощник, старший сержант, стал уговаривать меня пойти всё-таки туда нам с ним вместе. Я возмутился такому предложению и возразил ему, что мы не имеем права оставлять пленных без надлежащего надзора. Однако мой

помощник уговорил меня, он мотивировал тем, что на двадцать шесть человек нашей охраны с сержантом во главе вполне можно положиться, тем более, что все пленные находятся не в походной колонне, а сидят на большой поляне. В знак согласия я кивнул головой и через переводчика известил об этом пленного латыша, тот прямо засиял от радости. Детально проинструктировав остававшегося вместо меня младшего сержанта, я со старшим сержантом, пленным латышом и переводчиком отправился на хутор.

Пройдя по полю метров четыреста, мы вошли в усадьбу. Я видел, что в окнах были люди, которые за нами наблюдали. Не успели мы подойти к дверям, как они раскрылись, и нам навстречу выбежала немолодая женщина и с возгласами бросилась к нашему пленному на шею. Без объяснений стало ясно – это была его мать. Она спрашивала о чем-то сына, кидая на нас тревожные, недружелюбные взгляды. Затем на крыльцо вышел усатый мужчина. Как я понял, это был отец латыша. Вслед за ним из дома вышли все остальные домочадцы, в их числе были и две красивые девушки-блондинки. Как потом выяснилось, это были сестры нашего подопечного. Мать стала что-то причитать. Я попросил переводчика успокоить родителей, сказав им, что сына их мы ведем в специальный лагерь, там всё проверят и, если во время боевых действий он не совершал военных преступлений, его отпустят.

Отец раскрыл широко двери и что-то стал нам говорить, как я понял, он приглашал нас всех войти в дом. Он еще что-то прибавил, несколько повысив голос, и сразу все члены большой семьи засуетились по всему хутору. Мы зашли в просторный дом. Там, в чистой горнице, какие-то женщины накрывали на стол, а девушки вынесли для нас

всё, что нужно для умывания: кувшин с водой, большой медный таз, мыло и махровое полотенце. Умывшись в сенях, мы снова зашли в горницу и сели за большой стол. Чего на нем только не было: сало, колбаса, сыр, какая-то рыба, всевозможные салаты и закуски, посреди стола высились бутылки. Это были наливки и настойки домашнего приготовления, и красовалась даже бутылка рижского бальзама с яркой наклейкой. Всё выглядело очень аппетитно. От такого зрелища у нас даже слюнки потекли. Давно, не месяцы, а годы мы не видели таких деликатесов.

Нас и всю семью пригласили за стол. Отец встал, что-то произнес, все заулыбались, встревоженное лицо матери как-то смягчилось, и он начал разливать вино. Мне он налил рюмку первому, и вдруг мне пришла в голову мысль, что вино может быть отравлено. Такая же мысль мелькнула в голове моего помощника. Впоследствии я очень стыдился своих подозрений. Как бы догадавшись, о чем мы думаем, хозяин налил себе большую рюмку вина из той же бутылки, еще что-то сказал, видимо, тост, и залпом выпил ее. Перед тем, как начать закусывать, я снова ощутил укол подозрения. Оказалось, что сержант тоже. Но хозяин положил нам что-то из закуски, с этой же тарелки взял и для себя и стал с видимым удовольствием всё есть. Я сказал на ухо сержанту, чтобы он ел только то, что едят сами хозяева, но вскоре мы напрочь забыли о своих гнусных подозрениях и с аппетитом принялись за еду.

Примерно через час с трапезой было покончено. Мы поблагодарили хозяев и попрощались. Мать стала горячо обнимать сына и что-то причитать. Я еще раз попросил переводчика успокоить родителей. После этого мы отправились в обратный путь, к отряду наших военнопленных.

В один из дней пути, к вечеру, ко мне подошли оба моих помощника – сержанты. Они завели со мной особый разговор. Старший, обратившись ко мне, спросил: "Товарищ лейтенант, мы идем уже третий день, и таких дней будет еще немало. Немцам это определено судьбой, по заслугам, а чего ради мы бьем свои ноги, устаем и пыль глотаем"? Я удивился вопросу и сначала не мог понять, к чему они клонят. Предложение же их было таково: на хуторах, мимо которых мы проходим, находится немало лошадей и повозок; часть лошадей явно немецкие, о чем свидетельствуют тавро на крупах и коротко подстриженные хвосты; местное население таких лошадей не имеет. Сержанты просили меня отпустить их на некоторое время, чтобы найти таких лошадей и повозку. На нее они предлагали положить вещи и временами самим ехать на ней. Мне эта идея понравилась, тем более, что они обещали быстро догнать колонну, как только найдут лошадей и какой-нибудь экипаж. Я их отпустил.

Прошло полчаса. Я стал оглядываться назад в надежде увидеть желаемый тарантас. Затем минуло уже более часа, а никого не было видно. Меня не на шутку это начало тревожить. В голове зарождались нехорошие мысли: что они могли нарваться на группу несдавшихся эсесовцев, что в перестрелке их могли ранить или, не дай Бог, даже убить. Выстрелов, правда я не слышал, но тревога меня не покидала. Я уже проклинал себя за то, что поддался на такую авантюру.

Прошло еще около часа, и, наконец, я, уже основательно издерганный, услышал за собой топот копыт и перестук повозки. Сначала в сумерках и в пыли я не мог разобрать, кто едет. Каково же было мое удивление, когда в конце концов я увидел... голубую карету с золочеными гербами на ее боках.

В нее были запряжены две довольно красивые, холеные лошади. На передке кареты сидели оба моих сержанта и до ушей улыбались, видимо, довольные произведенным эффектом. Физиономии их были все в пыли, блестели только зубы. Солдаты мои смотрели на них, раскрыв рты. Я же, пораженный таким удивительным зрелищем, сначала не мог вымолвить и слова. Сержанты объяснили мне, что карета найдена ими в одном богатом поместье, хозяин которого, опасаясь Красной армии, бежал с отступающими немецкими войсками в Германию. Я успокоился и был рад, что всё закончилось благополучно. Через минуту я уже восседал с моими помощниками-сержантами на передке чудом доставшейся нам голубой кареты.

Экипаж наш двигался впереди колонны, я сам и оба моих сержанта по очереди сходили с кареты на землю и обходили со всех сторон колонну. Процессия наша, конечно, имела странный вид: длинная колонна пленных, окруженная конвоем, а впереди богатая голубая карета с золотыми гербами, на передке которой сидел молоденький лейтенант Красной армии и еще два сержанта. Проезжавшие и проходившие мимо нас люди с удивлением смотрели на колонну, а уж на голубую карету и на меня вообще таращили глаза.

Во время прохождения колонны через городки, поселки и хутора всё население выходило на улицу смотреть на странную процессию. Местные жители-латыши кидались назад в свои дома и через минуту выносили оттуда хлеб, сало, даже пироги и, подбегая к колонне, совали эту снедь пленным. Меня это беспокоило, так как допускать такое было нельзя, но я решил делать вид, что не замечаю происходящего.

Во время нашего шествия пленные иногда обращались к нам за помощью, мы им в этом никогда

не отказывали.. Помню, как однажды ко мне подошел уже немолодой немец в сопровождении переводчика. Пленный пожаловался на боли в желудке. Я подозвал санинструктора и спросил, чем можно немцу помочь. Тот, выслушав через переводчика пленного, порылся в сумке, достал какие-то порошки и таблетки и дал их больному с указанием, как принимать. В другой раз ко мне обратился еще один немец, он подошел, прихрамывая, снял ботинок и носок — на ноге была видна сильная, до крови, потертость. Санинструктор дал ему мазь и лейкопластырь, а я разрешил ему подсесть на запятки нашей кареты...

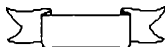
На шестой день пути, к полудню, пройдя в обратном направлении от моря, к югу, около ста километров, мы, наконец, прибыли к месту назначения. Это был лагерь и пункт проверки военнопленных. В ожидании своей дальнейшей судьбы наши подопечные расселись на большой поляне. Погода была хорошая, по голубому небу медленно плыли барашки белых облаков, свежий ветер умерял жару. Утомленные походом немцы и латыши растянулись на траве, не было слышно даже разговоров, каждый думал о своем, конечно, размышляли о своей дальнейшей судьбе. Нам же не хотелось даже думать и вспоминать кошмары войны. Мой шеф и начальник, капитан, пошел докладывать администрации лагеря о прибытии новой партии пленных.

Я сидел на стволе упавшей березы, рядом со мной были мои помощники-сержанты. Вдруг я увидел группу немцев, которые, что-то обсуждая, направлялись к нам. Они все подошли и остановились от нас в шагах трех-четырех и замолчали. Вид у них был официальный и даже решительный. Я встал и с удивлением взглянул на них. Один вышел вперед. Подошел ко мне поближе и стал что-то громко говорить. По четкому ритму и тону, я

понял, что это – официальное обращение. "Он говорит, – перевел мне переводчик, – что уполномочен от имени всей группы немцев поблагодарить меня за гуманное отношение к военнопленным". Я задумался, а потом попросил переводчика задать ему свой вопрос: как они обращались с советскими военнопленными? Услышав такой вопрос, немцы заволновались и стали что-то горячо обсуждать между собой. Из их речи я понял только слова "СС", "СС". Переводчик перевел мне слова старшего группы. "Он говорит, что лично они ничего плохого по отношению к нашим пленным не делали, а все зверства чинили только эсесовцы".

Потом ко мне подошел другой немец, вытащил из нагрудного кармана авторучку и протянул ее мне. На ломаном русском языке он объяснил, что это маленький презент, но больше у него ничего нет. Я поблагодарил его, сказав "спасибо", а затем сообразил, что уместнее сказать "Danke schön", и повторил на сей раз по-немецки. Это было одно из немногих немецких слов, которые я знал.

Прошло уже полвека с того памятного мая 1945 года, у меня уже выросли внуки, седина давно забелила виски, а война и эскорт колонны военнопленных не забываются до сих пор. Кто знает, может быть, еще живы те немецкие граждане, которые шествовали через всю Курляндию под моим руководством и помнят этот необычный поход?



ЛИЕНЦ 1945. ЛАГЕРЬ ПЕГТЕЦ*

*Под Твою милость прибегаем, Богородице,
моления наша не презри...*

День 31 мая прошел очень тревожно. Ежечасно получали новые сведения, которые с невероятной быстротой передавались из уст в уста и в короткий срок облетали весь стан, протекая во все уголки казачьих станиц и казачьих полков, растянувших-ся на много километров.

В 6 часов вечера раздался тревожный звук трубы, призывавший всех казаков на площадь. Люди бросали все свои дела и торопились на площадь, боясь что-нибудь пропустить, что-то не дослышать. В течение нескольких минут площадь была заполнена народом, и в мертвой тишине раздался молодой голос: "От имени Марии Ивановны я должен передать вам следующее (имя Марии Ивановны Домановой, жены атамана Доманова, было известно в казачьем стане): сегодня Марии Ивановне было предложено при погрузке для отправки на родину войти первой в машину, т. е. послужить примером для казачества, и так как атамана нет в данном случае, она должна заменить его. На это ответ Марии Ивановны был такой: «В таком случае я отказываюсь быть примером и пойду к казачьим станицам, чтобы там умереть вместе со всеми»".

* Текст печатается без всяких изменений.

Среди толпы в несколько тысяч человек прошел одобрителный гул, но уже ощущалось, что надвигается что-то жуткое, что-то давящее. Толпа чувствовала себя досадно-беспомощной, но несокрушимой духом.

И снова тишина, и снова тот же голос: "Господа, наши офицеры живы. Они выдержали всё, их били, им плевали в лицо, но они выдержали всё и они живы. Теперь очередь за нами; если и мы выдержим завтра, то мы увидим наших офицеров". В толпе гул, вздохи и снова тишина и голос того же юнкера: "Завтра в 5 часов утра мы все как один должны явиться сюда, на площадь, на богослужение; все старики, все женщины, все дети войдут в середину, больных также надо принести; никто не должен оставаться в станицах, все должны быть здесь! Полки займут задние ряды, возьмутся за руки и твердо будут держать цепь. Никто не знает того, что ждет нас завтра. Быть может, сегодняшняя ночь – последняя ночь в нашей жизни. Но если будут хватать, только не сопротивляйтесь, становитесь на колени, будут бить – ложитесь, так как лежащего не бьют, только не сопротивляйтесь – сопротивляясь, погубим всё. Если выдержим, то мы будем с нашими офицерами. Один за одного, а Бог за всех! Кто хочет помолиться, может молиться сегодня в церкви, церковь будет открыта всю ночь".

На этом речь закончилась. Остался глухой ропот, растерянные взгляды беспомощных людей. Надвигались сумерки. Толпа медленно, медленно расходилась, делясь на группки, советовались, делились мыслями, но как-то полусознательно, с глазами, устремленными вдаль. Какая-то глубокая мысль засела в каждом мозгу, избавиться от которой не было сил.

Постепенно все разбрелись по своим местам – кто к будкам, кто к шалашам, чтобы хоть немного

уснуть и дать отдых измученной душе. Но не спалось. Медленно поднимались, как бы вспомнив о чем-то, и, медленно пробираясь в темноте, тянулись узкой лентой к церкви. В церкви царил полумрак, слышался монотонный голос. Невидимый в темноте, кто-то читал молитвы. В левом углу, в густом полумраке, стояли жаждущие исповеди, их было много...

Священник выслушивал, давал благословение, и каждый, получив отпущение грехов, молился в надежде на завтрашнее причастие и благополучный исход дня. Всю ночь тянулась цепь исповедующихся. Было так тяжело, так тоскливо на душе, и в то же время – смутная надежда на что-то, на какое-то чудо, на милость Божию, на цивилизованность народа.

С 29 мая, после взятия офицеров, начался голод в казачестве. Не только люди не ели, но и животные. Не понимая происходящего вокруг, эти животные, измученные голодом, смотрели с укором на людей. Их взгляды невозможно было вынести.

К 1-му июня весь стан был в трауре, были черные флаги, на которых выведено было: "Мы предпочитаем смерть возвращению на родину". Эти флаги развевались везде и всюду, их было много. Станицы и полки были растянуты от Пеггеца вдоль Тристаха и далее на много километров.

Утро 1-го июня. Только 5 часов утра. Солнце осветило кольцо гор. Красота природы в это утро не радовала. Она угнетала. Те, кто был в Пеггеце и вблизи, уже вышли на дорогу и стояли в ожидании главной массы. И вот вдали послышалось церковное пение, всё ближе и ближе, и, наконец, появляется церковное священство, иконы, хоругви, а вслед – многочисленная толпа казаков с пением молитв. Впереди – духовенство. Эта толпа по мере приближения к площади всё пополняется, растет,

так как лежащие по пути станицы примыкают к ней, и организовано движется к месту службы, движется с иконами и с пением молитв. Там, на площади, должна быть расправа, там решится судьба, быть или не быть.

Наконец, площадь. Здесь эту массу людей встречает духовенство, вышедшее из церкви, также с иконами и хоругвями, Остановившись на площади, пропускают в середину стариков, женщин и детей, и полки тесным кольцом образуют задние ряды. Начинается литургия. Не прошло еще четырех недель после Пасхи, поэтому поют еще: "Христос Воскресе"! Все сосредоточенно молятся, стараясь отвлечь мысли от предстоящего. Так проходит час, проходит другой. Как результат голода или волнения к горлу подступает беспрерывно соленая слюна.

Приближается момент причастия, и вдруг где-то далеко послышался гул машин, и ближе, и ближе. В толпе движение внутрь, стесниться, прижаться плотнее друг к другу. Этот гул уже совсем близко, где-то здесь. Раздается голос священника, у него в руках чаша: "Не оглядываться". И... мертвая тишина, моторы затихли, слышны прыжки сверху вниз, бряцание оружия и какая-то команда. "На колени", - отрывисто бросает священник, и вмиг вся многотысячная толпа - на коленях. "Под Твою милость прибегаем, Богородице, моления наша не презри..." Ширится и растет моление коленопреклоненной толпы.

Снова позади какая-то команда, затем стремление к толпе, слышно по шагам, какая-то возня, борьба и вдруг крик в задних рядах, тех рядах, которые защищают середину. Этот крик, безумный, дикий, охватывает всю толпу, крик, который слышен далеко в горах. В один миг все на ногах. Всё смешалось, тесно, душно, невозможно дышать, да-

вит со всех сторон, теснит грудь и горло, и вся эта масса с непрекращающимся криком, с поднятыми вверх руками движется, ища спасения, но куда? К реке Драве. Другого пути нет. Кругом машины (грузовые и танки). В полутора сотнях шагов – состав для погрузки и отправки на родину.

С ужасом в глазах движется эта толпа, медленно и с криком, а впереди уже захвачены жертвы. Трудно сказать, сколько их. Их бросают на землю одного за другим, возле них солдаты в английской форме, в черных беретах, они с резиновыми дубинками. Сейчас подойдет грузовая машина, и их бросят в нее, а они беспомощно смотрят на нас и молча молят о спасении. Мешающих этому злодеянию и сопротивляющихся били резиновыми дубинками, палками и стреляли по ногам отступающей толпы. Раненых забирали, оказывали первую помощь и отвозили к эшелону.

Когда начались выстрелы, крайние ряды бросились бежать, бежали как безумные, не оглядываясь и не останавливаясь, а большинство всё же двигалось к реке. И вдруг кто-то одумался: "Куда идем? К реке! Идем вперед, но не в одиночку, толпой"! И толпа двинулась вперед, и вновь все на колених...

На время экзекуция прекращается, солдаты заняты погрузкой захваченных. Их немало – мужчины, женщины, дети; грузят на машины, тех, кому удастся выпрыгнуть из машины, бьют и палками, и штыками. Везут к составу. Солдаты в английской форме охраняют толпу. Толпа – на колених. Дула танков смотрят прямо в лицо. Люди молятся в ожидании чего-то дикого, бесчеловечного. Моторы то гудят, то утихают. Люди ждут с минуты на минуту мученической смерти, и так до шести часов вечера.

Несколько человек убитых лежали здесь же, и как-будто бы безродные, и никто над ними не плакал. Многие нашли свой конец в Драве. Матери с детьми бросались в реку, и она уносила их, разбивая о камни, но не уступала никому. Сколько их, никто и никогда не узнает, и где всплывут их трупы, знает только Драва. Река бушевала, бешеное течение, камни и мутная вода с жадностью схватывали всё, что попадало к ним, унося далеко-далеко...

Наконец, или устав от "работы", или надеясь на то, что наученные горьким опытом люди сами пойдут к составу, а, может быть, и пресыщенные содеянным, активные "деятели" решили оставить площадь. Некоторые из них пошли по баракам с какой-то целью, другие отъехали на машинах. Танки отправились по мосту через Драву на Тристах, затем выкатили на шоссе, идущее вдоль Тристаха, и исчезли в поворотах дороги.

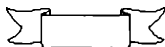
Стан представлял собой жуткое зрелище. Всё разбросано, изломано, исковеркано, обезображено, и среди этого бродят австрийцы, высматривая что-нибудь полезное для себя.

Оставшиеся в живых осторожно пробирались к своим обезображенным очагам с одной только мыслью – спасти жизнь и как? И вот с наступлением темноты вереницы людей с рюкзаками и без уходят в горы, покрытые лесом. Идут, не зная куда, чтобы остаться в живых, чтобы не быть отправленными на родину. Идут с женщинами и с детьми. Каменистые, крутые горы зачастую отвесны. Всё это не страшит решившихся на этот шаг. Идут по чужой земле без еды, без знания языка. Трудно предположить, чтобы в такой тяжелый, тернистый путь отправился кто-либо без нужды. А между тем, вслед за беглецами на рассвете отправились "охотники". Они хватают беглецов в горах, стаскивают

вниз, уводят за проволоку и, собрав достаточное количество, вновь грузят в составы. Некоторые из-за проволоки умудрялись бежать и бежали в горы, забивались в пещеры, питались сырыми грибами, уходили в такие непроходимые чащи, прятались в камнях, голодали, но не сдавались, и таких было много.

Каждый, переживший эту трагедию, имеет свою собственную историю, которая начинается с 28 мая 1945 года – и день 1-го июня, день "палкования", и последующие за ним дни июня, каждый, оставшийся в живых и не отправленный на родину, спасение свое считает чудом Божьей Воли, а в дальнейшем ни одна служба в лагерной церкви не проходила без этой дивной молитвы: "Под Твою милость прибегаем, Богородице, моления наши не презри..."

1945 г.



Андрей САМОХИН

**Швейцария. США. Россия -
кто на кого похож?***

"Бредит Америкой Русь,
К ней тяготеет сердечно..."

Н. А. Некрасов "Современники".

Доподлинно известно, что о "похожести" и даже изрядном "подобии" Америки и России охотно рассуждали и писатели, и политики еще в середине прошлого века. Америка (ясно, США) и Русь имеют много общего. Те же бескрайние просторы гигантских пространств, тот же пестрый мир народов, племен обычаев... И народы России (еще совсем недавно СССР) и США тоже, по мнению этих писателей и политических деятелей, схожи до чрезвычайности... Но вот только какие народы, скажем, из бывшего СССР?

Сравнения эти получили жизнь в 60-е годы прошлого века, когда Россия активно (путем, в основном, демонстраций флотом) поддержала Северные штаты против Юга в гражданской войне. Через какие-нибудь 3-4 года США прибрали к рукам, путем невиданной ранее в истории операции, Аляску (1867). До сей поры историки и политологи спорят, как это случилось и кто, собственно, виноват...

* Статья печатается с незначительными сокращениями. - Ред.

Многие публицисты охотно указывали на склонность русских и американцев к так называемому "продвижению вперед". Впрочем, еще Герцен указал, что русским на то, чтобы пройти от Чусовой до Камчатки понадобилось около 60 лет (1581 г. – экспедиция Ермака, а в начале 40-х годов XVII века казацкие атаманы со своими дружинами добираются до Великого моря), а американцам на такое же расстояние потребовалось почти два века... Справедливости ради, всё же заметим, что сравнивать эти два "марша", два великих пути к морю двух разных сил тем не менее никак нельзя. Американцы сначала под руководством отцов-основателей создали свое государство к концу XVIII века и только после этого двинулись, зато так, что и сейчас не остановились еще...

И всё же шли навстречу друг другу к Великому морю, к берегам океана. Похоже, что "общие черты" и "подобие исторических характеров" на сем и заканчиваются. Даже способ передвижения к Великому морю был различным. У русских – принципиально русский. Как сели они на свои ладьи да струги на Валдайской возвышенности, так и доплыли по рекам, речушкам, а где и волоком, "дубинушкой", значит, до самого, самого "последнего моря", до Тихого океана. Шли через пороги, по речкам, по течению, чтобы, значит, грести как можно меньше приходилось... Русская лень, ничего не поделаешь! Да ведь против течения и плыть трудно, если разве парус поставить. Но в те века с парусами было как-то трудно, ох, трудно. Вот и обратно не возвращались, а прямо там и оставались... Об этом удивительном передвижении – "стремлении к морю" – написал интересную работу знающий человек, американец. У него мы и взяли вышеизложенную гипотезу (G. Kerner, *The Urge to the Sea*. N. Y., 1946). В своей работе он приводит

прекрасную карту, считая отправной точкой движения русских Валдайскую возвышенность под Новгородом и заканчивая великий путь в устье р. Ульи, что впадает в Охотское море.

У американцев путь был совсем иной. Они двигались на колесных фургонах. Через прерии – американскую степь. И пыль столбом, но вперед, к океану. Со всем скарбом, с семьями, со скотом, но было это позднее, намного позднее.

Одним словом – много различных народов живут вместе и как будто как-то уживаются на одной, так сказать, "исторической земле". Большая, очень большая земля Северо-американских штатов, которую на протяжении всего XIX века заботливое и умелое руководство страны всё время приращивало: путем переговоров, умелых завоеваний, как в случае с Мексикой и т. п. Одним словом, при поверхностном взгляде сходство, действительно, имеется, но только при поверхностном.

Поспешим отметить, что внушительные успехи США и во внешней политике, и в политике внутренней, развитие технических достижений, успехи земледелия – вызвали восхищение и зависть в России, у ее верхнего класса, причем самого верхнего, и подвигло в первый раз на то, чтобы пожелать, как говорится, "догнать Америку". Весь XX век эти слова, превратившись в лозунг, станут печататься десятками лет на первых страницах всех газет России, тем временем "обернувшейся в СССР".

Так что погоню вслед США начали не большевики. Они только довели эту гонку до логического и неизбежного завершения – гибели великого государства, которым они правили. Но саму же гонку начали еще в XIX веке.

Заметим, что американцы были куда более реалистичны, и уже в 1816 году знаменитый амери-

канский президент Монро, автор столь же известной "доктрины Монро", высказывался о возможности войны с Россией в будущем. Последовавшие за этим события во взаимоотношениях двух стран, казалось бы, должны были насторожить политических деятелей России, США решительно вытесняли русских с американского континента, с той его части, которая им не принадлежала, и добились в этом полного успеха. Разве не следовало уже тогда сделать соответствующие выводы тем, кто руководил внешней политикой империи?! Тем более, что еще в середине прошлого века французский император Наполеон III предупреждал весь мир об "опасности, исходящей от двух гигантов – России и США".

Для того, чтобы лучше представить себе суть дела, вспомним очевидное – как была создана великая страна США и кто в ней живет.

Английские мореплаватели объявили открытые земли собственностью Англии еще в конце XVI века, однако, в той части нынешних США, которые тогда получили название Вирджинии, индейцы оказали решительное сопротивление завоевателям. За это позднее, когда колонисты сумели закрепиться на новых землях, индейцев уничтожили. Выражаясь по-современному, это был настоящий геноцид. Истребление индейцев было проведено в "сжатые сроки", несмотря на то, что колонисты не располагали способами XX века для уничтожения людей – за период 1706–1722.

Использовать индейцев как тягловый скот не получалось. Поэтому "общественно-полезный" труд" был организован путем привоза негров-рабов. Голландский корабль первый раз привез негров в Северную Америку уже в 1620 году (Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, т. 32, с. 288. СПб., 1901). Пуритане в Новой Англии вели

себя точно так же, как и колонисты в Вирджинии, беспощадно и в массовом порядке уничтожая индейцев. Поток же негров-рабов не прекращался, и проблема рабочей силы частично решалась. Достаточно сказать, что уже в 1800 году, в самом начале века, население США составляло 5 млн. 300 тыс. душ, из них 1 млн. 400 тыс. – рабов (там же, с. 294). Всё, как в Древнем Риме или при фараонах. Разница лишь в том, что рабовладельческая империя была создана пришельцами. Они завезли рабов из другой части Света, а местное население уничтожили. В этом была известная особенность США.

Но в своей экспансии США шли обычным путем. Напали на Мексику и захватили около одной трети территории этого государства. Но и покупали американские правительства земли весьма активно. В 1819 году при упомянутом президенте Монро была приобретена у Испании Флорида. О покупке Аляски у России, если это можно назвать покупкой, мы уже говорили выше. Во время Первой мировой войны приобрели у Дании Виргинские острова в Карибском море. Присоединили Гавайские острова, расположенные в Тихом океане.

Мы хотим подчеркнуть, что мы в нашей работе ни в малейшей степени не затрагиваем политику государств, а тем более не стремимся дать какие-либо сравнительные оценки. Мы хотели бы лишь проследить само образование, формирование, создание трех государств, даже, скорее, трех различных сил: США, России и... Швейцарии и сопоставить их пути в истории.

Междоусобные войны в США не слишком повредили развитию и росту могучей державы. В России, как мы знаем, всё пошло так, что привело совсем к другому – не столько к гражданской войне, сколько к продуманному и подготовленному заранее истреблению народа. Здесь также напрашиваются

интересные сопоставления, но мы не станем их пока затрагивать, а обратимся к нашей главной цели.

Начиная с 60-х годов прошлого века США не проиграли ни одной войны, которую начинали, напав на кого-нибудь (Испания) или вступив в войну на стороне коалиций. За одним исключением – Вьетнам. Но сия не слишком крупная неудача не представляет серьезного значения по сравнению с главным – с победой, одержанной США в “холодной войне” с СССР и коммунизмом. Достигнутой с выполнением почти немыслимого условия – без единого выстрела, без применения даже обычных видов вооружения, а об атомном или водородном мы уже и не говорим. Блестящая победа, достигнутая сочетанием ряда средств и условий: разложением коммунистической империи изнутри, могучим экономическим развитием и возможностями экономики всего западного сообщества, преступным руководством СССР, или лучше сказать – руководствами – которые сменяли одно другое. О них сказать – правительство – невозможно.

Итак, сегодня США оказались первой, и отнюдь не среди равных, держав на всем земном шаре, на нашей планете. Теоретически, особняком стоит Китай – древнейшее и цивилизованное государство. Какие-нибудь двести лет назад США появились на земле – и вот великий успех. Доселе неизвестный в истории человечества. Что же дальше?

В отношении роста населения – важнейшего фактора для успешного развития и существования по-настоящему великой державы, – то и здесь США также не испытали трудностей. Постоянный приток в страну эмигрантов, в основном из европейских стран, и ввоз рабов решали эту проблему до конца XIX века весьма успешно. Ныне же, благодаря высокому уровню жизни в США, обширности террито-

рии и возможности заниматься в любой сфере приложения труда: торговли, услуг, промышленности США притягивают слишком много людей из других стран, так что американское правительство принимает даже суровые меры по ограничению въезда в США. Причем введены строгие квоты для отдельных стран. Так, например, для бывшего СССР эта квота составляет что-то около 60-70 тысяч в год. Также ограничены въездные квоты и для азиатских стран. Но несмотря на подобные меры и ежегодную высылку из США незаконно прибывших в страну или оставшихся в ней людей, в США нелегально проживает от 3-х до 7-ми миллионов лиц различных национальностей, которых нужда и страшные социально-бытовые условия вынудили покинуть свои страны и стремиться обосноваться в США.

Сегодня это стало проблемой не только США, с нелегальной эмиграцией также отчаянно пытаются бороться правительства всех развитых, "богатых" европейских стран. Присутствие в стране, будь то США или Германия, огромного числа иностранцев, живущих нелегально, создает не только просто трудности для правительств или вызывает недовольство народа страны, но грозит превратиться в весьма серьезную и трудноразрешимую проблему: вызвать напряженность внутри страны, беспорядки и насилие, как мы это видим сегодня в Германии.

Значителен и экономический ущерб, вызываемый всеми этими факторами. Предсказать последствия такого наплыва людей других национальностей в европейские страны исключительно трудно, и даже, какой вид примут эти проблемы, сказать крайне трудно, хотя правительства, например, Великобритании и США стараются решительно бороться с нелегальными эмигрантами.

Но в США имеются к тому же и свои внутренние

этнические проблемы. Численность разных групп населения, не белых, продолжает расти, и их напряженные взаимные отношения указывают на серьезность положения, как это проявилось в событиях 1992 года в Лос-Анжелесе и некоторых других городах. Десятки убитых, жестокие уличные бои...

В США существуют вполне четко различимые расовые и национальные, даже языковые, группы. Это прежде всего негры или афро-американцы, далее идет непрерывно растущая испано-язычная община США – она насчитывает около 18 млн человек, причем около 60% из них имеют близких родственников в Мексике (См. вестник "Атлас". Цит. по еженедельнику "24 часа", 1993, № 20, с. 5) – и, наконец, быстро усиливающаяся азиатская община – корейцы, китайцы, вьетнамцы.

О постоянно усиливающемся влиянии негритянской общины в США на внутренние и даже внешние политические действия достаточно хорошо известно, а численность ее растет быстрее численности других этнических групп.

Потомки коренных жителей США – индейцев – составляют по различным данным от 900 тыс. до 1,4 млн. человек (Справочник "Население мира", М., 1989, сс. 395, 461). Значение их внутри страны невелико, особым влиянием они пользоваться в ближайшее время не станут. Однако могут действовать вместе с другими этническими группами США.

Азиатская же группа, включающая китайцев, корейцев, филиппинцев, японцев, вьетнамцев, крайне трудно поддается ассимиляции. Живут они обособленно. В целом их доходы выше, чем у большинства афро-американцев или индейцев.

И, наконец, белые американцы, составляющие большинство в США и говорящие на английском языке.

Как теперь видно, проблема ассимиляции в одной американской нации оказалась куда сложнее, чем предполагали разные ученые и политики. Об ассимиляции всех людей, вольно или невольно оказавшихся на территории США, в одно целое, в новую, так сказать, "историческую общность людей" писалось еще в XVIII веке. Отсюда, из США, и пошло выражение "плавильный котел". Все различия между народами и даже расами должны исчезнуть в этом плавильном котле, в результате чего родится "новая раса людей".

Однако в США, даже в высших слоях американского общества, и поныне не существует единого мнения по вопросу действительности этого плавильного котла. Весьма известный в СССР сенатор и бывший представитель США в ООН Д. Мойнихен в соавторстве с профессором Н. Гляйзером написал книгу "По ту сторону плавильного котла", завоевавшую широкую популярность. Д. Мойнихен пишет, что если раньше этнические группы считались пережитками ранних эпох, как бы остаточными чертами, свойствами доамериканской жизни человека, то теперь они рассматриваются как более постоянные формы общественного существования в США неслиянных и достаточно многочисленных групп. И полагать, что этничность исчезнет в "светлом американском будущем", весьма утопично. Второй из авторов этого труда позднее даже высказал утверждение, что этнические проблемы как причины конфликтов в обществе должны быть поняты как основные проблемы в существовании современного общества. Приведенные в этой книге мнения показывают, что в США существуют самые различные, иной раз прямо противоположные течения, как идейные, так и политические, согласные лишь в одном: национальные отношения и их роль внутри страны действительно составляют одну из главнейших проблем американского общества.

В частности, есть даже и такое мнение, что этнические различия среди американцев вовсе не переплавляются в плавильном котле, да и сам "котел" придуман для прикрытия фактической дискриминации отдельных этнических групп.

Впрочем, немало и таких, которые утверждают, что складывается и развивается "новый американский плюрализм". Среди них американский публицист и ученый Г. Айзекс. Он полагает, что при этом "плюрализме" отдельные этнические группы будут иметь свои законные и неотъемлемые права. В этой связи он приводит в пример систему султанской Турции времен Османской империи, где, мол, было нечто подобное.

Здесь уместно напомнить о различных странах и империях и о судьбе, их постигшей. Османская империя, Ливан, Южная Африка – последние на наших глазах.

Всем вышесказанным мы лишь стремились подчеркнуть тот бесспорный факт, что в США не только существуют национальные проблемы, но они уже давно вызывают многочисленные трудности для правительства США и даже опасности для страны как сверхдержавы в целом.

В этой связи интересен сборник работ современных американских мыслителей и политиков – "Держась скрижалей: американская консервативная мысль в XX-ом столетии" (Keeping the Tablets. Ed. W. F. Buckley, Jr.; Ch. R. Kesler. Harper & Row Publishers, N. Y., 1988). И интересен тем, что интересующей нас национальной проблеме в сборнике уделено совсем мало места. В одной из немногих работ в сборнике автор Е. Сауэл много говорит о способности различных национальных групп американцев к математике или химии. Обсуждается уровень образования, дохода и численности семей той или иной группы. Однако со-

вершенно ничего не говорится о влиянии той или иной группы в сфере, скажем, управляющих структур. А было бы не безынтересно, если бы кто-то из авторов проанализировал вес и влияние той или иной национальной или этнической группы после варки в американском "плавильном котле", чтобы понять истинный вес и реальную их силу в американском обществе.

Бывшие недавние "идеологически выдержанные" товарищи, марксисты-ленинцы тов. Познер и тов. Таратута, ныне восторженно воспевающие еще недавно бывшую для них главной "империалистической акулой" державу, считают, что, с одной стороны, именно многонациональный состав СССР и являлся его не просто слабостью, но фатальной слабостью, а с другой, доказывают, что многонациональное, этническое разнообразие является силой США. Оставим подобные утверждения на совести бывших пламенных борцов за "светлые идеалы марксизма-ленинизма". Нам же представляется, что подобное не может всё же быть сильной стороной внутренней жизни США.

Внутри США существуют те же самые проблемы и противоречия, которые существовали во многих великих империях прошлого: национальное неравенство, несоразмерные привилегии отдельных этнических групп и т. п. Некоторое представление о том, что может произойти в совсем не светлом и не далеком будущем в США, дают события в Канаде, где существует устойчивая тенденция к независимости Квебека – французской части Канады – желающего создать собственное независимое государство. И это несмотря на то сильное давление, которое оказывается на всю франко-язычную часть страны, чтобы сохранить Квебек в составе Канады. Ну и, конечно, чтобы не вызвать соблазн у других, в частности, и в США. Во всяком случае, это

реальная угроза. Создание независимого государства Квебек, угроза раскола существует, несмотря на все усилия как со стороны центрального правительства Канады, так и со стороны США. Следовательно, даже благосостояние и свобода в государстве не избавляют его, это государство, от вечной опасности раскола, распада. Видимо, Канада не явит миру форму государства, которая могла бы стать прототипом для многонациональных государств будущего. Значит, "не в деньгах счастье", даже если доход на душу населения превышает 22 тысячи долларов в год. Это внутренний валовой продукт.

В Канаде существуют и другие провинции, которые проявляют признаки сепаратизма. Британская Колумбия – часть Канады, расположенная на "крайнем Западе" страны, представляет собой даже внутрипровинциальное течение, стремящееся к поглощению этой провинции американским соседом, влияние которого в ней, как, впрочем, и в других частях Канады, бесспорно и огромно. Дойдет ли дело до настоящей борьбы или будет принято мирное решение "отпустить", скажем, Квебек на свободу? Но в любом случае, США должны будут "утвердить" такое решение

Канада "жметя" к США в прямом и переносном смысле слова. Собственно, всё население страны, ее промышленность и сельское хозяйство располагаются на узкой полосе вдоль границ с "большим соседом", а огромные территории (общая площадь этого государства около 10 млн. квадратных километров) лежат в холодных краях, где "девять месяцев зима, остальное лето", и население там крайне редкое. Большинство коренных жителей Канады проживает именно там. Туда они и были вытеснены пришельцами, захватившими их земли. Это тоже проблема Канады, которая наряду с по-

пытками Квебека может стать очень серьезной угрозой для единства этой богатейшей и, казалось бы, счастливейшей страны.

Еще Де Местр говорил, что условия единства страны – тайна. Ничто не спасает империю: ни высочайший в мире жизненный уровень, ни свобода, о которой может только мечтать подавляющее большинство стран на земном шаре, ни сильнейшее давление центральной власти. И экономика здесь не играет существенной роли. В Канаде прекрасное сельское хозяйство, высокопродуктивное и чрезвычайно эффективное, и современная промышленность. Если в ближайшие годы Квебек усилит свои требования независимости, то решится ли правительство Канады на то, что так и не решились сделать недавние коммунистические правители России – силой подавить требования об отделении?

В США положение совершенно иное, однако, сходные тенденции существуют.

Итак, мы не сделали никаких выводов, а лишь отметили некоторые тенденции в современном американском обществе.

Швейцария – пример для всего человечества

О Швейцарии писать просто и легко. Это не о США и их исторической судьбе. Хотя сие отнюдь не означает, что исторический путь швейцарской державы (термин уместен по отношению к этой великой финансовой державе) был легок и прост. Нет, ее история началась там, где начинается история любого государства – на поле брани. Будь то Канада или Куликово поле.

Совсем недавно Швейцария отпраздновала свое семисотлетие. В отличие от многих других государств, где начало часто относится к событиям

полумифическим, а иногда и просто выдуманным, начало Швейцарии, то есть откуда пошла и есть швейцарская земля, хорошо и надежно изучено. История возникновения Швейцарии достаточно правдива. Сохранился даже документ от 1 августа 1291 года (по ст. ст.), утверждавший образование союза трех земель (это позднее они стали называться кантонами) – Ури, Швиц и Унтервальден, еще до нашествия татаро-монголов на Русь. Швейцарцы, которых когда-то называли гельветами, и ведут отсчет истории своего государства от этого документа.

Как сказано в тексте этого договора, они, эти три земли-кантона, создают союз "на вечные времена". Конечно, "вечные времена" – понятие весьма относительное. Например, заключенный в 1900 году договор США с Панамой о принадлежности панамского канала тоже пестрит словами "на вечные времена в распоряжении США..." и т. д. А ведь отдавать придется. Столь же интересно бы просмотреть все тексты договоров, так сказать, "московского руководства" с кавказскими княжествами и иными землями, соединявшимися с Москвой еще в XVI–XVIII вв., если бы все они сохранились в первоначальном виде. Тоже, наверное, что ни слово, то "на вечные времена"?

Но этот молодой тогда союз трех первых земель вскоре должен был по-настоящему отстаивать право на свое существование, свободу и независимость. Говорят, каждая страна имеет свое "сердце", и вот это сердце Швейцарии было очень маленьким. И выставить на войну швейцарцы могли лишь небольшой отряд охотников-профессионалов и крестьян.

Драться пришлось им против вторгшихся на их территорию австрийцев, которых было около 20 тысяч. Но, внезапно напав на них из засады,

швейцарцы обратили их в беспорядочное бегство. При этом потери у интервентов оказались значительными. Случилось это славное событие в ноябре 1315 года. Поняв всю важность своей исторической победы, союзники уже через три недели после разгрома австрийцев собрались в гор. Бруннене и подтвердили свой союз снова "на вечные времена".

Земля же этого союза была совсем невелика. Тянулась она с севера на юг всего на 60 км. и столько же с востока на запад. Это и было сердце будущей Швейцарии, или "ниша", где возникла швейцарская нация. Для кого-то прошлое Швейцарии представляется скорее легендой, чем реальностью. Некоторые историки сомневаются даже в существовании мужественного стрелка Вильгельма Телля. Однако нельзя сомневаться в том, что судьба Швейцарии решалась на поле боя. В 1386 году она вновь одержала блестящую победу над австрийскими рыцарями. Эта победа окончательно закрепила независимость Швейцарии. Недаром говорили еще в XV веке, что гельветы свободны потому, что умеют воевать. Правда, швейцарцы умеют не только воевать, но и работать, что они великолепно доказали за XIX и XX века, создав высокоразвитую индустрию, мощную химическую промышленность, военное производство. Многие швейцарские медикаменты считаются лучшими, самыми надежными в мире. Ее химические и фармацевтические концерны имеют свои заводы во многих странах мира. О часовой промышленности и говорить не приходится.

Историю Швейцарии представляют иногда как историческое действие в пяти актах.

Первый акт – героический с 1291 по 1515 год. Битвы за независимость и утверждение государства.

Второй акт – начало великой религиозной смуты в Европе, известной как Реформация. Она также

сильно затронула страну, принеся невероятные страдания народу Швейцарии, раздоры и, как неизбежный результат – междоусобицу. Однако имеется немало тех, особенно среди арелигиозных историков и публицистов, кто считает, что это способствовало утверждению свободы совести и даже "эмансипации мысли". Оставим сие на их совести.

Третий акт истории Швейцарии длился с XVI по XVIII века. Это было опасное для страны время. Как полагают историки, Швейцария даже теряет чувство единства и сильно поддается иностранному влиянию, как это происходило в нашем Отечестве во время первой смуты в начале XVII века или начиная с 1917-го года.

Четвертый акт соответствует периоду революций, вызванных событиями 1789 года, и всем, за сим последовавшим. Начинается ущемление независимости кантонов. Они подвергаются давлению во имя искусственного единства.

Пятый акт начинается с Конституции 1848 года и Конституции 1874 года. По мнению многих историков, этот период отмечен подъемом экономики, общим прогрессом общества (понятие крайне трудно определяемое) и национальным пробуждением. Кантоны довольны Конституциями XIX века. Они находят в них удовлетворение своих насущных нужд и возможности для повышения их благосостояния. Этот "Пятый акт" длится и по сей день, и мы с завистью смотрим на это представление.

Всё было в истории Швейцарии, в том числе и Куликово поле, свое собственное, швейцарское, где в страшной схватке с превосходящими силами вторгшегося врага решалась судьба этого удивительного государства; и жалкое состояние во времена междоусобиц... Но всё преодолели и пришли к свободе, зажиточности и миру "швейцарские соединенные земли-кантоны". Соединились в сильное во

всех отношениях, включая военное, государство люди четырех разных языков (на старо-русском "язык" означает племя или народ). И живут богато, спокойно, с огромным достоинством. Это представители немецко-язычных, итало-язычных, франко-язычных и тех, кто говорит на ретороманском наречии. При этом никак невозможно представить, что какая-нибудь сторона пожелала бы покинуть этот многонациональный, многоязычный союз. Здесь можно видеть подлинное, а не декларируемое единство, не навязанное. Нет, видимо, государство не создается богатством и свободой, это скорее "производные" характеристики единого государства, то есть необходимо еще нечто такое, о чем мы, может быть, и не знаем, и идет "оно", это единство общества, народа, из глубин отдельного человека и всего народа.

Можно также добавить, что Швейцария - страна традиционного нейтралитета, что ее кантоны (что-то вроде наших нынешних "субъектов федерации") пользуются значительными правами в смысле самоуправления и активно участвуют в выработке политики. Страна является федеративной республикой, президент там не слишком долго задерживается на своем посту, а потому ему нет нужды проводить в свою поддержку бесконечные выборы и референдумы, парламент же невелик и действует эффективно. Швейцарию не объединяет и общая для всех ее граждан религия, так что нельзя сказать, что религия является общим соединяющим началом для государства. Нет, католики и протестанты составляют соответственно 49% и 48%, почти поровну.

Даже в отношении единственного эпического героя - Вильгельма Телля - имеются серьезные подозрения в том, существовал ли он вообще. Да, эпических героев там было мало или точнее - совсем

не было, зато было много настоящих героев, то есть обычных людей: рыбаков, скотоводов, охотников, крестьян. В архивах многих кантонов остались и тщательно сохраняются их имена. Именно эти люди громили вторгавшихся интервентов, тяжело трудились на своей земле, обустроивали ее. Именно они и составляют армию героев, создававших Швейцарию и защищавших ее в трудные времена. Вот такие обычные, избитые фразы, да кроме этого и добавить нечего.

Швейцария вольно или невольно не принимала участия в колониальных захватах в Азии, Африке, Латинской Америке, как другие европейские страны. Напрямую не принимали участия швейцарцы и в работорговле. Однако протекание капиталов, вырванных от торговли неграми, через банки Швейцарии имело место. Уже в XV веке в Швейцарии существовало развитое денежное обращение, выдавались даже кредиты. О прекрасно налаженной швейцарской банковской системе известно всем.

Всем вышесказанным мы хотели только лишь сказать, что Швейцария сумела объединить на своей земле в добровольный, мирный союз разноязычные, с разной исторической судьбой народы, собратья которых по языку вели совсем рядом со Швейцарией смертельную борьбу между собой. Союз на все времена. "Плавильный котел", который соединил, но не расплавил. Все остались "при своих" и вместе.

Разумеется, справедливости ради, необходимо сказать, что ныне Швейцария более походит на другие страны мира, чем раньше. Возникла инфляция. Появилась проблема наркотиков. В швейцарских банках "отмываются" миллиарды наркодолларов. Многие "неприятности" нынешней, конца XX века, Швейцарии похожи на беды, именно беды, многих стран Европы.

Но еще одну особенность Швейцарии как государства отметить необходимо. Это – способность страны быть готовой к войне... Швейцарцы так возлюбили мир, что всегда, в любой час, и это отнюдь не преувеличение, готовы к войне. Еще Макиавелли говорил, что гельветы свободны, ибо они сильны. Швейцария была нейтральной, но с боеспособной армией. Но кроме хорошо подготовленной армии, имеется, безусловно, еще и то, что мы назовем способностью к сопротивлению. Пусть это крайне неопределенный термин. Но это существует в Швейцарии. У всех – от министров и председателей правлений банков до швейцарского фермера. Все они одинаково и тщательно проходят военную подготовку. По-настоящему, с боевым оружием в руках. Они знают ту воинскую часть или то место, куда они обязаны немедленно явиться с оружием в руках и в форме (и то, и другое хранится дома у очень многих швейцарцев), правительство страны не опасается того, что ее граждане имеют дома не только автоматические и снайперские винтовки, но и минометы, и даже безоткатные орудия. Граждане, правительство действуют вместе. Причем численность армии страны весьма высока – около 600 тыс. человек в военное время ("Зарубежное военное обозрение", 1991, № 2, с. 37).

Это весьма характерные данные. Они говорят о стране и взаимоотношениях различных групп населения или слоев больше, чем социологические исследования. Швейцария способна нанести ответный удар и самое главное – она не намерена сдаваться, как неоднократно сдавалась без сопротивления Чехословакия. Более того, Швейцария создала уникальную систему скрытых подземных убежищ, укреплений, подземных крепостей, где обороняться можно даже после того, как агрессору удастся оккупировать страну. Утверждают, что страна рас-

полагает убежищами на 1 миллион человек. И убежища эти способны выдержать атомный удар. Оборона стоит очень дорого, но она обеспечена сильной и боеспособной армией, а следовательно, миром.

Но сегодня главная опасность для будущего этого удивительного в истории явления, называемого Швейцария, заключена прежде всего в стремлении миллионов людей других национальностей, иностранцев обосноваться навсегда в этом "оазисе" "в пустыне, именуемой человечество...". Их число столь велико, что Швейцария просто не выдержит этого непрерывного потока, текущего в страну. Все заявляют о своем желании получить политическое убежище, требуют предоставить им кров и работу, но все они ищут просто спокойной и зажиточной жизни. При этом большинство из них прибывает из бедных стран Азии и Африки. Уже в настоящее время в стране, насчитывающей 6,7 миллиона человек, обитает постоянно свыше одного миллиона иностранцев, которые и создают проблемы для будущего Швейцарии. В год в нее прибывает свыше 70-80 тысяч человек, многие нелегально. Что так продолжаться дальше не может, признают и официальные швейцарские лица, пытающиеся ограничить въезд иностранцев в их страну. Покинут ли эти сотни тысяч чужаков Швейцарию, если их станут к этому вынуждать? Да и как возможно это сделать? Грузить их в товарные вагоны и вывозить... Куда? В Германию, где уже несколько лет непрерывно идут уличные беспорядки против присутствия иностранных рабочих и вообще против лиц, либо просящих политического убежища, либо проникающих в Германию нелегально? Для нее эта проблема уже перешла на улицы и площади городов, где происходят ожесточенные схватки демонстрантов с полицией. Ждет ли то же самое будущее Швейцарию? При всех обстоятельствах она

вынуждена каким-либо образом отказаться от своего гостеприимства. Другой вопрос: как?

Разумеется, сходные проблемы существуют ныне и в Англии, и во Франции. Разрешиться сами собой они не могут. И лишь Всевышний знает, во что они превратятся через 20–30 лет. Существует эта проблема и в России так же, как она существовала и в СССР... Достаточно вспомнить, что натворили в России иностранные пленные в 1917–21 гг. Лучшие, наиболее стойкие войска большевиков состояли из корейцев и австрийцев, венгров и немцев...

Как развернутся события в Швейцарии и в других богатых странах Европы, предсказать трудно. Очевидно одно – проблема становится грозной именно сегодня, когда окончилась "холодная война".

Но в истории Швейцарии имеется еще одна важная тенденция. Связь с историей США. Связь весьма глубокая и, к сожалению, малоизученная, особенно в России.

Конечно сами отцы-основатели США, несомненно, были знакомы с историей Швейцарии. В построении, во внутреннем устройстве США имеются черты похожести, подобия с устройством Швейцарии, которая к концу XVIII века, когда на карте появилось столь юное и беспокойное государственное образование, как объединение северо-американских колоний, насчитывала уже пять веков своей истории. Давно замечено, что отдельные штаты сильно напоминают швейцарские кантоны.

Но существуют и иные связи. Так известно, что огромную роль в развитии и укреплении США, в частности в строительстве железных дорог во второй половине XIX века, сыграли именно европейские капиталы – из Европы, главным образом из Швейцарии, в США шел мощный поток финансовых средств для того, чтобы создать могучую экономику США.

США и Швейцария связаны в своей истории более тесно, чем мы понимаем, вернее, чем нам известно. Но строились США совсем по-иному, на иных принципах (в том числе и на рабовладении, и на жестоком обращении с коренным населением), каким в Швейцарии не было места. Она была построена на принципах, видимо, единственно надежных для создания многонационального, многоязычного сообщества.

Наше Отечество

Мы рассмотрели и сопоставили две великие державы современности. Мы продолжаем придерживаться мнения, что вне зависимости от того, как рассматривать влияние Швейцарии на ход дел в мире, такое определение в отношении ее справедливо. Теперь мы переходим к третьей державе, еще несколько лет назад бывшей одной из двух сил мира, сверхдержавой, перед которой трепетал мир, а ныне осмеиваемой и презираемой. Даже маленькой Эстонией или Румынией.. Коммунизм, или марксизм-ленинизм, или интернационализм завершил свое 70-летнее дело. С неизбежностью, о которой говорилось еще задолго до 1917 года, он привел русский народ к национальной катастрофе, а страну – к распаду и позору. Коммунистическое правление, которому предшествовала Февральская революция, привело русский (или, например, белорусский), народ к вымиранию, а саму страну и ее хозяйственную жизнь к полному развалу. Само государственное состояние России, даже без Украины или Казахстана, поставлено под сомнение.

Исторический путь России длиннее, много длиннее, чем у США. Это отнюдь не создает каких-либо преимуществ для России перед США, а если что и

значит, так только одно, что Россия более устойчива, чем США. Это также означает, что Россия создавалась много медленнее и совсем иначе.

В отличие от США, где колонисты (по-русски сказать, "находники") явились из разных стран и захватили земли аборигенов, русский народ как "историческая (и биологическая) общность людей" возник именно здесь, на территории нынешней России, где он и "проживает по настоящее время" (стандартная формулировка) вместе с другими народами. Нельзя отрицать существование русского народа, как и мордвы или чувашей, абхазов или коми. Большие или маленькие, но они существуют, они реальны. И этим Россия, казалось бы, напоминает Швейцарию. Увы, только напоминает, но этим же резко отличается от США.

Русский народ родился на этой земле. Для сопоставления с США и Швейцарией скажем, что если о месте нашего, русского, рождения нет спора, то о том, как и когда родился наш народ, споры идут и по сию пору. Одни полагают, что родился он, русский народ, на Куликовом поле, в один судьбоносный день 8 сентября 1380 года. Такого мнения придерживался и Ж. де Местр, во многом не понятый мыслитель начала XIX века, и русские ученые XX века Широкогоров и Л. Н. Гумилев, создатели "главной" науки человека - этнологии. Словом, пришли самые разные племена на бой, а с поля Куликова ушел "единый народ".

Другие - их иногда называют романтиками - считают, что русские родились много, много раньше и осознавали себя как "особую этническую общность". Эти исследователи ссылаются на хорошо известную не только в славянском мире древнюю рукопись "Слово о законе и благодати", относящуюся к XI веку. Автор ее тоже бесспорен и хорошо известен - это митрополит Илларион. В своем тру-

де, созданном за три века до Куликова поля, этот великий русский деятель четко противопоставляет и выделяет "сынов русских". Многие полагают, что в его древнем труде уже имеется четкое осознание единства происхождения – важнейший признак народа или, по-научному, этноса.

Наконец, третьи считают последнее недопустимым преувеличением и ищут твердые, надежные, бесспорные корни возникновения народа прежде всего в биологии, проживании на определенной территории ("экологической нише") и от определенных предков. И если, мол, существовал "древнерусский этнос", то он был уничтожен при татаро-монгольском нашествии. Они полагают, что русский народ возник из слияния славян и угро-финских племен. И прежде всего, древнего финского племени – *меря*. Последнее обитало в соседстве с племенем *весь* в районе озера Ростовского (Неро) и Клещина (Переславского). Это племя *меря* как-то совсем мало упоминается в древних письменных источниках. Причем последний раз в 907 году по Р. Х. Некоторые исследователи не в последнюю очередь исходят из этого факта и полагают, что если все другие племена угро-финского корня постоянно поминаются во многих письменных источниках, а упоминания о *меря* отсутствуют, то весьма возможно, что именно оно и смешалось со славянами и образовало основу русского народа. Вернее, того, что стало называться русским народом позднее. Или великорусской народностью. Эта проблема происхождения русских разрабатывалась еще в прошлом веке такими учеными и историками, как Костомаров, Надеждин, Богданов.

В конце XV века в мировой истории произошло появление совершенно нового мира, или, как иногда говорят, "номоса" – в круг мировой истории вошла Америка. И случилось это в точно известные

сроки, когда посланная европейским монархом экспедиция добралась до этой новой и огромной части человечества. Скоро начался грабеж вновь появившегося мира, сказочно богатой, никому не принадлежавшей земли, если не считать ее аборигенов. Всему миру стала известна огромная новая часть планеты, на которой сначала возникли колонии, создаваемые европейскими державами, а затем и совершенно новые страны. Безусловно, начался новый период истории человечества.

Почти в то же самое время на карте мира появляется новое государство, получившее на Западе название Московии, а много позднее России. Именно в 1480 году за 12 лет от открытия Америки, мы освобождаемся от ига и начинаем с большими трудностями строительство нового государства. Правда, в отличие от США, которые вели беспроблемную войну с индейскими племенами, наше историческое существование неоднократно ставилось под вопрос. Непрерывные набеги степняков, которые, приходя с юга и востока, за пару суток превращали богатые "украшно украшенные" города в пепелища, а народ, который там жительствовавал, в лучшем случае оставался бездомным или изничтожался на месте, а в худшем – уводился в рабство.

В самом начале XVII века на Руси возникла великая смута, в которой погибла династия Рюриковичей, а само государство уцелело с огромным трудом и только благодаря тому, что на его защиту встал действительно народ, особенно из дальних тогда провинций. Московские же бояре да всякие знатные людишки "предались чужеземцам" и готовы были признать даже польскую власть.

Подобные попытки делались позднее неоднократно, уже и после того, как на карте мира появилось государство, именовавшееся – Северо-Американские Соединенные Штаты. История о том,

как русские цари "дружили" с Соединенными Штатами и чем это каждый раз кончалось, хорошо известна. Например, Аляска была отобрана в результате колоссальной аферы, "панамы", подобной которой не знала и, возможно, не узнает больше история. Значительную помощь из США получали все те, кто стремился к уничтожению России изнутри. Ее получали и "герои" Февраля и "герои" Октября. "Дружба и совет" с США у захвативших власть большевиков началась с грабежа царских бриллиантов на огромные суммы, посланных "на дело революции" в обмен на доллары в США уже в 1921 году. И бесследно там исчезнувших. Впрочем, поставки сокровищ из развалившейся Российской империи в США активно продолжались. Продолжаются и по сей день. Известный русский историк И. Бунич, автор ныне широко известной работы "Золото партии" считает даже, что экономика США в изрядной своей доле опиралась в самые трудные годы Великой Депрессии в конце 20-х годов и в начале 30-х годов именно на золото и камни, вывезенные и украденные из России.

Вечный страх перед нашествием "из степи", приходом "находников", "степняков" формировал характер и поведение русского человека, да и других народов, деливших с нами историческую землю. Мы выживали в крайне неблагоприятных условиях, на нас постоянно оказывалось давление с Востока и с Запада. Польша и Литва, татары с двух сторон – из Крыма и из-за Волги. И, наконец, шведы с Севера. Нас кололи, как орех, молотили со всех сторон. И тем не менее... Победа над Казанским ханством несколько облегчила и обезопасила наше существование. Но подлинный поворот, судьбоносное время пришло в самом конце XVI – начале XVII вв. Сначала казачество во главе с Ермаком сумело малым числом и малой кровью присоеди-

нить Сибирь. Ермак и его товарищи почти все пали в отчаянной борьбе, но другие люди – казаки, крестьяне двинулись за Урал-камень.

Могущество государства Российского было создано казаками. Сами казаки как явление истории возникли только в двух местах – на Украине и в России, и более нигде. Во всех крупных восстаниях, потрясавших Россию на протяжении веков казаки являлись главной силой, вокруг которой объединялись крестьяне, "иногородцы" и прочие. Однако ни одному царю, даже из иностранных, не пришло в голову уничтожить казачество. Пётр Первый, который был поставлен в очень трудное положение восстанием Булавина во время войны со шведами, и тот не мыслил себе уничтожения казачества. Несмотря на то, что именно против засилья иностранцев в управлении страной и жестоких преследований старообрядцев решительно выступали именно казаки. А ведь за выступления против иностранного засилья русские головы катились с плеч особенно легко и быстро.

Более того, и казачьи земли, и права казачьих войск, казачьего сословия в целом расширялись. И только коммунисты-интернационалисты уничтожили казачество, эту уникальную военно-крестьянскую группу, собственно ядро русского народа. Они даже за границей искали и истребляли казаков. Вернее то, что от них осталось. Только в Австрии в 1945 году американцы и англичане по взаимному договору выдали Сталину и его палачам около 110 тысяч казаков вместе с женщинами, стариками и малыми детьми. Многие покончили жизнь самоубийством, только чтобы не быть выданными коммунистам.

Казаки и "государевы люди" присоединили Сибирь и создали великое государство. Произошло же это еще до того, как Пётр Первый начал свои пре-

образования. Это, как сказали бы сегодня, "освоение хозяйственных окраин" происходило иногда с применением военной силы, особенно это касалось сбора ясака. Собирался сей ясак в основном "мягкой рухлядью" (мехами) и добывался сборщиками с применением всех возможных средств.

У русских, двигавшихся к Великому Океану, были свои особенности. Прежде всего шли они через пустые, бесконечные, ненаселенные леса. То была тайга, великий лесной пояс, простиравшийся от Волги до самой Камчатки. К тому времени, как казаки да "охочие людишки" пустились в гонку к берегам океана через весь континент, никаких, так сказать, государственных объединений на этой территории не существовало. Как, впрочем, не оказалось таких "объединений" и на Аляске.

Продвигаясь через пустынные земли, русские менее, чем за 60 лет, вышли к океану. И здесь впервые они столкнулись с могучей, хорошо организованной силой, какой были маньжуры, только что победившие Китай и вовсе не хотевшие присутствия неизвестно откуда взявшихся воинственных групп у "черного хода" в свою империю. И хотя первая война на Амуре между казаками и маньжурами закончилась не в пользу русских, но заключенный затем в Нерчинске знаменитый и хорошо известный в истории Нерчинский мир означал для России больше, чем другие победы, достигнутые невероятно дорогой ценой. Великая восточная держава - маньжурский Китай - признала Россию, вела с ней переговоры и заключила мир, по которому признавала за русскими принадлежность всех земель, которые к тому времени "хозяйственно освоили русские" (деликатное выражение советских историков), лишь, впрочем, отодвинув достаточно сильно нас, грешных, с высоких берегов Амура.

Именно тогда было и создано, и "утверждено" на высшем уровне великое Российское государство. К тому времени, когда начались реформы Петра Первого и муки раскола, государство наше, плохо ли, хорошо ли, но простиралось до берегов Тихого океана.

Действия же России на берегах Балтийского и Черного морей в значительной степени были вызваны шведскими и татарскими захватами. Особенно это касается постоянного страха русского населения южных окраин перед набегами степняков. Набеги эти, чаще всего внезапные и подстрекаемые турками, наносили нам громадный вред, и государство вынуждено было тратить средства на укрепление границы, создавая "засечную черту".

Настоящие завоевания начались несколько позднее и на Западе. Раздел Польши, проведенный Австрией, Пруссией и Россией, был ошибкой, хотя со стороны России он подогревался страхом перед Польшей и воспоминанием о Смутном времени и нашествии поляков. В ответ поляки охотно приняли участие в нападении французов на Россию в 1812 году, они составили значительную часть армии Наполеона и хорошо дрались в Бородинском сражении, особенно корпус Понятовского.

В конце XVIII в. и в XIX в. в состав России вошли многие народы. Одни имели свои государства раньше, но утратили их. Другие сильно опасались завоевания, например, Турцией и предпочли стать под русское правление. Это были, что называется, "древние культурные народы" - армяне, грузины, принявшие христианство много раньше русских. Но все народы имели свою историческую землю в пределах Российской империи, кроме немцев, евреев или более малочисленных групп, исторически оказавшихся на территории России.

Если движение, экспансия России в Средней Азии еще могла как-то быть объяснена весьма высокой активностью англичан, утверждавших свое господство в этой части планеты, в том числе и в Афганистане, что едва не повело к военному столкновению между двумя великими державами, то действия России на Дальнем Востоке, в направлении на юг от Амура, были бы лишены всякого смысла, сохрани Россия свою землю - Аляску. Землю малозаселенную. Многие жившие там племена приняли Православие без нажима, легко и, самое удивительное, сохранили его и по сию пору, до самого конца XX века. А те, кто принес Веру туда, бросили своих братьев по Вере и ушли.

Россия пыталась обрести себе союзника в трудные для нее годы после разгрома в Крымской войне и польского восстания. И продала огромный кусок своей территории, где аборигены-алеуты исповедовали Православие. Вновь, как много раз до этого и после, русские цари допустили ошибку, о которой до сей поры мало говорят, а известно еще меньше. Обычные оправдания русской, а тем более советской апологетической "школы" состоят в том, что, мол, царское правительство стремилось избежать конфронтации с США, не тратить усилия страны и т. п.

Следует сказать, что уже к 60-м годам прошлого века США были крайне заинтересованы в расширении своей внешней политики на Дальний Восток. Достаточно прочесть известную работу американского специалиста Е. Х. Забриски (Е. Н. Zabriskie. *American-Russian Rivalry at the Far East*. N. Y., 1949). Но и раньше в войсках восставших тайпинов еще в 60-е годы прошлого века командовали армиями американцы Уорд и Бергевин. Лицом, ведавшим иностранными делами у восставших китайцев был некто Иссахр Робертс. Можно назвать

еще несколько американских имен. Позднее соперничество американцев и русских продолжалось в Маньжурии, куда и двинулось царское правительство, и не в последнюю очередь из-за явного страха перед объединением американцев и японцев. Однако даже это не оправдывает действия тогдашнего царского правительства против Китая на рубеже XIX и XX веков. Избегнуть соперничества с США так и не удалось, а США добились получения Аляски.

Впрочем, это лишь просто небольшое отступление, характеризующее экспансию России. Последние 76 лет нашей истории пока не изучены и не поняты. Коммунистическую экспансию и варварство, принесенные нам бандой международных авантюристов в "завоеванную Россию" (слова Ленина), еще следует преодолеть и отбросить. Прежде всего это надлежит сделать в наших взаимоотношениях с Китаем. Здесь нам, россиянам, важнее "далекий прогноз", а не сиюминутные или весьма кратковременные выгоды торговли "сверкающим шипотребом" и деликатесами "второй свежести" (М. Булгаков). Нам жить с Китаем рядом вплоть до... Страшного Суда. Всегда следует об этом помнить.

Множество государств, возникших с помощью России, сегодня начинают свое независимое историческое существование. Всякая экспансия России закончилась в феврале 1917 года. Нам необходимо думать о выживании. Рождаемость резко упала, численность русских среди остального населения бывшего СССР непрерывно снижалась. Ныне даже в бывшей РСФСР русские едва ли составляют более 80%, но, возможно, численность еще ниже. Сегодня за рубежами России (в "Ближнем Зарубежье") остались, по неточным подсчетам, более 20 миллионов только русских, не считая представителей других народов России. Это страшный

удар, сравнимый разве по последствиям с результатами войны. Этим мы лишились 25 миллионов человек, и, если хотя бы часть из них не вернется, то они потеряны для России навсегда.

Внутри самой России есть силы, стремящиеся разорвать то, что осталось после распада СССР. Существует реальная угроза того, что территория России нынешней начнет сокращаться. При всех обстоятельствах, значительная часть русских уже никогда не вернется и будет ассимилирована теми народами бывшего СССР, среди которых они жили. Так же, как это случилось с цветом русской нации, ушедшим в эмиграцию. В ближайшие 50-70 лет нам следует бороться за свое выживание. Для этого придется, возможно, даже пожертвовать частью своей земли, а не помышлять о "приращении земли". У нас может быть одна-единственная цель - повысить рождаемость, а для этого у нас есть возможности, есть земля, есть природные ресурсы. Мы можем увеличить нашу численность, с одной стороны, путем возвращения нашего народа (разумеется, и всех других народов, делящих с нами Россию) домой, в Россию. Возвращение даже половины из тех, в "рассеянии сущих", улучшит наше положение. Но произойти это возвращение должно в очень короткие сроки, и мы должны быть готовы к этому возвращению. В год принимать не менее двух миллионов человек. Это - минимальная цифра.

В 1992-93 гг. смертность в ряде мест превышала рождаемость. Забота о будущем - превыше всего. Всё остальное - во вторую очередь. Сегодня рождаемость у русских, видимо, самая низкая в мире среди всех "больших" народов. На это указывали и забытые ныне советские авторы, например, Первердинцев еще в конце 60-х годов. Писал об этом и М. Бернштам (ж. "Москва", № 5, 1990, сс. 140-142).

Но располагая наследством, нашим главным богатством – территориями, завещанными нам нашими заботливыми предками, мы можем еще продержаться ближайшие десятилетия. Однако всё это возможно только в том случае, если мы добьемся необходимого и быстрого роста рождаемости. Особенно на землях, соприкасающихся с территорией наших сильных, быстро растущих (они жили 70 лет в мире на своей земле) древних соседей... Незаселенные земли – ничьи земли. Именно этим и должно озаботиться сегодняшнее руководство страны...

И нынешняя судьба нашего Отечества, а равно и прошлая, совершенно отличается от судьбы тех двух государств, двух держав, о которых мы говорили в нашей небольшой работе, стараясь использовать факты непротиворечивые и хорошо известные.

США и Швейцария связаны между собой. Швейцарская федерация послужила моделью создания северо-американских штатов, провозгласивших свою независимость в 1776 году – нынешних Соединенных Штатов Америки (другой моделью для США послужила и Нидерландская федерация). Судьбы же этих двух государств, из которых одно оказалось моделью для другого – Швейцария для США – совершенно различны.

Нам страшно хотелось быть похожими на США. Даже Горбачев разыграл перед своим исчезновением комедию: стоя перед всем миром, клялся, что будет хорошим демократическим президентом, и при этом держался рукой за "краснокожую книжицу", то есть "советскую конституцию". Позади него красовался советский стяг с серпом и молотом...

Многим "вождям пролетариата", начиная с первых двух, Ленина и Сталина, тоже хотелось считать, что существует известная схожесть общественных и социальных процессов в России амери-

канским. Первый "вождь и учитель" писал в 1918 году: "Федерализму в России... суждено, как в Америке и Швейцарии, сыграть переходную роль – к будущему социалистическому унитаризму". Нашим вождям страстно желалось "быть похожими"... Дело доходило до смешного. Хрущев, вернувшись из поездок в "главную страну капиталистического мира", распорядился снимать ограды московских и ленинградских садилов и сквериков (тогда они еще имелись во множестве) и делать их похожими на лужайки перед американскими университетскими зданиями. Ломали, сносили столетние, а часто и более старинные, чугунные решетки...

Мы уже говорили выше, что в России в отличие от США имелись и имеются многие народы, которые до вхождения в состав России жили в своих государствах. Некоторые из них после отделения от России создали свои независимые государства. Так в 1917–18 гг. появилась независимая Финляндия, ранее своей государственности не имевшая. Польша лишь восстановила свою государственность, утраченную в конце XVIII века. Ныне, после падения недоброй славы СССР и развала России стали возникать новые государства, многие из которых, несомненно, сохранятся, "зацепятся" в истории. Вот только, надолго ли?..

США – совсем иной тип государства, державы, сверхдержавы, нежели Россия. Непохожи мы с США точно так же, как азербайджанцы или узбеки не похожи на американцев из любого штата. У каждого в будущем "свой интерес" и своя "историческая судьба". И "похожесть" США и России (или, если угодно, СССР) лишь миф, который был нужен во время "холодной войны" и использовался для ударов по плохо и неэффективно работавшей советской пропагандистской машине.

Другая реальность состоит в том, что геополитические, геостратегические самые дальние цели США и России столь же совершенно различны, как они были различны в те времена, когда США сумели "достать" у России Аляску.

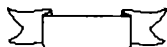
Ныне США, как, впрочем, и до развала СССР, ничто и никто не угрожает. Ранее, по крайней мере теоретически, начиная со смерти Сталина, война могла возникнуть только в результате ошибки или безумия какого-либо начальника, имевшего под рукой "ядерную кнопку". Даже в конце 50-х годов мало кто верил, что между США и Россией может начаться атомная война. Другое дело, когда возник конфликт с Китаем – тогда возможности начала войны стали опасаться практически все.

Победить США сегодня, как и раньше, невозможно. Никто сегодня не угрожает государственному существованию США и даже просто их интересам. Поэтому США позволяет себе посылать войска на другой конец земли – в Ирак или Сомали – наводить там порядок или призывать к ответу строптивого президента, не уважающего интересы США. Другое дело – Россия. Даже целостность того, что осталось ныне от СССР, находится под угрозой распада. Видимо, в дальнейшем от державы будут оторваны значительные территории. Потеря 25 миллионов только русских еще более ухудшает наши перспективы. Наши потери оказались хуже в смысле территориальном и людском, много хуже, чем в 1945 году. Сказать, что ухудшилась геостратегическая ситуация, значит ничего не сказать. Она совершенно иная. Нашу геополитическую систему сознательно доводят до кризиса. Автор этих замечток за последние три года множество раз видел телевизионные передачи, интервью, дискуссии весьма влиятельных в Европе, России, США лиц – промышленников и министров, которые настойчиво

советовали прежде всего развивать в России, на территории бывшего СССР добывающие комплексы, то есть качать из России нефть, лес, цветные металлы... И поставляют нам оборудование прежде всего для добычи нефти (трубы большого диаметра или специальные насосы) или иных полезных ископаемых. Но даже не это главное. Зона контроля США и европейских держав возросла, а геополитическое пространство России медленно, но неуклонно сокращается.

А еще одним важным событием оказалось выполнение КНР одного из этапов пересмотра последствий Пекинского и Айгунского договоров 1858-1860 гг. (!!!) Так, Россия уступила КНР 400 островов, принадлежность которых была совершенно неясна. Договор об этом был ратифицирован в 1992 году на участке границы от Монголии до Тихого океана. И никто этого особенно и не заметил...

Миф же о столь "великом подобии двух великих народов - советского и американского" почти забыт, он более не нужен.



Владимир МАХНАЧ

Культурология расколов*

Ваши Высокопреосвященства! Высокочтимые отцы! Высокое собрание!

Заявленная мною тема "Культурология расколов" представляет собой, несомненно, первый и эскизный подступ к рассмотрению вопроса. Возможность культурологического рассмотрения проблемы расколов впервые пришла мне в голову всего полтора года назад, хотя я читаю курс истории культуры в ряде учебных заведений. Исходным парадоксом моего сегодняшнего рассуждения является встречающаяся в сознании современного интеллекта двойственность: нежная любовь и почтительное отношение к эпохе петровских реформ, в том числе включая и петровские откровенно антицерковные реформы, в сочетании с любовью к старообрядчеству. Я могу привести множество примеров, но, думаю, это очевидно и не вызовет большого сомнения у собрания. Летом 1993 года я предложил несколько своих гипотез, и прот. Глеб Каледа, совсем недавно покинувший, к сожалению этот мир, обратил мое внимание на существенность этого вопроса и рекомендовал заниматься им дальше. Первым моим откликом, когда еще не прошло и сорока дней со дня кончины о. Глеба, с благодарностью к

* Доклад на состоявшейся в Москве в марте 1994 г. Первой Христианской политической конференции.

его памяти, будет попытка раскрытия этого парадокса.

Откуда же эта культурологическая нелепица (явно, что это лежит в сфере культуры)? Каким образом петровский модернизм вызывает преданное отношение у тех же людей, которые нежно любят старообрядчество? Для того, чтобы подойти к этому моменту, я, просматривая самые различные источники, – обратил внимание на два стереотипа.

Первый – психологический стереотип раскольника, разумеется, не универсальный, но встречающийся в подавляющем большинстве случаев, – это уверенность в неповрежденности собственного вероисповедания. Интересно, однако, что часто раскольник не сомневается в неповрежденности вероисповедания и оппонента, а следовательно, мы можем позволить себе осторожную гипотезу, что, как правило, причины раскола лежат вне вероучения.

Второй стереотип – это социальная модель раскола в отличие от социальной модели ереси. Факт раскола признается обеими сторонами, но каждая виноватит сторону противоположную, в то время, как в исторических ситуациях со многими ересями на обвинение не обязательно следует взаимное и не обязательно признается факт наличия ереси у оппонента. Взаимные обвинения в ереси – это не стереотип всей церковной истории. Из социальной модели раскола можно позволить себе тоже осторожную гипотезу, что часто в ситуации, приводящей к расколу, виноваты обе стороны, хотя, разумеется, далеко не всегда это так.

Вооружившись этими двумя стереотипами и двумя осторожными и, повторяю, не универсальными гипотезами, посмотрим на саму культурологию. Расколы характерны для переходных эпох. Переходность, разумеется, может быть самого раз-

ного свойства. Переходность может лежать в сфере смены колоссальных культурных пластов, одного другим, ухода культурно-исторических эпох. Переходность может быть политического свойства, – распад ведущих держав мира. Переход может лежать в этнической сфере (так как я принимаю, по крайней мере, в аспекте прохождения каждым этносом определенных фаз его состояния, теорию Льва Николаевича Гумилева). Вот несколько примеров, бегло. Раскол донатистский: эпоха переходная – начало христианской античности. Донатистский раскол падает на эпоху, когда империя (тогда это – весь цивилизованный мир) становится христианской, общество, в основном, становится христианским, и мы можем говорить на протяжении III–IV вв. о пребывании средиземноморского мира в культуре античного христианства. Средневековье наступит значительно позднее. Налицо переходный характер эпохи.

484–519 гг. – раскол Акакия из-за "Энотикона" императора Зенона. Безусловно, переходная эпоха: падение Рима, ощущавшееся всеми как катастрофа (476 г., всего несколько лет прошло).

Раскол между константинопольской и римской кафедрами в патриаршество святителя Фотия Цареградского – это чрезвычайно интересная культурологически эпоха. За время иконоборчества окончательно сложились и ощущались две культуры в христианском мире (а больше уже не одна): западное и восточное христианство. Само иконоборчество, конечно, содержит в себе еретический материал, вне всякого сомнения, но меня интересует фон переломного характера, и он есть, ибо иконоборчество падает на фазу надлома ромейского (мы часто говорим ошибочно – византийского) этноса – ведущего в восточной империи. Причем это играло, возможно, бóльшую роль в расколе Запада и Востока,

чем сама ересь. Ведь франки сами были умеренными иконоборцами при предшественниках Карла Великого, да и сам он проявлял иконоборческие симпатии, так что, казалось бы, здесь нет и противоречий, а тем не менее Франкская империя и Византия друг друга терпеть не могли.

Перейдем в более близкую эпоху. Греко-болгарский раскол XIX в. и расколы в Русской Православной Церкви XX в. Для нас это очень важный материал, потому что он приближен к нам предельно, и, возможно, нас ждет, надеюсь, в меньшем масштабе, повторение этих событий. Всё это – распады империй. Греко-болгарский раскол был создан длящимся распадом Турецкой империи. Гибель, революционное разрушение Российской империи породило ситуацию в Польше, Прибалтике, Западной Европе. Расколов в Русской Церкви очень много, о них можно много говорить.

Например, аналогичная ситуация была у нас в России в XVII в. Наш раскол, который дает мне основной материал (я – специалист по XVII в.), происходит в переломную эпоху в плане культурологии. В XVII в. русская культура переходит из культуры средневековой в культуру Нового времени. Эта культура складывается и проявляет себя, может быть, даже отдельными чертами в конце XVI века в автохтонных формах барокко. Барокко не было привнесено в Россию, а развивалось на русской почве. Вот беглое обоснование того, что я утверждаю.

Охранительный консерватизм Стоглавого собора (не так маловажно, что именно старообрядчество всегда очень чтит Стоглав, чтит и сейчас) складывался под влиянием ощущения обществом, Церковью того, что что-то меняется. Что меняется, они понять, очевидно, еще не могли, но чувствовали себя неуютно, как очень многие люди чувствовали

себя в нашей стране, да и на Западе, в начале XX века. Обратите внимание, например, на указание Стоглава по поводу иконописания, предписание жесткого следования не иконографическому канону, а канонизированной манере: писать только так, как греческие мастера, Андрей Рублев и "иные пресловущие иконописцы". Никогда раньше подобных требований к иконописанию не предъявлялось. Результатом постановлений Стоглава явились распространённые "темные" иконы второй половины XVI в., когда мастер изначально выбирал темные охры, дабы "подстарить" свою икону. Классическим примером подобной иконы, известным, вероятно, всем, сидящим в этом зале, является первая копия "Троицы" Андрея Рублева в иконостасе Троицкого собора Лавры, годуновская копия. Она темная исходно. Ведь и Рублев знал, что иконы темнеют, но ему не приходило в голову писать из-за этого темными красками. То есть здесь – охранительность любой ценой. Годуновская архитектура сознательно отсылает к архитектуре конца XV – начала XVI вв. Например, его церковь в усадьбе Вяземы – это реплика Архангельского собора Кремля.

Существует миф, распространённый в нашей науке, об упадке иконописания в XVII веке. На самом деле упадок иконописания был во второй половине XVI в., упадок средневекового иконописания. А в XVII в. – новый подъём иконописания, хотя оно было уже в формах барокко.

Литературу эпохи Смуты характеризует переходность по многим чертам. Если мы возьмём лучший памятник эпохи – "Временник дьяка Ивана Тимофеева", мы увидим, что он индивидуалистичен предельно. История Смуты представляется как цепь биографий деятелей Смуты, что абсолютно невозможно было для старого летописания. То есть, думаю, я всё-таки привел обоснования того,

что эпоха начала XVII в., как большинство раскольничих эпох, – эпоха переломная. Наша эпоха тоже переломная, и для нас поэтому чрезвычайно актуальна проблема раскола, так же, как, смею подразумевать, и культурология раскола.

Перехожу ко второму тезису своего сообщения. В большинстве известных и заметных расколов либо роль главного виновного, либо роль поощрителя, роль катализатора раскола сыграло государство путем вмешательства, посягательства на каноническую свободу Церкви. Во-первых, здесь годятся все, уже приведенные мною, примеры. Донатистский раскол происходит в условиях грубого вторжения государственной власти в сферу жизни епархий, особенно в Северной Африке. Раскол Акакия создало государство, конкретно, император Зенон, который, издав свой "Энотикон", посягнул уже не на каноника, а на государственную коррекцию догматических споров эпохи.

Ссылка Святителя Иоанна Златоуста порождает раскол, созданный государственной властью, созданный лично императором Константинополя и всем памятной императрицей Евдоксией. Иконоборчество начинается не с еретической разработки, а с бюрократических эдиктов императора Льва, то есть первый толчок к расколу совершает государство, покинув сферу кесарева и вторгаясь в сферу божественного. Греко-болгарский раскол XIX в. имел долгие, развивавшиеся в культурной и в социальной среде фанариотские корни (проблемы лишения болгар в городах богослужения на болгарском языке). Но как раскол он оформился только в результате возникновения болгарского государства, еще при первом правительстве принца Александра Баттенбергского. Другими словами, и здесь государство, дорвавшись до власти, стремится обеспечить свою собственную "карманную Церковь"

(простите мне вольность подобного термина) и тем самым углубляет потенцию, которая могла бы не привести к расколу.

Расколы в Российской Церкви созданы исключительно правительствами. Так действовало правительство Финляндии – раскол, который был покрыт омофором Константинопольского Патриарха, а русской Церковью признан только после Второй мировой войны. В прибалтийских республиках в разной степени наблюдается то же вмешательство, сейчас мы видим тенденцию совершенно аналогичную: безбожное по сути своей и далекое от православной культуры государство пытается регулировать и управлять православными делами в этих крошечных, искусственно образованных странах. Раскол грузинский был создан правительством грузинских меньшевиков. Польская история XX века достаточно хорошо известна, страна была просто активно антиправославной. Не говоря уже о советской власти, которая, в частности, провоцировала расколы в западной русской диаспоре давлением на возглавлявшего тогда иерархию митрополита Сергия, в результате чего и происходили расколы Зарубежной Синодальной Церкви с митрополитом Платоном в Америке, с митрополитом Евлогием в Западной Европе – это известный материал, об этом написано достаточно много.

На протяжении XX века государством, полицейской властью создаются все без исключения украинские расколы, и абсолютно несправедливо считать их националистическими. Не этнос, не националистическая общественность, а ооновские дубинки создают автокефалистскую тенденцию на Украине, и это подтверждает история всех расколов, начиная с 1918 г. (первый автокефализм в Киеве, на него приходится гибель первомученика

митрополита Владимира Киевского и как раз не без участия автокефалистов), самосвятский раскол поощрялся государственной властью, ну, и нынешние тенденции поощряются ею же. Но, более того, возможно, не без активного вмешательства государства в продолжение большей части советского времени существовал Киевский Экзархат. Напомню, что исторически в Церкви Экзархатом называется епархия или группа епархий, чья территория оторвана от территории Матери-Церкви. Если бы Украина была отдельным государством, то в Молдавии мог бы быть Экзархат. В Киеве же у киевского митрополита никакого основания для титула Экзарха не было, однако, это было в 60-е, 70-е годы – государственная власть действовала "раскачивающе" – раскачивала маятник будущего раскола.

Известны случаи, не приведшие к расколу. Это Литва, XIV век, попытки великого князя Ольгерда обзавестись собственным митрополитом, на что ему иногда и удается вынудить Вселенского Патриарха, например, случай с поставлением митрополита Романа в Киеве. Это попытка самого Димитрия Ивановича, князя Московского (будущего Донского героя) учинить раскол. Я говорю о деле Митяя, блестяще разобранным в книге "Повесть о Митяе" Гелианом Михайловичем Прохоровым, которую я могу лишний раз с благодарностью вспомнить. К счастью, это не удалось, что дает нам право чтить князя Димитрия как святого и благоверного.

Таким образом, раскольническая деятельность государства – это распространенное явление. Завершая этот тезис, посмотрим, что происходит в XVII веке. Раскольники уже в XVIII веке именовали Российскую Православную Церковь – государственной церковью; именуют и сейчас. Но на ком же шапка горит? Кто апеллировал к государству? Раз-

ве Патриарх Никон? Нет. К государству апеллировали протоиереи Аввакум Петров и Иван Неронов. Это они требовали от Государя Алексея Михайловича (1629–76) подавить силой позицию Патриарха и архиереев, заявленную на Соборе. Кто создавал прецедент обращения к государству? И это не последняя попытка нашего старообрядческого раскола.

Последняя была совершена в 1682 году – это прения в Кремле во время Хованщины знаменитого Никиты Пустосвята с православными архиереями при поддержке восставших стрельцов. Опять старообрядцы, а не православная сторона, апеллировали теперь уже к правительству царевны Софьи Алексеевны. Иначе говоря, государство может возбуждать раскол, но и раскольники – активная сторона раскола – охотно прибегают к поддержке государства. Я абсолютно согласен с точкой зрения пока лучшего исследования (по моему мнению) прот. Льва Лебедева, который показывает в своей работе "Патриарх Никон", что бюрократия, добившись смещения Патриарха Никона с патриаршего престола, превратила раскол в старообрядчество. Государство создало ситуацию 300-летней деятельности раскола, а отнюдь не Церковь. При любых ошибках, которые были допущены и первоиерархом, и Собором, это были ошибки, которые преодолевались. Государство зафиксировало раскол, не преодоленный до настоящего времени.

В наше время появилась, к сожалению, опасность еще одной апелляции потенциальных раскольников. Я боюсь – да простят меня, если кого-то это заденет, – что мы встретимся с ситуацией, когда апеллировать будет потенциальный раскольник уже не к слабому государству, а к прессе и "прогрессивному человечеству". Это не изменяет си-

туации в культурологии раскола, которую я вкратце попытался вам представить.

И, завершая, я возвращаюсь к первому пункту. Почему же возможна искренняя, внутренне непротиворечивая симпатия одновременно к Петру и его антицерковным реформам, к раскольникам и старообрядчеству? Думаю, что, так как речь идет о весьма ученых людях, дело не в эмоциональном восприятии колоритных фигур прот. Аввакума Петровича и царя Петра, дело вот в чем. Посмотрите, что предложил нам Пётр в плане культурологии России. Он предложил России поменять великую культуру принадлежности, перестать быть страной восточного христианства и стать страной христианства западного, т. е. перейти в другой культурный регион. Это не прямая измена Вселенскому Православию, но тем не менее, это ситуация, которая сделала для человека Православие затруднительным, ибо, последовав за Петром, он оставался православным только по вероисповеданию, переставая быть православным по культуре.

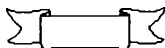
Что предложили нам раскольники? Изоляционистскую ситуацию, в которой Россия противопоставляется Европе вместо того, чтобы восточная Европа противопоставлялась западной. России, скажем, может противостоять Франция. Целый культурный регион, который объединяет славян, греков, грузин, восточное христианство может противостоять христианству западному. Но сравнение страны с целым регионом заведомо проигрышно, как проигрышен любой изоляционизм.

Итак, парадигма Петра – это парадигма изоляционизма в рамках другой универсальности, универсальности Запада, переход в другую культуру. Парадигма старообрядчества – это изоляционизм тотальный. Обе стремились ввергнуть русских людей в положение скрытого раскола со

Вселенской Церковью. И только никонианство (я позволю себе это слово, полагая, что его можно произносить с гордостью) оставалось в верной культурной парадигме. Россия остается не только православной страной по вероисповеданию, но православной империей и лидирующей страной восточно-христианской культуры.

Возможно, моя правота подтверждается той ненавистью не только к никонианству, но и к империи, и к исполнению Россией своей имперской функции, которая была выражена в книге московского псаломщика Б. Кутузова "Церковная реформа XVII в., ее истинные причины и цели". Книга написана, что интересно, человеком, принадлежащим к Патриаршей Церкви, а издана раскольниками-беспоповцами в Риге в 1992 году на их кошт. Так вот, в книге запечатлена поразительная ненависть не только к Никону и царю Алексею Михайловичу, не только к тем, кто "повинен" в никонианстве XVII века, но и ко всему имперскому аспекту в жизни России. А в качестве империи Россию, я в этом убежден, создала Вселенская Церковь, создала в качестве преемника Византии.

И изоляционист, и западник, закончу я, могут быть членами Вселенской Церкви, но с трудом. Поэтому мы и наблюдаем, как с трудом это удастся им и в XIX, и XX веке. Я думаю, в этом причина того парадокса отношения к историческому прошлому, с которого я начал.



И. А. Ильин как литературный критик

Иван Александрович Ильин (1883–1954) вошел в историю отечественной культуры не только как православный мыслитель, правовед, оратор, но и как крупный литературный критик, труды которого отличаются философской глубиной, острой наблюдательностью и независимостью от обветшалых штампов и ложных мифов. Своеобразие его критической манеры в том, что эстетический анализ художественного произведения или творчества писателя, в целом, сочетаются у него с духовно-религиозным анализом.

Проблемы культуры, искусства и литературы Ильин рассматривает в свете величайшего в истории человечества духовного кризиса, достигшего в XX столетии своего апогея. Особенность этого кризиса в том, что люди не просто утратили Бога, но ополчились на саму идею Бога. "Непросвещенные неверы" всеми силами стремятся не только скомпрометировать эту идею, но и одержать победу в борьбе с верующими. Все остальные разновидности кризиса (культурный, экономический, экологический) суть, по мнению Ильина, результат духовно-религиозного оскудения, которое началось еще в эпоху Возрождения, а с конца XVIII столетия стало интенсивно развиваться вследствие широкого распространения в мире атеистических и материа-

листических доктрин, различных оккультных и теософских учений.

Не случайно в XIX веке в европейской культуре началась новая эпоха – эпоха оправдания дьявольского начала: многие европейские писатели, поэты, композиторы обратились к демонической теме. Причем у многих из них (Байрон, Гофман, Гете) демоны изображаются в привлекательном виде: они "умны", остроумны, "образованны", "темпераментны", "обаятельны" и вызывают сочувствие, а "демонические люди" оказываются воплощением "мировой скорби", "благородного протеста" и какой-то "высшей революционности". Скрытую за всем этим пропасть впервые увидел Достоевский, Он указал на нее с пророческой тревогой и "искал пути ее преодоления"* . В романе "Братья Карамазовы" писатель первым показал чёрта в насмешливом, карикатурном, саркастическом виде. А как заметил еще Мартин Лютер, дьявол хоть и сам великий насмешник, но больше всего не любит и боится, чтобы смеялись над ним.

Отчуждение культуры и искусства от веры, религии на протяжении нескольких последних столетий привело к возникновению современного безбожного искусства с его бессодержательностью, бесформенностью, разнузданностью и пошлостью. Кино, а затем телевидение заменили человеку храм, заставив забыть о высших целях бытия. В подобном мнимоискусстве, создаваемом, восхваляемом и распространяемом беспочвенными людьми, забывшими Бога, господствуют, по словам Ильина, дух "эстетического большевизма", то есть безответственность и вседозволенность. Подобное бездуховное псевдоискусство представляет собой "чувственное варево", предназначенное для эро-

* Ильин И. А. Наши задачи. М., 1992, т. 1, с. 64

тического возбуждения и праздного развлекательства скачающих и сытых.

Между тем история европейской цивилизации есть не что иное, как единый и великий поиск христианской культуры. При этом Ильин подчеркивает различие между культурой как явлением духовно-нравственным, органичным, затрагивающим глубины человеческой души, и цивилизацией как порождением материально-технического прогресса. "Народ может иметь древнюю и утонченную духовную культуру, но в вопросах внешней цивилизации (одежда, жилище, пути сообщения, промышленная техника и т. д.) являть собой картину отсталости. И обратно: народ может стоять на последней высоте техники и цивилизации, а в вопросах духовной культуры (нравственность, наука, искусство, политика, хозяйство) переживать эпоху упадка"*.

Подлинная культура проникнута духом любви и совершенства, когда художник принимает всем сердцем Бога, созданный Им мир, полный таинственных и неизъяснимых чудес, когда он понимает и чувствует, что всё великое и гениальное, созданное человечеством, исходит из светлых пространств Божьего мира, из созерцающего и поющего сердца.

Подлинная культура, по Ильину, всегда пронизана светом духовности, той самой, которую часто отождествляют с идеологией, образованностью, интеллектуальностью и т. п. Важно при этом, что Ильин впервые раскрыл всю неоднозначность и сложность понятия "духовность", показал, что оно включает в себя не только веру в нематериальный

* Ильин И. А. Собр. соч. в 10 т. М., 1993. Т. 1, с. 300.

мир и в бессмертие души человеческой, но и любовь к отеческим гробам и родному пепелищу, любовь к родной природе и Родине, а также ответственность за их судьбу. А самое главное, духовность предполагает устремленность к идеалу совершенства, то есть к исполнению евангельского: "Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный".

Корни художественности Ильин видит в тех глубинах человеческой души, где проносятся веяния Божьего присутствия. Истинное искусство всегда несет на себе печать Высшей Благодати даже тогда, когда оно разрабатывает светскую тематику, не имеющую явных внешних связей с религиозностью и церковностью. Остановливаясь на роли читателя, Ильин замечает, что серьезный читатель подобен человеку, ищущему духовный клад с тем, чтобы сделать его своим достоянием. Таким кладом для Ильина была русская классическая литература, которая была создана людьми, "окормленными духом Православия" и которая представляет "гениальное цветение русского духа из корней Православия"*.

Подлинное искусство, классическое и пророческое, по убеждению Ильина, представляет "служение Богу и радость людям". Оно призвано очищать человека душевно, раскрывая перед ним глубокий и таинственный "помысел о мире, о человеке и о Боге, — о путях Божиих и о судьбах человека и мира"***. Вот почему оно проникает в самую глубину души, вызывая, по слову Пушкина, "восторг и умиление", иначе говоря, то "дивное, незабываемое по радости своей чувство, будто всю жизнь

* Ильин И. А. Наши задачи. Т. 2, с. 64.

** Ильин И. А. Одинокий художник. М., 1993. С. 247.

ждал и жаждал именно этой мелодии, именно этой элегии, этой картины, будто я сам "всё хотел" создать их и только не умел"*.

В художественном произведении, замечает Ильин, существуют три слоя, открывающиеся один за другим от поверхности в глубину. Первый внешний слой – это "эстетическая материя", то есть слова и фразы в литературе, камень, дерево, металл – в скульптуре и архитектуре, краски – в живописи и т. д. Второй слой – это "эстетический образ", обладающий как материально-чувственной природой, так и душевной, выражающей внутренний мир человека. И наконец, третий, самый глубокий слой – "духовный первообраз" или "художественный предмет". "Этот духовный цветок можно было бы обозначить как "идею", но с тем, чтобы не приписывать ей никакой рационалистической формы: ибо эта "идея" постигается *иррациональным сердце-созерцанием*, которое не следует смешивать с обычной мыслью; это есть, если угодно, "мысль", но в смысле *духовной медитации*; это есть созерцание, но осуществляемое не чувственными силами души, а сердцем, луч которого постигается, пленяет и "берет с собою"***.

При этом Ильин формулирует критерии, благодаря которым узнается художественное совершенство. К их числу относится прежде всего верность законам эстетической материи, верность законам эстетического образа и верность закону внутренней точности, то есть полноты соответствия предмету художественного изображения, той самой полноты, которая поднимается до единственности, незаменимости каждого слова.

* Там же, с. 259.

** Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 339.

Художественность не терпит "безбрежного водоема", она выражается в образной и словесной экономии, когда оставляется лишь самое необходимое, когда лаконизм оказывается существенным элементом стиля. В этом смысле школа Пушкина, представляющая эталон художественной экономии и точности, продолжает жить в творениях А. Чехова, И. Шмелева, И. Бунина и др.

"В художественном произведении, - пишет Ильин, - всё точно (определение Пушкина), всё необходимо (определение Гегеля, Флобера и Чехова), в нем нет произвольного, нет лишнего, нет случайного. Художественное произведение подобно осуществленному закону. В нем всё отобрано Главным... оно есть сама воплощенная Тайна, пропетая в музыке, или преображенная в образы, или облеченная в слова"*.

В связи с этим задача художника не "поучать", "не проповедовать": он призван "цвести и дарить людям подлинный, чудесный и очистительный аромат своих духовных цветов". Художник должен уйти в "глубину сердечного созерцания и спросить из своего созерцающего сердца Бога, мир и человека о тайнах их бытия"**.

В свою очередь задача критика - помочь постичь эту тайну, заключенную в художественном произведении. Вот почему нет смысла, с точки зрения Ильина, заниматься подсчетом слов и слогов, геометрическим изображением ритмов, арифметической группировкой тактов и проч., словом, тем, что обычно принято называть "формальным анализом" произведения.

Новое искусство, которое предстоит создать русскому народу, откажется от погони за "небы-

* Ильин И. А. Одинокый художник. С. 246.

** Ильин И. А. Путь к очевидности. С. 340.

валыми" новшествами и "потрясающими" открытиями. Возникнув из обновленного духа и глубокочувствующего сердца, оно будет обладать "новым духовным содержанием": оно "создаст новые формы, а не новые бесформенности, не новые разнуждания, не новые хаосы. Оно разрешит себе "многое", но ничего такого, что выходит за пределы духовной необходимости, ибо здесь лежит критерий дозволенного, мира допустимого: "в искусстве верно и художественно только необходимое".

Это новое искусство возникнет, по словам Ильина, из перенесенных русским народом испытаний, лишений и страданий; и совершится это потому, что в русских людях "обновятся источники жизни, родники творчества, самый способ жизни и сила художественного созерцания"* . Подобное созерцание — это животворный источник всего великого на земле: в культуре, религии, искусстве. Духовное созерцание открывает человеку "смысл вселенной, включает его в Божию ткань мира и приобщает его к творчеству". Если же к этому присоединяется еще и талантливость, то перед нами гений.

Гений, по Ильину, это прежде всего национальная личность, ибо гениев-интернационалистов не бывает в природе: "безнациональность есть духовная беспочвенность и бесплодность; интернационализм есть духовная болезнь и источник соблазнов... Создать нечто прекрасное для всех народов может только тот, кто утвердился в творческом акте своего народа"*** .

Замечательный пример национального гения представляет Пушкин, выражающий, говоря словами Ильина, "живое средоточие русского духа, его

* Там же. Сс. 332-333.

*** Ильин И. А. Собр. соч. в 10 т. Т. 1, с. 337.

истории, его путей, его проблем, его здоровых сил и его больных узлов". Призвание Пушкина заключалось в том, чтобы "принять душу русского человека во всей ее глубине, во всем ее объеме и оформить, прекрасно оформить ее, а вместе с нею – Россию"*.

Пушкин для Ильина не только истинный выразитель духа русского народа. Пушкин для него – гениальный пророк, показывающий, что Родина – это не пустое слово, но глубоко духовное понятие. И тот, кто не живет Духом, тот не имеет Родины. Она останется для него темной загадкой и странной необходимостью.

Важно при этом, что феномен Пушкина для Ильина не представляет нечто однозначное и статичное. Будучи истинным мыслителем, он рассматривает личность и творчество Пушкина в непрерывном развитии. Духовная и творческая эволюция Пушкина – от разочарованного безверия – к вере и молитве; от революционного бунтарства – к свободной лояльности и мудрой государственности; от мечтательного поклонения свободе – к органическому консерватизму; от юношеского многолюбия – к культу семейного очага**. История его личного развития соотносится Ильиным с историей развития российского духовного бытия и русской судьбы.

Творчество Пушкина не случайно возросло на ниве тысячелетнего искусства, которое в России родилось как действие молитвенное, как акт церковный, духовный: "Кто сумеет вчувствоваться и всмотреться, тот найдет ту же самую традицию (мудрое пение, поющую мудрость – Ю. С.) и в "Слове о полку Игореве", и в пении калик-перехожих, и

* Ильин И. А. Одинокий художник. Сс. 45, 49.

** Там же, с. 52.

в былинах, и в народных сказках. Русское искусство прежде всего умудряет, оно есть своего рода книга Голубиная, содержащая мудрость "вселенной"; оно дает или жизне-умудрение, как в былине или в светской сказке, или богомудрение, как в акафисте, житии или легенде. Тот, кто не заметит и недооценит эту национальную традицию, тот немного поймет в истории русского искусства"*.

Именно эту традицию продолжил Пушкин, произведения которого служат не просто делу удовольствия, развлечения и украшения жизни, но представляют "постижение сущности, проникновение в мудрость и водительное служение"**.

Другой пример национального гения для Ильина – Гоголь, личность целостная, несмотря на все свои изломы и колебания. Его при жизни и после смерти ценили как великого сатирика и юмориста и почти вовсе не воспринимали трагически-мистическую сторону его дарования. Вслед за Л. Толстым Ильин рассматривает жизненный путь Гоголя, его внутреннюю и творческую эволюцию как историю великого духовно-нравственного очищения и просветления.

Трагизм человеческого существования, подчеркивает Ильин, Гоголь видел в том, что люди, предаваясь своему естественному эгоизму, утрачивают божественное измерение жизни и явлений и превращаются в мертвые души. Не случайно в повести "Портрет" Гоголь показал, что жизненный и творческий трагизм Черткова предопределен небрежением им своего духовного видения, prostituiрованием своего таланта, в результате чего он оказывается жертвой сатаны.

* Там же, с. 52.

** Там же, сс. 36-37.

Центральную идею творчества Гоголя Ильин связывает с поисками путей духовного просветления. "Мелководье бездуховной жизни" изображали многие художники XIX века как в России, так и за ее пределами (Бальзак, Флобер, Мопассан, Золя и т. д.). Но никто из них не обладал живой религиозностью и потому не мог указать пути выздоровления. Лишь два гения – Пушкин и Гоголь – знали, что они начинали и что хотели осуществить: "они хотели породить в России эпоху религиозного очищения и для этого хотели использовать художественное вдохновение и видение. Наступление такой эпохи продолжает, к сожалению, ожидать не только Россия, но и остальной мир. И эта задача – переосмысления и очищения с тех пор несколько не устарела и не отменена, напротив – она интенсифицировалась, стала еще более неотложной"*.

Наряду с Пушкиным, Достоевским, Тютчевым Гоголь, по словам Ильина, понимал "духовное существо России" и указывал ей путь в будущее. Путь этот в том, чтобы быть верной своей духовной субстанции и идти от "праздных очарований и разочарований к совестной жизни", или, говоря словами самого Ильина, "к духовности, предметности, очевидности".

Антиподом Пушкина, этого воплощения света и духовного здоровья, Ильин считает Д. Мережковского. В статье "Творчество Мережковского" он дает исключительный по глубине и философской точности анализ его творчества, срывая с Мережковского сан неприкосновенности. Критик отмечает способность писателя остро и точно рисовать внешний образ человека. Вместе с тем он подчеркивает, что историческая правда вовсе не интересует писателя:

* Полторацкий Н. П. И. А. Ильин. Жизнь. Труды. Мировоззрение. Эрмитаж. 1989. Сс. 90-91.

"История в его романах совсем не история, а литературная выдумка". Ильин отмечает мастерство Мережковского в создании красочных картин, в обрисовке декоративного ансамбля. Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что красочные картины – всего лишь эффектные театральные декорации. Сравнивая Мережковского с И. Буниным, этим мастером "чувственной живописи", Ильин делает следующий вывод: "Трудно найти другого такого беллетриста, который был бы так чужд природе и даже противоположен". В романах Мережковского преобладает холодный рассудок, который анализирует, расчленяет и мыслит по принципу "наоборот". Романист оказывается беспомощен перед таинственностью человеческой души и потому вместо живой души в его романах одна лишь схема, вместо гениального духа – логические абстракции, искусственная, мертвая дидактическая схоластика. Реальные исторические личности в романах Мережковского выглядят не только не великими, но подчас даже не живыми людьми. Человеческая душа, душа героя для него – "мешок, в который он наваливает, насыпает всё, что ему нужно и удобно в данный момент". В результате читателю не удастся полюбить героев Мережковского. Это происходит по одной простой причине: писатель не только сам не любит своих героев, но постоянно и настойчиво их компрометирует. Подводя итоги анализа, Ильин говорит, что в романах Мережковского обнаруживается атмосфера больного искусства и больной мистики.

Наиболее выдающийся труд Ильина как литературного критика – это книга "О тьме и просветлении", в которой он анализирует с точки зрения духовных ценностей Православия творчество Бунина, Ремизова и Шмелева. Этих трех художников, по его словам, объединяет единство предмета и единство национального опыта. Критик

отмечает у Бунина художественную зоркость и честность, называя его художником внешнего опыта, мастером изображения русской природы, способным глубоко проникать в тайны любви. Но здесь же Ильин отмечает безрелигиозность творчества Бунина, неверие писателя в светобожественную радость. То, что Бунин называет богом, есть начало темное, стихийное. Символ его творчества – страсть и демоническая жажда наслаждения, не знающая путей к Богу.

Ремизов для Ильина – писатель, который осуществляет свой талант в мире фантазии, словотворчества и мифотворчества. Общая тональность книг Ремизова – обреченность, братство, сострадание, ощущение вины всех за всех. Героев Ремизова, в отличие от героев Бунина, характеризует не чувственная страсть души, а сострадание и любовь как выражение женственного начала.

Высший тип писателя для Ильина – Иван Шмелев. Это подлинно национальный, подлинно православный художник. Шмелев не просто бытописатель Святой Руси, он певец русского народа, простого и душевно открытого. Ильин сравнивает Шмелева с Достоевским, называя его ясновидцем человеческого страдания, с помощью которого человечество осмысливает свой земной путь, как путь к Небу. Герои Шмелева – это люди, живущие с открытым, обнаженным сердцем, чутко воспринимающие холод и фальшь. Наделенные жаждой правды, они воплощают идею Богомолья, спасения души, мечту о совершенстве и жажду обретения. Здесь же Ильин объясняет понятие Святая Русь. Русь называется святой не потому, что в других странах нет святости, не потому, что на Руси нет греха и порока, а потому, что в ней живет глубокая, неутоляемая и неистощаемая жажда праведности, желание приблизиться и прикоснуться к

ней. И в этой жажде праведности человек православен и свят во всей своей обыденной греховности.

Все эти высокие духовные свойства отразились в отечественном фольклоре, в народной сказке, которую Ильин называет "обломком народного и всенародного искусства", отвечающим на такие коренные вопросы, как: в чем смысл земной жизни? что такое счастье? что такое судьба? кто такие дураки? может, они вовсе не дураки?

Жанр сказки, отражающий духовный опыт нации, отличается, по словам Ильина, художественным лаконизмом, стилистической упрощенностью, символической концентрированностью. В сказке выражается национальное мироощущение, вековая жизненная мудрость, способная помочь разрешить многие бытовые, нравственные и даже государственные вопросы. "Сказки русские просты и глубоки, как сама русская душа, — пишет Ильин в статье "Духовный смысл сказки". — Они всегда юны и наивны, как дитя, и всегда древни и мудры, как прабабушка... Сказка — это ответ всё испытывавшей древности на вопросы вступающей в мир детской души".

Призвание сказки Ильин видит в том, что она способна укреплять человека, утешать и умудрять. Люди, живущие со сказкой, имеют дар и счастье "по-младенчески вопрошать свой народ о первой и последней жизненной мудрости и по-младенчески внимать ответам его первозданной доисторической философии"*.

Возражая против суждения о том, что сказка отжила свой век, Ильин в той же статье утверждает: "И не сказка «отжила» свой век, если мы разучились жить ею; мы исказили свой душевно-духов-

* Ильин И. А. Одинокий художник. С. 241.

ный уклад, мы выветриваемся и отмираем, если мы потеряли доступ к нашей народной сказке”^{*}.

Духовный смысл сказки Ильин образно сравнивает с тонким благоуханным медом, напоминающим естество родной природы, запах родной земли, зной родного солнца и дыхание родных цветов.

Эта родная природа для Ильина, как и быт, есть лишь внешний покров душевной и духовной жизни человека, и когда наши художники, будь то Полenov, Коровин или Левитан, живописуют русскую природу, они показывают через нее наш душевный и духовный уклад, ибо русской душе естественно любить земную Россию и противоестественно не любить ее. Она не только наша детская колыбель, наше земное отеческое гнездо, но и наш отведенный нам Богом сад: “Россия есть как бы риза, через которую сияет эта духовная субстанция”^{***}.

За Россией земной, продолжает Ильин, живет, созерцает, поет, молится и творит Россия духовная, сложившаяся в “суровой броне с прекрасной, но строгой русской природой... с ее пассивной терпеливостью, которая кажется слабостью, но которая перетерла и пережгла не одну исторически-стихийную силу”^{****}.

Самобытность русской поэзии Ильин видит в том, что она “срослась, растворилась с русской природой; русская поэзия научилась у своей природы – созерцательности, утонченности, искренности, страстности, ритму; она научилась видеть в природе не только хаос и космос, но живое присут-

^{*} Там же, с. 231.

^{**} Ильин И. А. Одинокый художник. Сс. 169–170.

^{***} Там же, сс. 170–171.

ствие и живую силу Божества”*. Вот почему существует тесная связь, нерасторжимое сродство между русской природой и светлым православным мировосприятием русской души, тоскующей о любви, милосердии и благословляющей всё живое на земле от последней былинки в поле до каждой звезды в ночном небе.

Особенность русской поэзии Ильин видит в ее естественности, безыскусности: “Она не есть ни продукт ума, ни продукт риторики, она есть порождение и излияние русского сердца – во всей его созерцательности, страстной искренности, во всем его свободолобии и дерзновенности; во всем его Богоискательстве, во всей его непосредственности и глубине”. Русский поэт не описывает свои предметы, а перевоплощается в них; он не рассказывает о них, как это делают французы (и Гюго, и Мюссе), а “поет из них”.

Однако русские поэты видели и историю России, ее пути и судьбы, ее опасности, соблазны и крушения. Русская поэзия на протяжении веков была выразительницей русской религиозности, русской национальной философии и русского пророческого дара. Она выговаривала своим вдохновенным языком то, что у других народов давно уже стало достоянием публицистики”**.

Вместе с тем поэзия всегда воспринимала Россию как живое братство народов, даже “не настаивая на старшинстве русского племени и славянско-го ствола, а просто осуществляя это старшинство собою, песнью, поэтическим вдохновением – этим проявлением духовной зрелости, духовного паре-

* Там же, с. 185.

** Одинокий художник, сс. 188–189.

ния и водительства". Никогда русская поэзия не воспевала порабощения народов и угнетения малых наций. И не случайно, что русская поэзия числит в своих рядах остзейца Дельвига, обрусевшего полунемца Мея, евреев Надсона и Максимилиана Волошина, сына англичанина и польки Диксона и многих других.

И наконец, пожалуй, самая существенная особенность русской поэзии в том, что для нее не существовало мелкого и ничтожного. Она обладала величайшей способностью поэтизировать повседневность, когда и "пустяк начинает играть и сверкать в ее лучах; и проза лучится смехом и весельем; а быт оказывается опоэтизированным и воспетым"*.

Этот опоэтизированный и воспетый мир, по словам Ильина, становится "ясновидчески прозрачным и из-за него начинает сиять и лучиться сама Святая Русь"***.

Наряду с этим Ильин отмечает и иные тенденции как в русской поэзии XIX века, так и в русской жизни, тенденции, возникшие не без влияния французских просветителей – вольтеровской иронии, его "рассудочного прозаизма" и "прикровенного, всеразьедающего нигилизма", с одной стороны, а с другой – мрачной и унылой "мировой скорби" Байрона. Эти два влияния, господствовавшие в Европе в первой половине XIX века, во второй половине дошли до России, чтоб затем "освежиться и обновиться влиянием Ницше и Маркса".

* Там же, с. 175. Именно это послужило основанием для многих критиков на Западе назвать русский реализм XIX века "поэтическим". Об этом пишет, например, американский литературовед Джеймс Петерсон в книге *The Clement Vision. Poetic Realism in Turgenev and James*. N. Y., 1975, p. 21.

*** Одиноким художник, с. 179.

Русская интеллигенция, не без сарказма и горечи пишет Ильин, "научилась у Вольтера нигилистической улыбке, а у Байрона богоборческой позе. Она переняла от Байрона манеру аффективно идеализировать черный угол своей души"*

Не случайно в русской поэзии того времени возникает и нарастает интерес к теме злого духа, осужденного и отвергнутого, но не сдавшегося, не подчинившегося:

Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел –
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

О негативном влиянии этого злого духа, выразившемся в безверии, злобе, зависти и отчаянии, говорится не только в пушкинском "Демоне", но и в стихотворении "Мой демон" Лермонтова, у Баратынского "В дни безграничных увлечений...", у А. К. Толстого "Бывают дни, когда злой дух меня тревожит..." и у др.

Из скрещения демонической иронии и рассудочной полунауки, продолжает Ильин, возникает тот "душевный уклад, который имел сначала вид светского разочарованного снобизма, потом позитивистского нигилизма, потом нигилистической революционности и наконец *воинствующего безбожия, большевизма и сатанизма*"**.

Особое место в творчестве Ильина занимает статья "Когда же возродится великая русская поэзия?", в которой критик связывает возрождение русской поэзии с грядущим духовно-религиозным возрождением России, с процессом "прикровенного,

* Одинокый художник, с. 201.

** Там же, сс. 204–205.

тайного возвращения к вере и молитве". Вся великая русская поэзия прошлого была, по его словам, "порождением чувства восторга, одушевления, вдохновения, света и огня – именно того, что мы называем сердцем и от чего душа человека начинает петь"*.

С изживанием "великого сердечного созерцания" начинается измельчание содержания поэзии, ее сентиментализация, беспредметное и туманное фантазирование, эротическая "тредьяковщина". Поэзия превращается в стихослагательство либо талантливое (Бальмонт), либо бездарное (Брюсов), в беззастенчивую "лабораторию словесных фокусов". Отказ от духовного созерцания, уверенность, что в искусстве всё дозволено, и готовность поклониться демоническому превращению поэта в "безответственного болтуна", "кокетливого хвастуна", выражающего в стихотворной форме "чувственную эротику" при "всё возрастающем бесстыдстве".

Поэтому первая задача настоящего поэта заключается в том, чтобы углублять и оживлять свой духовный опыт. В этом истинный путь к великой поэзии, которая всегда и во всем ищет возвышенного Божественного и из него поет. Именно ощущение этого начала породило поэтический огонь Пушкина, восторг Языкова, мировую скорбь Лермонтова, ощущение бездны Тютчева, любовь к отечеству графа А. К. Толстого.

Грядущие русские поэты, заключает Ильин, сумеют осветить историю крушения России в начале XX столетия и вместе с тем сумеют показать своеобразие и величие русского духа и глубину Православной веры.

* И. Ильин. Наши Задачи, т. 2, с. 245.

XIX век, подчеркивает Ильин, дал России расцвет духовной культуры. И расцвет этот был "создан людьми, «окормленными» духом Православия... И если мы пройдем мыслью от Пушкина к Лермонтову, Гоголю, Тютчеву, Л. Н. Толстому, Достоевскому, Тургеневу, Лескову, Чехову, то мы увидим гениальное цветение русского духа из *корней Православия*. И то же самое увидим мы в других ответвлениях русского искусства, в русской науке, в русском правотворчестве, в русской медицине, в русской педагогике и во всем"*.

Ильин был первым глубоким мыслителем, который на высоком философском уровне полемизировал с Толстым. Свою критику толстовской теории непротивления злу насилием он начал с четкого, философски точного определения сущности зла, подчеркнув при этом, что насилие как таковое и есть зло, против которого необходимо бороться, и всякий человек, подвергшийся насилию, заслуживает сочувствия и помощи. Характеризуя другие признаки зла, Ильин отмечает наряду с насилием единство, лукавство, многообразие и агрессивность.

Если бы зло не обладало тенденцией к агрессивности и насилию и не проявлялось бы во внешних поступках, сопротивляться ему посредством физического пресечения было бы "не нужно и невозможно". Только наивный человек, утверждает Ильин, может не замечать лукавства зла и полагать, что "ему присуще простодушие, прямота, рыцарственная корректность, что с ним можно договариваться, ожидая от него «верности, лояльности и чувства долга»"**.

* Там же, с. 64.

** Ильин И. А. Путь к очевидности, сс. 94, 96, 97.

Вся история человечества, по Ильину, состоит в том, что в разные эпохи и в разных общинах "лучшие люди гибли, насилуемые худшими", причем это продолжалось всегда до тех пор, пока лучшие не решались дать худшим "планомерный и организованный отпор"* . Вот почему в борьбе со злом бывают ситуации, когда необходимо прибегать к физическому принуждению, ибо в противном случае непротивление объективно превращается в пособничество злу.

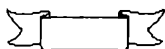
"Прав будет тот, - пишет Ильин, - кто оттолкнет от пропасти зазевавшегося путника; кто вырвет пузырек с ядом у ожесточившегося самоубийцы; кто во-время ударит по руке прицеливающегося революционера; кто в последнюю минуту собьет с ног поджигателя; кто выгонит из храма кощунствующих бесстыдников; кто свяжет невменяемого и укротит одержимого злодея"** .

При этом Ильин сформулировал четкие условия, при которых применение силы не только оправданно, но и необходимо. К числу таких условий он относит: верное определение зла по характеру совершаемых им поступков, волевое отношение к жизни, принятие ответственности за свое решение и действие, последующее пожизненное нравственное религиозное очищение. И всё это при ясном осознании того, что в данных конкретных обстоятельствах бессильны мирные средства противостояния злу. Ильин напоминает, что на Руси сопротивление злу всегда "мыслилось и творилось как активное, организованное служение делу Божьему на земле".

* Там же, с. 97.

** Там же, с. 34.

Высокоодаренной духовно-сильной личностью и пророком назвал Ильина современный немецкий мыслитель Вольфганг Офферманс, выпустивший в 1979 году книгу под названием "Дело жизни русского религиозного философа Ивана Ильина - обновление духовных основ человечества". В ней он отмечает, что размышления Ильина о художественном творчестве опираются на его большое знание многих шедевров во всех областях искусства: "Он был тонким и взыскательным знатоком искусства, для которого всегда самое главное заключалось в духовной глубине, в добротности и внутреннем содержании произведения, а творить художественно означало для него служить Богу и нести людям радость"*.



* См. "Московский журнал", 1993, № 7, с. 20.

История отношений с романом "Роман" Владимира Сорокина*

Со многими произведениями литературы нас связывают давние и прочные отношения. Иные исчисляются тысячелетиями, иные десятилетиями. Отношения формируются, изменяются, прерываются, возобновляются или не возобновляются. Следующее поколение вынуждено заново издавать, изучать, любить, понимать и не понимать, вздыхая с облегчением: что вот и тебе открылось, скука преодолена, и ты смакуешь книгу, просиживая над ней день напролет с тем же чувством, с каким проделывали это твои более образованные и благородные предшественники, пока были живы, любили и страдали. Время покажет, время расскажет, расставит всё по своим местам. Времени нужно много: годы, столетия. Пока же время годить, без особого любопытства наблюдая, как "завязываются отношения" с новой книгой, пока не докажут, не заставят сперва купить и поставить на полку, потом всё-таки прочесть и хотя бы понять, если не полюбить. стыдно не прочитать. Читай, а то будешь волам хвосты крутить. (И ведь будет же.)

История литературы: это история отношений литературы с литературой. Властитель дум, человек, единственная смертная, тленная составная этих отношений, то, что медленно горит, распадается, гниет, давая литературе столь необходимую для жизни пищу. Она размножается в нем, создает его, как голема, заманивает в тишь своих библиотек. И не было никого, кто прошел бы ее до конца, объял, прижал к груди, пожалел и унял. Человеческая жизнь слишком коротка. Отцы Церкви просто называли "любление искусств века сего и желание преуспеть в них", интерес к литературе и писательству – грехом. Страстью, способной вытеснить все иные, сделать из сибарита аскета, увести от мира настолько, что литература станет единственным близким существом, связывающим с жизнью, и тогда – спасения от нее уже нет.

* Владимир Сорокин. Роман. Изд. "Три кита". М., 1994. Сокращенный вариант рецензии опубликован в газете "Русская мысль" № 4068.

Первые сведения о романе Сорокина выглядели так: "Три кита" (издательство, выпустившее книгу) издает роман, который так и называется - "Роман", страниц триста, стилизация под Тургенева - Бунина, герой там на охоту ходит, там грибы собирают, любовь у него там чистая, а в конце у мужика "съезжает крыша", и он рубит всех топором, долго там, страниц сорок, и родных, и соседей, и возлюбленную. Такова она, первая бесхитростная весть, идущая из уст в уста, от сердца к сердцу. Реакция однозначная: не лень - пусть издают. Роман вскоре вышел из типографии, презентация проводилась в Доме ученых в конце декабря. Пускали не всех. Продюсеры постарались, казалось, на воду сходит "Титаник", праздник только начинается, и мы не в Москве, и разговор идет не о книге, успех которой, может, и будет широким, но денег на ней никто не зарабатывает. Было много прессы и местного, монстроватого на вид бомонда. Судя по неинтересным вопросам, заданным журналистами, книгу в руках никто не держал.

В тесноте, стой, где стоишь, нас представили. Я вынужден был засвидетельствовать нелепость моего представления автору, так как совсем ничего не читал, имя слышал однажды вскользь, не могу "посочувствовать", "разделить"... Представившему было неудобно за меня. Мне не было неудобно совсем. Честертон замечал странную природу новостей: "Точно так же из сообщений о смерти генерала Бэнгса мы узнали, что он когда-то родился". Я же мог бы привести историю, которая меня не только бы извинила, а, возможно, и оправдала.

А. А. был видным библиофилом своего времени. Время протекало в таком месте, что селившиеся там народы исчезали бесследно, не обогащая друг друга духовно, не оставляя по себе никаких памятников культуры. Редкие мафусаилы держались десять-двенадцать лет. Я говорю о необетованном доме на Добролюбова. Много тайн хранили их похмельные головы, но к нашему времени этот народ бессмертных уже не умел разговаривать, сохранив за собой лишь навык попросить сигарету и одолжить денег. Всё приходилось понимать самим. А. А. обладал редким даром: читать всё подряд, самоотверженно, до последней страницы. На этом пути он и наступил на череп троянского коня. Некто талантливый, отмеченный печатью роковой, покинул своих многочисленных почитателей, умер сравнительно молодым. Друзья потрудились и увековечили память любимого поэта книгой воспоминаний. Все они, как и покойный, были студентами Литературного. Теплые слова были проникнуты тем

благоговением, какое отличает разговор о непреходящем. А. А. не знал Поэта. Не знал он и никого из вспоминавших, но отчаяние его достигло точки опоры на словах: "Мы высоко ценили имярека, но что мы, – сами..." Далее следовал длинный список учителей, критиков, известных редакторов. А. А. не знал ни одного имени. "Мы имеем дело с параллельным литинститутом, с параллельным литературным миром, боюсь, кое-кто из этих людей и сейчас печатает на машинке в этой комнате, мы не встретимся никогда", – отозвался А. А. о прочитанном. А. А. разлучился с литературой, потерял интерес к писательству. Я не так пострадал, но мысль о параллельной литературе мучает меня и по сей день.

Рождение нового романа всегда становилось событием не только и не столько художественным, сколько общественным. Такова его природа, коренное отличие от повести, рассказов. В роман смотрят, роману следуют. На главные роли романа в разное время пробовались герой, общество, народ, большой и маленький человек, некоторые животные, фантомы и даже предметы быта. Роман эволюционировал. Личность потеряла свое влияние, общество – свою целеустремленность, поток сознания угасал. "Конец Романа" был отмечен еще в начале века, спасительная инерция еще впустила в литературу не один замечательный роман до конца столетия, но замечание Мандельштама не было преждевременным.

В "Романе" Сорокина множество прозрачных примет, позволяющих читать текст на языке жанра, по знакомым, узнаваемым схемам. Автор позаботился о том, чтобы замысел распознавался, *clie mot*, столь важное для русской прозы, прерывается точками, делится на абзацы, переползает на следующие страницы, но не теряет признаков "ключевого слова", которое традиционно укладывалось в первом же предложении. Автор выделяет эти страницы курсивом, не сливая с дальнейшим повествованием. Становится ясно, с чем придется иметь дело ближайшие сотни страниц. Стил, атмосфера книги предстает здесь. Читателя ждет прогулка по равнинной, обессоленной, но до боли родной литературной речи, не одобренной живительным жаргоном, психологизмом личных (тоже близких) патологий.

Герой – нормальный правильномыслящий молодой человек, интересующийся искусством, но не потерявший еще живой связи с простым народом. Его тянет от столичной суеты в тишь родного захолустья, где он не был три года. Его ожидает радужный прием, полный сентиментальной, нескончаемой болтовни. Обмен любезностями прерывается лишь

редкими одинокими прогулками. Неторопливо распаковывается чемодан, долго осматривается любовно отведенная комната. Ближайшие сто с лишним страниц герой посещает охоту, рыбалку, косит с мужиками. Картины природы переданы основательно, никакого психологического параллелизма: природа так уж природа. Застолья, чаепития, неспешная русская дорога, подвода, бесстрастный разговор о судьбах России, в самых общих чертах, начальный разговор. Герои не перебивают друг друга, высказывают свою мысль до конца, не скупясь на банальные примеры. Торопиться некуда.

Собирая грибы, роман вмешивается в естественный ход жизни леса: мстит волку (вероятно, сумрачному германскому) за растерзанного лосенка. Происходит схватка человека и зверя (прямо по "Мцыри"). Роман убивает волка, сам уносит на теле болезненные укусы. Кровь героев смешивается. Приходя в сознание, еще совсем слабый, он и встречает Татьяну, выхаживающую его. Татьяну Александровну! (Почему не Татьяну Ивановну?) Ассоциации здесь неизбежны. Чтобы встретиться с Татьяной, своей невестой от века, Роману пришлось стать человеком. Их взаимное чувство растет и крепнет с каждым днем, оно сбывается. Опускаются глаза, румянец заливал щеки, и не раз, не раз произносятся скупые слова признаний. Медленно дело идет к свадьбе. Венчание, всеобщее ликование до ночи, силы гостей неиссякаемы: под конец они прыгают через костер. Конец — делу венец. Таинство "двое в плоть едину" — новобрачным не суждено свершить по-людски. Шкура "того самого" волка молчаливо сторожит подножье брачного ложа.

"Тот самый... и шкура еще не просохла. Татьяна присела рядом с ним и тоже потрогала шкуру.

— Знаешь... — задумчиво произнесла, — я всю жизнь ждала любви, но я боялась, что не смогу полюбить.

— Почему? — повернулся он к ней.

— Потому что мне казалось, что я смогу любить только безумно, только всем сердцем, а это может испугать и разрушить любовь.

Роман осторожно поднял ее за плечи и, глядя в глаза, сказал:

— Мою любовь к тебе испугать невозможно. Она никого и ничего не боится.

— Не знаю, — помолчав, ответила она, — и именно поэтому мне всё кажется чудом. Чудо, что мы встретились, чудо, что мы так любим друг друга.

— Чудо, что мы никогда, никогда не расстанемся, — быстро заговорил Роман, — я не просто верю в это, как знаю то, что я жив, что я не умер".

Поясню, зачем я так подробно пересказываю содержание. Убежден, что роман прочтут немногие. Плоть романа непреходима. Книга напоминает руническую запись: я, имярек, умею резать руны. Я, В. Сорокин, умею писать романы. Роман написан из любви к искусству. Из любви к искусству может быть и прочитан. Последний роман Татьяны. Галлюцинации умирающего романа, предсмертные сны. Мечутся тени Достоевского, Тургенева, Бунина, блекнувшее богатство приемов русской психологической прозы, восходящей к реалистическому символизму, неинтерпретируемым символам, срастаются в стилистическое чудовище, в томление Химеры в ожидании Беллерофонта.

Роман знает, что он жив, что не умер. Рядом с ним та, чья любовь останется с ним до конца:

— Правда, правда, радость моя! — радостно ответил он. — Знаешь, мне кажется, я всё понял. Я понял в с ё !

Он взял ее за руку:

— Пойдем! Я знаю, что делать. Пойдем".

Это — последняя сцена идиллического бреда, дальше начинаются кошмары. Синтаксическое расстояние между убийствами сокращается от сложно-подчиненных до простых предложений, где остается место только для имени и повторяющегося действия. Кровь вскипает. Пропадает психологизм, а после пропадает и физиологизм. Что же понял Роман — догадываться не хочется, глядя на то, что он делает. Свадебные подарки: деревянный колокольчик безвестного Божьего угодника в руке Татьяны, она непрестанно звонит, но никто не слышит "пения ангельского". Топор с гравировкой "Замахнулся — руби!" (не тот ли, к которому литература призывала Русь?), подарок германофила Ключина.

Татьяна сопровождает Романа во всем, даже собственную смерть принимает с покорностью от рук любимого. "Несвоевременный" роман о любви, уже сошла в тираж последняя жертва сексуальной революции, сквозь Тристана, Ромео, Вертера, Дилетантов, я считал прекрасной книгой о любви "1984" Оруэлла. Не хочется говорить о проблеме любви и смерти — это тавтология. "Совершенная любовь побеждает страх": страшно думать, что Татьяна и Роман пришли именно к этому. Легче принять происходящее за патологию, глумление над образом человеческим. Недосказанность, умолчание — золотая фомка русской прозы, раздвигающая любые парадигмы переживания. В Сорокине прием этот методично уничтожается: Роман — "Роман" умирает, потому что больше не о чем молчать. Попрано последнее, осквернена святая

святых, размазано по полу запретное, превратившееся в лучах дневного света (а не в фиолетовых лучах подсознания) в банальную грязь, блевотную, лишенную всякого смысла. Смерть, трепет, тайна – ничего не осталось. Роман убил, Роман расчленил и перемешал, Роман съел и не удержал, смешал с собой и снова съел. Не кормит, не насыщает. Больше *ничего* нельзя придумать – но еще много страниц в однообразной судороге Роман умирает, пока не умирает наконец.

Говорят, долг писателя время от времени спускаться в ад и возвращаться целым и невредимым, еще и с гостинцами. Такие "возвращения" порочат идею Ада как таковую. Думается мне, Ад – не место для прогулок. Ужасы Сорокина – не сходжение во Ад, а человеческое преддверие, надежный залог. Топтание у порога, к которому роман подвигался сотни лет. Он умирает, не "войдя". Живым войти и вернуться было позволено лишь Данту, чей гений несомненен.

Книга, где переплетены наиболее удачные сюжетные ходы и характеры героев, сделавшие русскую литературу мировой, напоминает не лабиринт, где можно блуждать, угадывая ходы, а дверь, сплошь покрытую замками, где даже у замков есть замки, прозрачную от замочных скважин. ее невозможно открыть, и запиравший ее не соберет всех ключей.

Ключи к восприятию следует искать в многочисленных рассказах и повестях Сорокина, где ненормативная лексика, патологии подсознания достигают своего акме, полноты выражения. Там, где для выражения чувства глубокого отвращения Набокову достаточно было написать: "Пахнет табаком, чесноком и мужиком", Сорокину, пишущему теперь, когда табак, чеснок и мужик стали привычным амбре светских раутов, приходится применять выразительные средства попротивней. Будто бродишь по брошенной мастерской, среди безобразных и грязных инструментов, мусора, пустых бутылок – долгих творческих поисков, пока не находишь обломки гипсовых форм, в которых была отлита эта чистая, страшная пустота.

Но в "Роман" автор входит, отряхнув прах с ног. Чистая речь, правильный вкус, жанровый детерминизм. Автор проходит с Романом весь путь его болезненных галлюцинаций, преданно записывает каждое слово ровным, красивым подчерком. Умирает бессмертный. Сфинкс бросается со скалы, симплигады застывают обычными скалами. Бессмертному трудно умереть. "Только крупно вырубленное имя покойного – Роман – различимо на большой перекладине, да и оно скоро пропадет в усиливающемся сумраке..."

Сумрак усиливается. Найдутся и те, кто даст клятву продолжать дело, на могиле романа. Но... "Какой толк в людях, предпочитающих, чтобы им перед исчерпанным рудником говорили: «завтра здесь откроется новая жила», как это делает нынешнее искусство", – писал Шпенглер совсем о другой книге. – "Если под влиянием этой книги люди нового поколения обратятся к технике вместо лирики, к военноморской службе вместо живописи, к политике вместо критики познания, то они поступят так, как я этого желаю, и лучшего им нельзя пожелать".

С позиций традиционного восприятия слабые стороны книги столь очевидны, что говорить о них – страдать беллерофонтизмом. Татьяна умерла. Любить романы больше некому. Роман умер. Он больше никого не убьет.

Виталий ПУХАНОВ

О стихах Георгия Недгара*

В 1994 году московским издательством "Пятая страна" (при участии книжного магазина "Гилея") выпущена тиражом в 500 экз. книга Георгия Недгара (Юрия Михайловича Виленкина) "Избранное". В сборник вошли стихотворения 1984–1987 годов, собранные в четыре книги: "Север", "Ревверс", "Норд-ост" и "Марцефаль". Из краткой справки (последняя страница книги) узнаём, что родился Недгар в 1944 году, умер в 1989 в возрасте 45 лет и что при жизни практически не печатался (несколько стихотворений в советских изданиях и несколько подборок стихов в западных, в том числе – в газете "Русская мысль" и в журнале "Грани").

"Избранное" – первая книга поэта. И для нас – первое представление творчества Недгара в достаточно большом объеме (в "Избранное" вошло более полусотни стихотворений). То есть – уже в русле традиции, сложившейся в российской культуре с середины восьмидесятых годов – открывается очередное неизвестное имя.

Случай Недгара любопытен тем, что это – одно из первых имен целого культурного явления – советской неофициаль-

* Георгий Недгар. Избранное. Изд. "Пятая страна". М., 1994.

ной литературы. Для официальной культуры таких поэтов, как Недгар, не существовало. Для "своих", для братьев по "несуществованию", – зачастую тоже: эти люди работали в советской стране как разрозненное множество, не зная и в большинстве случаев не имея возможности знать друг друга, знать один о творчестве другого. Этот культурный пласт более неизвестен у нас, чем любые другие, и о нем пока трудно высказать более или менее связное мнение, охарактеризовать, оценить. Это – самый сложный пласт для будущих исследователей, поскольку трудно установить что-то общее, связывающее вместе отдельных представителей неофициальной советской литературы. Кроме, пожалуй, схожей литературной судьбы, широкой неизвестности.

Читая "Избранное", замечаешь, как на стихах Недгара то там, то здесь проступают темные пометки, оставленные подобным существованием на забвенном поэте. Привычка к поэтическому одиночеству, к внутренней замкнутости ведет к тому, что стихи Недгара игнорируют читателя, что они обращены не к нему, а к самому Недгару, фиксируют какие-то итоги размышлений, состояний самого поэта, отношения его с миром. Отношения не так, как они выглядят с посторонней точки зрения, со стороны читателя, со стороны "мира" – а с точки зрения самого Недгара, с точки зрения субъективной. Состояние мира, окружающего поэта, определения, диагнозы, которые дает миру поэт – основная тема "Избранного".

...Здесь всё не так. Здесь вьется змейка,
Стихи читает белошвейка,
Гарцует Ева болеро,
Стоит помойное ведро...

Мир выглядит не так, как он, в понимании поэта, должен бы выглядеть. И дальше:

А может быть, ядро распалось?
А может быть, уже усталость
Эона чувствуем?..

А на другом конце этой дороги, дороги поэтического взгляда:

Здесь не отчизна – здесь сарай.
Ложись и молча умирай.
Здесь царствует фата-моргана.
Здесь кончен путь. Здесь замкнут рай.

Конец пути, замкнутое пространство... иначе говоря – тупик. Вот таким – огромным, замкнутым пространством,

неизбежно заканчивающимся тупиками, – и представляется мир Недгару. Его стихи – это странствия от тупика до тупика, поиски выходов куда-либо, в какое-то иное пространство – “туда, где всё вдвойне”. Данный же Недгару мир довольно густо насыщен оттенками нереальности, inferнальности даже: предметы мира (любопытно заметить, что мир поэту представляется твердым; это прилагательное – “твердый” – наиболее употребительно в символике книги), люди (“Свой скупной путь дорогой дальней пройти с подругой inferнальной...”).

Твердое... Прозрачное... Таковы качества мира. Прозрачность – чтобы всё увидеть и узнать об этом мире. Твердость – для того, чтобы с ним ничего нельзя было сделать. Мир, перед которым можно только опустить руки. И еще одно из прилагательных, из символических ключей книги: “пустое”.

Но в стихах чувствуется какая-то энергия сопротивления, противостояния этому, наиболее уместному в данном случае, “опусканию рук”. В стихах нет элемента уныния. В них есть (коли прибегнуть к столь странному определению) энергичный пессимизм. Или уж скорее – оптимизм. Оптимизм человека, придавленного своей судьбой, но всё пытающегося противостоять ей. Всё ищущего выходов – там, где их нет.

Увы, мой друг! Последняя картина!
Нет времени для дочери, для сына,
Родная мать, кот, пес белобородый –
В тумане всё, всё лишено породы,
Всё лишено природы, бытия,
И в полюс, в поиск упадаю я...

Стихи Недгара свидетельствуют о неблагополучии, о разочаровании, Но о разочаровании мужественного человека. Пройдя – наощупь – с Недгаром по его миру, осознаешь, что тебя провели по некоему подобию дантовского пути – вернее, по недгаровскому варианту этого пути. Провели, дав провожатого, – книгу стихов. Книгу стихов человека, которому выпало осиливать этот путь одному, без провожатых.

В. ОБУХОВ

И снова этот ад*

"Христос спускается с нами в тюремный ад" – так называется книга лютеранского пастора Рихарда Вурмбранда о проведенных им четырнадцатью годами в тюрьмах социалистической Румынии.

Послевоенное время. На штыках освободителей принесен новый строй. Многие из тех, кто раньше оказывали услуги фашизму, теперь становятся активными поборниками социализма. Гонения на веру и Церковь приобретают невероятный размах. Власть в многоконфессиональной Румынии берет на вооружение религиозную политику в Советском Союзе, используя те же методы: либо полного уничтожения, либо подкупа (т. е. раскола изнутри). Это время, когда тюрьмы заполнены до отказа, и новый режим имеет большой полигон для своих действий. Те из священников, которые еще не были арестованы, спешат эмигрировать. По описаниям Вурмбранда, власть сумела подчинить себе все конфессии в Румынии. Национализируется земельная собственность и церковное имущество. Римские католики должны отделиться от Ватикана; отказавшиеся дополняют число заключенных. Во главе Православной Церкви поставлен епископ, во всем исполняющий предписания властей. Апофеозом этой политики является "религиозный конгресс", на котором представители различных деноминаций и духовного сословия выражают готовность сотрудничать с коммунистической властью. Ситуация вполне стандартная, обычная, с точки зрения отношения атеистического государства к Церкви.

... Пастор Вурмбранд был арестован в конце 40-х годов в возрасте 39 лет за свою приходскую деятельность. Под пытками он подписывает все показания на себя, включая обвинение в гомосексуализме и шпионаже, не назвав при этом ни одного имени и фамилии известных ему людей. Выдерживает одиночное заключение, едва не умирает от туберкулеза; после освобождения в 1956 году и трехлетней деятельности на свободе арестован вторично. В 1964 году по общей амнистии был освобожден окончательно и выкуплен у румынского правительства за 40.000 немецких марок западными христианскими общинами.

* Р. Вурмбранд. Христос спускается с нами в тюремный ад. – М.: изд. "Чайка", 1994. 207 сс.

Это – не художественное произведение и не мемуары в полном смысле слова. Как свидетельство о тюрьме эта книга не дает яркой развернутой картины, каковые дают воспоминания не только "классиков" этой темы: Солженицына и Шаламова, но и более поздних авторов: Буковского, Марченко, Ратушинской. Сцены, события и люди в этой книге проходят несколько обрывочно и схематично в общей чередой эпизодов 14 лет заключения, хотя некоторые из них даже при кратком описании воспроизводят глубину трагизма обитателей ГУЛага, в данном случае румынского.

И сам автор считает, что в книге его есть еще один, самый главный, Персонаж, с которым он проходит все свои страдания, – это Христос.

Может быть, в связи с этим, да и не только этим, стоит задать вопрос: что такое страдания за Христа в XX веке?

Наверное, трудно сыскать более кровавое столетие за последнюю тысячу лет. Две мировые войны, фашизм, коммунизм, ГУЛаг. Даже времена крестовых походов и великой инквизиции в Европе, время нашествия Батыя на Руси блекнут в сравнении с той индустрией смерти, которую выработало человечество XX века. Люди должны были умирать за свою классовую или сословную принадлежность, за свою национальность, партийность или беспартийность, веру и т. д. В книге пастора Вурмбранда мы найдем подобные страницы – Румыния, как и все страны Восточной Европы, прошла и через коммунизм, и через фашизм.

В России мы имеем множество свидетельств террора, направленного против верующих и Церкви. Соловки были местом для ссыльного духовенства, Секирная гора – местом их казни. Из периодической печати 20-х годов и из воспоминаний очевидцев мы можем узнать, как совершались убийства только за одну принадлежность к духовному сословию, причем убийства зверские, с издевательствами, унижениями и самыми изощренными кощунствами. "Чем большее число представителей реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, – тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать", – это известные слова Ленина из секретного письма к членам Политбюро.

Итак, что же такое страдания за Христа в XX веке?

В первые века христиане претерпевали необыкновенные мучения с мужеством и радостью, показывая всему миру удивительную преданность Христу. Смерть мучеников, хотя

и жестокая, была овеяна героизмом и ореолом чуда. Эта смерть воспринималась с радостью и была показателем подлинной мистической силы и правды нового учения.

В мировой войне XX века христиане вряд ли пользовались преимуществом перед остальной массой людей, случайно или не случайно попавших в ее пекло. Для убийц христиан XX века даже сам факт исповедания как-будто не имел существенного значения – их надо было просто уничтожить. Уничтожение не было направлено на то, чтобы не допустить распространения "нового учения", а скорее всего на то, чтобы покончить, свести счеты с этим ненавистным "старым христианством", мешающим массовому шествию в светлое атеистическое будущее. Люди как-будто устали нести это невыносимо тяжелое бремя Христа (так, во всяком случае, было в России).

Места для героизма практически оставлено не было. Вся возможная красота мученичества была смешана с грязью; смерть как можно более принижена до скотской.

Воспоминания пастора Вурмбранда, как воспоминания о *своих страданиях* за Христа, интересны с той точки зрения, что могут приоткрыть внутреннюю сторону его пути. Прежде всего, смыслом существования пастора была проповедь. Он сам называет себя "путеводителем для всех" и радуется, когда наконец-то становится тюремным пастором. Еще до ареста он молился, чтоб Господь послал его в Россию проповедовать среди атеистов (наивность или самонадеянность?). Ему пришлось проповедовать среди советских солдат. Когда в Румынии усилились аресты, он молился, чтобы Господь позволил ему "нести Крест". В то время как люди искали возможности избежать тюрьмы и мучений как подлинного ада, появляется человек, который молится о том, чтобы туда попасть (опять-таки, самонадеянность или наивность?). В дальнейшем, правда, пастор Вурмбранд молился о том, чтобы прекратились его мучения, и об освобождении тоже. После первых пыток едва не совершает самоубийство. Автор рассказывает об обращении в веру во время допросов лейтенанта службы госбезопасности Греку, который исповедовался ему, заключенному пастору, в своих грехах. О покаянии убийцы евреев. Об обращении ожесточенного юноши Иосифа. Его друг, профессор Попп, с которым долгое время он беседует безуспешно, в конце концов становится христианином. В камере № 4 для умирающих людей, где пастор находился 10 месяцев, за это время, по его словам, "никто не умер атеистом". С годами желание про-

поведовать не ослабевает, а скорее наоборот, возрастает. Несмотря на длительное заключение, имеются силы и готовность пострадать за Христа: "Если бы я располагал только своими силами, – свидетельствует Вурмбранд, – я бы никогда не выдержал".

И вот он пишет о том, что происходило вокруг него и с другими людьми, в том числе верующими. Система "переобучения", т. е. усилившиеся наказания инакомыслящих заключенных руками других заключенных в целях вбивания коммунистической идеологии. "С теми, кто твердо держался своей веры, обращались хуже всего. Часто верующих держали в течение четырех дней привязанными на кресте. Этот крест ежедневно клали на пол. А другие заключенные получали приказ испражняться на лицо и тело жертвы. После этого крест снова поднимался".

В камеру № 4 был помещен католический священник. Он рассказал, как в тюрьме Питешти в воскресенье его опустили в яму уборной. Ему приказали читать мессу среди экскрементов, а в заключение раздать людям причастие.

"– И вы послушались? – спросил я. Он закрыл лицо руками и заплакал". Нечто подобное происходило в России, только раньше.

Сам Вурмбранд доходит до физического изнеможения, до болезни. Он проходит через бастонаду (наказание палочными ударами по пяткам) и манеж (гонку заключенных по кругу). Он едва не умирает, но при этом не имеет ни малейшего колебания в вере. Ему как бы не свойственны колебания. Он постоянно констатирует, что Господь был с ним, хотя богооставленность – это чувство, которое знакомо любому человеку в трудной ситуации. Также не свойственны ему ошибки, которые обычно совершают люди. Он не испытывает ни страха, ни терзаний, как будто все человеческие слабости перестали существовать в нем. Судя по его описаниям, он проходит поприще именно на высоте героизма. Только один раз, во время одиночного заключения, его постигают сомнения: "Я закричал громко: «Кто же тогда настоящий Мессия, который должен прийти?». Ответ был недвусмысленным, но слишком кощунственным, чтобы можно было его воспроизвести. Я написал книги и статьи, доказывающие, что Иисус был Мессией. Но теперь мне не приходило на ум ни одного аргумента".

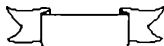
Но как бы мы ни относились к описаниям, касающимся его самого, нужно отдать должное безусловному пониманию им того, что есть люди, которые страдают больше, чем он,

потому что, в отличие от него, они страдают *без Христа*. К этим людям, обреченным страдать без веры, направлено его сочувствие, и каждый шаг продиктован желанием помочь именно в этом – привести к ним в этот тюремный ад Христа. Это, как правило те, которые были коммунистами и сами участвовали в репрессиях. Это министр юстиции, утверждавший: "Мы, коммунисты, верим, что будем управлять миром" и умерший под пытками коммунистов. Это Борис, принимавший участие в наказаниях заключенных во время "переобучения" и перед смертью в этом раскаявшийся...

И все-таки вопрос о страданиях за Христа в XX веке остается до конца не изученным, и любые свидетельства представляют ценность. Нет пока ответа и на другой вопрос: а каким стало христианство после всех таких испытаний? В последних главах книги есть весьма показательная сцена: священники разных конфессий выделены из общей массы заключенных и посажены в отдельную камеру. Споры о разногласиях здесь только усиливаются, и найти общий язык представителям духовенства не удастся. В итоге этих споров пастор приходит к выводу: "Если нам не удастся жить в мире друг с другом, то мы попадаем в ловушку, которую приготовили нам коммунисты. Тем, что нас всех закрыли вместе, они лишили остальных заключенных духовного утешения, а мы тем временем из-за непрерывных споров сами обесценивали добрые дела, которые должны совершать".

Все эти вопросы еще требуют рассмотрения. А книга пастора Вурмбранда имеет и свой "happy end": выкупленный западными христианскими организациями, он в конце концов покидает Румынию.

Елена БАЖИНА



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Гергенредер Игорь Алексеевич. Род. в 1952 году в г. Бугуруслане Оренбургской обл. в семье русских немцев, высланных туда во время войны. Закончил факультет журналистики Казанского университета, работал в различных газетах. Начал писать прозу. С 1985 года стали выходить его рассказы, повести в журналах, в коллективных сборниках. С недавнего времени автор живет с семьей в Германии. В "Граних" № 175(1)/1995 опубликован его большой рассказ "Птенчики в окопах". Очевидцем и участником событий, описываемых в произведениях этого автора, был его отец, выросший в Кузнецке. Обладая отличной памятью он много рассказывал автору о происшедшем, помнил фамилии почти всех действующих лиц: автор их не изменяет.

Линник Юрий Владимирович – филолог, поэт, философ. Автор множества статей, книг и сборников. Один из лучших знатоков истории культуры российской эмиграции. Собирателъ художественных произведений. Живет в Петрозаводске (Карелия). Постоянный автор "Посева" и "Граней".

Махнач Владимир Леонидович. Род. в 1948 г. Закончил отделение истории искусств истфака МГУ. Работал в Музее искусств народов Востока, Музее-заповеднике "Абрамцево", Государственном музее архитектуры. С середины 70-х годов постоянно читал лекции по русской истории, истории русского искусства, истории Церкви на московских квартирах, за что в 1983 году был направлен грузчиком на завод железобетонных изделий. С 1990 года – доцент Московского архитектурного института. Создатель первых в России курсов по темам: "Введение в историю мировых культур" и "История отечественной культуры". С 1992 года – аналитик Внешнеполитической ассоциации. Постоянно публикуется в периодике ("Русское слово", "Воскресенье", "Новое время", "Диалог", "Урания").

Миросниченко Игорь Владимирович. Уроженец (род. в 1925 г.) и житель С.-Петербурга. В своем письме И. В. почти больше ничего не сообщает о себе. Но зато он пишет о своем отце, что для для издательства "Посев" необычайно важно и интересно:

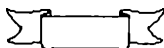
”Дело в том, что о журнале «Посев» я много слышал от моего отца Мирошниченко Владимира Сергеевича, который жил во Франкфурте-на-Майне в 60-х годах как эмигрант и печатал свои работы в издательстве «Посев» под псевдонимом Мерцалов (Mertsalov)”.

Напомним, что В. С. Мерцалов был автором многих статей в журнале “Посев”, но главный его труд “Трагедия русского крестьянства” был вообще не только одной из первых, но и одной из лучших (и по сегодняшний день) работ на русском языке на эту тему.

С а м о х и н Андрей – псевдоним давнего и постоянного автора “Посева” и “Граней”. Политолог, публицист. Автор многочисленных публицистических статей и исследований. Одним из лучших его исследований, по тематике уникальным является, несомненно, работа “Китайский круг России”, вышедшая отдельной книгой в издательстве “Посев”. Живет в России.

С о х р я к о в Юрий Иванович. Родился в 1938 году. Доктор филологических наук, профессор Института Мировой литературы, член Союза писателей. Автор книг “Русская классика в литературном процессе США XX в.” (1988), “Художественные открытия русских писателей (О мировом значении русской классики)” (1990), “Природа и человек (По страницам современной литературы)” (1990).

У с п е н с к а я Татьяна. Род. в 1937 г. По образованию – филолог. Несколько лет преподавала в знаменитой в 60-е годы Второй математической школе, когда там также работали Анатолий Якобсон, Герман Фейн-Андреев, Виктор Камянов, Феликс Раскольников. Писать начала с 17 лет, написала, не считая рассказов, критических работ и статей, семнадцать романов и повестей, большинство из них пролежало по 25, 17, 15 лет. За последние годы вышло восемь книг. В настоящее время живет в США. Время от времени печатается в “Новом Русском Слове” и в “Панораме”.



ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПОСЕВ"

POSSEV-VERLAG, V. Gorachek KG
Flurscheideweg 15, D-65936 Frankfurt a. M.
Tel.: (069) 341265. Telefax: (069) 343841
Postscheckkonto: 33461-608 Ffm
Dresdner Bank AG BLZ 500 800 00, Kto 241275500

Ответственный издатель: М. В. Горачек
Директор московского филиала: К. В. Русаков
Коммерческий директор: Л. А. Мюллер

Условия подписки для заграницы на 1996 год:

Журнал "Грани" (4 выпуска в год)

Годовая подписка в издательстве	60 нм
Годовая подписка через посредников	70 нм
Почтовые расходы	10 нм

Журнал "Посев" (6 выпусков в год)

Годовая подписка в издательстве	60 нм
Годовая подписка через посредников	70 нм
Почтовые расходы	10 нм

Доплата за воздушную почту и на "Посев", и на "Грани":

Сев. Америка, Африка, Бл. Восток	20 нм
Южн. Америка, Дальний Восток	30 нм
Австралия, Новая Зеландия	40 нм

Торговые представительства издательства "ПОСЕВ"

АВСТРАЛИЯ	S. Sesin, Unification Bookstore 43 Croydon Rd., Surrey Hills, Vic., 3127
БЕЛЬГИЯ	B. P. 1094 - Bruxelles 1
ВЕНГРИЯ	Bartok Béla, ut. 16. 1.em. H-1111 Budapest Tel.: (361) 186-2527
США	G. Valk, 501 5th Ave., # 1612, New York N. Y. 10017 "Possev" Representative, P. O. B. 659, Pacific Palisade, NJ
ШВЕЙЦАРИЯ	G. Bruderer, Mösliveg 40, CH-3098 Köniz

"ГРАНИ"

Журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли

Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения редакции. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных, географических названий и иных собственных имен и прочих сведений, за оценку событий и персоналий, а также за то, что в материалах не содержится данных, не подлежащих открытой публикации. Редакция оставляет за собой право публиковать рукописи в сокращенном виде.

Непринятые рукописи не возвращаются.

Редакция не может высылать авторам рецензии на их произведения, давать консультации литературоведческого или юридического характера и выступать ходатаем в официальных учреждениях. Направляемые в адрес редакции рукописи должны быть напечатаны на машинке через два интервала четким шрифтом (допускается аналогичный компьютерный вариант) без правки, вставок и вклеек. Рукописи представляются в редакцию в двух экземплярах. Объем каждого предлагаемого материала не должен быть более трех авторских листов. Рукописи, превышающие указанный объем, редакцией рассматриваться не будут.

Учредитель: Филиал Коммандитного товарищества
"Издательство ПОСЕВ".

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и
информации Российской Федерации.

Свидетельство о регистрации № 011038 от 13.01.1993.

Адрес московского филиала издательства "Посев"
для оформления подписки, заказов на отдельные экземпляры
и комплекты журналов "Грани" и "Посев",
на книги издательства "Посев" и писем:
103031 Россия Москва К-31 Русакову К. В.
Телефон/факс: (095) 927 27 37.

ГРАНИ-GRANI

Индекс 73078

Подписано к печати 20.08.95. Формат 84×1-8 1/32.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20. Усл. кр.-отт. 15.

Уч.-изд. л. 16. Тираж 2000 экз. Заказ № 2637

Отпечатано с оригинал-макета в ДПК.

142040 Моск. обл. г. Домодедово, Пионерская ул., 18.

Книги издательства «Посев»

В.К. Штрик-Штрикфельдт «Против Сталина и Гитлера»

Мягк. пер. 444 стр.

В.К. Штрик-Штрикфельдт — рижанин, воевавший в Первую мировую войну в рядах русской императорской армии. Капитан-переводчик, участник антигитлеровского движения немецких офицеров, он был первым немецким офицером, встретившимся с пленным генералом А.А. Власовым. Русскому читателю неизвестна правда о А.А. Власове. В воспоминаниях Штрик-Штрикфельдта он может ознакомиться с обликом генерала Власова, с идеей российского освободительного движения против Гитлера и Сталина.

Г.К. Гинс «Предприниматель»

Тв. пер. 224 стр.

Георгий Константинович Гинс (1887-1971) — русский ученый-правовед, экономист, социолог, первым предложивший модель общества, стоящего на принципах солидаризма. Книга была издана в Харбине в 1940 г. В России издается впервые. В ней рассказывается об истории мирового и российского предпринимательства.

Ю.В. Мальцев «Иван Бунин. 1870-1953»

Мягк. глянец. пер., 432 стр.

Ю.В. Мальцев — литературовед и языковед, участник Демократического движения в СССР. В 1974 г. эмигрировал из Советского Союза. Преподал русский язык и литературу в университетах Пармы и Бергамо. Новая книга Ю. Мальцева — первое глубокое исследование творчества великого писателя. Книга во многом основана на материалах недоступного ранее Парижского архива Бунина.

Новая книга издательства «Посев»

А. Казанцев «Третья сила»

Книга повествует о трагической попытке создания русских антикоммунистических сил в нацистской Германии и на территории оккупированных ею стран. А.С. Казанцев, одаренный представитель белой эмиграции, принимал активное участие в создании Власовского движения. О многих событиях Второй мировой войны, ранее не известных российскому читателю, свидетелем и участником которых был А.С. Казанцев, вы узнаете только из этой книги.

Вы можете заказать книгу почтой по невысокой цене
или приобрести ее с большой скидкой
непосредственно в издательстве «Посев».

Адрес для заказов:

103031 Россия Москва К-31 Русакову К.В.

Телефон/факс: (095) 927-27-37.

ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Теперь Вы можете подписаться на журналы "Посев" и "Грани" непосредственно через новый отдел подписки филиала издательства "Посев" в Москве - начиная с любого месяца. Это хорошая возможность получать журналы строго в срок, в нашем конверте без наложенного платежа.

На второе полугодие 1995 года три номера журнала "Посев" или два номера журнала "Грани" обойдутся Вам в пятнадцать тысяч рублей, включая пересылку бандероли.

Вы можете оформить подписку на журналы, перечислив почтовым или банковским переводом (по Вашему выбору) пятнадцать тысяч рублей издательству "Посев" (т. е. за второе полугодие 1995 года). Нашедшему пять подписчиков - одна подписка предоставляется бесплатно.

Адрес для почтовых переводов:

Россия, 103031 Москва К-31
Русакову Константину Владимировичу
или банковским переводом на счет:

Номер счета для оплаты через банк: Расч. счет 1810591
в Марьиногорском ОСБ; ОПЕРУ МБ СБ РФ в г. Москве.
Кор./счет банка 164110, код ВА; МФО 201906.
Новый МФО 44583342 (указывать оба МФО).

На корешках переводов напишите:

"Посев-Филиал"

"Журнал ПОСЕВ/ГРАНИ - подписка на 2-ое полугодие 1995 г."
Точно укажите ВАШ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С ИНДЕКСОМ -
по нему Вам будет высылаться журнал.